

Иммануэль Валлерстайн

**АНАЛИЗ
МИРОВЫХ СИСТЕМ
и ситуация в современном мире**

Перевод с английского

П. М. Кудюкина

Под редакцией канд. полит, наук

Б. Ю. Кагарлицкий

Издательство «Университетская книга»

Санкт-Петербург

2001

ББК 65.01
УДК 32
В 17

*Данное издание
осуществлено при поддержке
Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса) — Россия
в рамках программы «Высшее образование»*

ОТ РЕДАКТОРА

Перед читателем первая книга Иммануэля Валлерстайна, вышедшая на русском языке. Жаль, конечно, что работы американского социолога и экономиста не были доступны отечественной публике раньше, но все же трудно представить себе более подходящее время для знакомства с Валлерстайном в России.

Конец 90-х гг. в нашей стране стал временем, когда готовые экономические и исторические схемы ставятся под сомнение. Восторженное стремление к капитализму, овладевшее советскими людьми на рубеже 80-х и 90-х гг., сменилось недоумением и разочарованием. Неудачи России в течение затягивающегося на неопределенный срок «переходного периода» заставляют многих уже не в первый раз пересматривать свои взгляды. В сущности, и либералы-западники, и антилиберальные «почвенники» начинают искать причины происходящего в какой-то полумистической «уникальности», «особости» нашей страны, с той лишь разницей, что, по мнению одних, эта «особость» является благословением, а для других — проклятием. При этом конкретного объяснения происходящего никто предложить не может.

Между тем всякий, кто внимательно прочитает работы Валлерстайна, обнаружит, что ничего мистического и странного с Россией не происходит. Если «советский марксизм», равно как и ортодоксальный либерализм, рассматривали капитализм прежде всего как совокупность экономических отношений и правовых норм, то для Валлерстайна и других представителей миросистемного анализа капитализм есть прежде всего международная система с собственной жесткой иерархией. В первом случае кажется совершенно естественным, что, воспроизводя определенные структуры и отношения, любая страна может добиться того же, что и лидеры мирового капитализма. Вопрос о причинах удачи одних и неудачи других сводится к последовательности и прилежанию. И в самом деле, совершенно непонятно, почему жители России, вводя у себя частную собственность, не могут добиться тех же результатов, что и, например, жители Испании или Италии. Эта общая логика объясняет и то, как

В 17 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под общей редакцией канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкий — СПб.: Издательство «Университетская книга», 2001. — 416 с.

ISBN 5-94483-042-5

В настоящий сборник включены статьи, выступления и фрагменты из книг И. Валлерстайна, американского социолога и экономиста, одного из авторитетнейших ученых, занимающихся проблемой миросистемного анализа. По убеждению автора невозможно понять современное состояние капитализма и его будущее, не рассмотрев его историю. Как и всякая система, капитализм имел начало и, следовательно, будет иметь конец. Его законы не являются «естественными», ибо раньше существовали другие общества, жившие по иным законам, но точно так же не являются они и «неестественными» или противоречащими человеческой сущности, ибо благополучно работали пять сотен лет. Проблема не в моральных достоинствах или недостатках капитализма, не в трудолюбии или лени отдельных народов, а в исторических границах, которые существуют для развития любой системы. В этом плане, по мнению Валлерстайна, именно глобальное расширение капитализма, интеграция всего мира в одну мироэкономику является предвестником потрясений: возможности внешней, экстенсивной экспансии исчерпаны. Почти все известные источники роста уже мобилизованы. Предстоят большие перемены.

ББК 65.01

ISBN 5-94483-042-5

© Перевод с англ. П.М.Кудюкина, 2001
О Издательство «Университетская книга», 2001

советские преподаватели марксизма-ленинизма с легкостью перекалифицировались в проповедников либерализма, не испытывая при этом не только моральных, но и методологических трудностей.

Совершенно иначе выглядит картина, если взглянуть на нее с точки зрения миросистемного анализа. Поскольку капиталистическая система иерархична, возможности новичков занять в ней высокое место заведомо ограничены. Более того, успех одних чреват серьезными проблемами для других, а резкий подъем новых лидеров, как и упадок старых, грозит для всей системы дестабилизацией и потрясениями (не случайно утрата Великобританией роли мирового лидера сопровождалась двумя мировыми войнами).

Точно так же отвергает школа миросистемного анализа и вульгарно-марксистскую концепцию, согласно которой все страны последовательно проходят одни и те же фазы, только одни позднее других. Индустриализация в царской России — не запоздалое повторение аналогичного процесса, прошедшего за 80 лет до того в Англии, а страны Африки, строящие у себя заводы, не повторяют развития СССР. Являясь частью миро системы, ни одна страна не развивается изолированно. Чужие достижения повторить так же невозможно, как и прожить чужую жизнь. Даже сходные процессы (индустриализация, пролетаризация трудящихся, урбанизация) имеют разный смысл в зависимости от того, где и на каком этапе общемирового развития они происходят.

Сегодня, когда Россия, интегрируясь в мировую экономику, одновременно за неполные десять лет из сверхдержавы превратилась в часть периферии мирового капитализма, можно не только вспомнить подтвердившиеся предостережения сторонников миросистемного анализа, но и задуматься о том, как строить свою дальнейшую жизнь и отстаивать свои интересы без помощи реакционных утопий «национальной исключительности». Работы Валлерстайна, одного из наиболее авторитетных представителей школы миросистемного анализа, имеют в такой ситуации не только чисто теоретический интерес.

Пророчества Валлерстайна относительно надвигающегося периода «хаоса» и мирового кризиса дружно отвергались большинством экономистов еще в середине 90-х. К концу десятилетия эти

выводы уже никто серьезно не оспаривает, они стали почти общим местом западной экономической литературы. В 1998 г. мировой экономический кризис стал реальностью. Начавшись в Азии, он охватил Россию и Латинскую Америку, затем начал все более затрагивать Соединенные Штаты и Западную Европу. Трагично, что на фоне мирового кризиса российская публицистика, будь то либеральная или «патриотическая», по-прежнему продолжает искать специфические «русские» корни кризиса (одни — в «непоследовательном» проведении реформ, другие — в национальном предательстве). Между тем кризис, переживаемый нашей страной, — лишь часть мирового.

В сентябре 1998 г., когда в Конгрессе США проходили слушания по Международному Валютному Фонду, сенсацией стало выступление знаменитого финансиста Джорджа Сороса, говорившего о том, что мировой капиталистической системе угрожает катастрофа. «До сих пор со слабеющей периферии деньги перетекали в сильный центр. Но теперь... настал момент, когда ослабление периферии становится опасным для центра». Мировой финансовый кризис требует переосмыслить и реформировать всю мировую капиталистическую систему. «Последствия кризиса становятся настолько болезненными, что пораженные им страны начинают или вовсе выходить из мировой системы, или дистанцироваться от нее»*.

Легко увидеть поразительное сходство между рассуждениями Сороса и пророчествами Валлерстайна, сделанными, в частности, в статье «Мир, стабильность и легитимность». И дело вовсе не в том, что миллиардер попал под влияние радикальных теорий. Просто эти теории верны и подтверждаются практикой. Трезвый анализ финансового рынка, сделанный с точки зрения бизнеса, приводит к тем же выводам, что и исследования американского социолога.

В настоящий сборник включены статьи, выступления и фрагменты из книг Валлерстайна за длительный отрезок времени. Однако, в отличие от многих современных авторов, Валлерстайн не изменял свои взгляды под влиянием колеблющейся политической и академи-

* *Время*, 17.09.1998.

ческой конъюнктуры. Он последовательно развивал свою теорию на протяжении двух десятков лет научной работы. Иммануэль Валлерстайн родился 28 сентября 1930 г. в Нью-Йорке. Он закончил Колумбийский Университет в Нью-Йорке в 1951 г. и начал свою карьеру как специалист по странам Африки (позднее он даже был несколько лет президентом ассоциации исследователей Африки). В те годы страны Африки и Азии одна за другой получали независимость, а их лидеры и народы были полны надежд. Проблема отсталости рассматривалась как преимущественно техническая—считалось, что все дело в недостаточном развитии промышленности и отсутствии современных технологий. Политическим препятствием для развития являлся колониализм, но с получением независимости эта проблема была решена, и оставалось лишь форсировать технологическую модернизацию. Вместе с новыми технологиями приходили и новые отношения, менялся образ жизни, иными словами, развивающиеся страны ждали блестящее будущее, образцом которого были наиболее богатые и сильные индустриальные общества.

Развитие событий показало полную несостоятельность подобных надежд. Несмотря на строительство заводов, социальные и культурные сдвиги, разрыв между богатыми и бедными странами все больше увеличивался, причем порой не только относительно, но и абсолютно. Попытки индустриализации в развивающихся странах главным образом стимулировали рост экономики в странах более развитых. С каждым новым циклом модернизации отношения отсталости и зависимости воспроизводились на новом уровне, но возникали все новые проблемы и диспропорции.

Исследователи все меньше энтузиазма испытывали по поводу модернизации. Многие обратились к опыту Латинской Америки, которая получила независимость на 150 лет раньше колониальных стран Африки и Азии, но столкнулась с теми же проблемами. В это же самое время происходила радикализация западной интеллигенции. Еще до студенческих выступлений второй половины 60-х гг. все большее число людей в академических кругах стало обращаться к марксистской традиции, но не к «советскому марксизму», а к «западному марксизму», представленному работами Розы Люксембург, Антонио Грамши, философов франкфуртской школы.

Именно в таких условиях стала формироваться школа миросистемного анализа, лидерами которой стали Иммануэль Валлерстайн, Андре Гундер Франк и Самир Амин.

С середины 70-х Валлерстайн преподает и работает как в Соединенных Штатах, так и в Европе, а с 1994 по 1998 является президентом Международной социологической ассоциации. К этому времени у него уже сложившаяся репутация живого классика. Его работы переведены на множество языков, включая самые экзотические, их постоянно цитируют, о нем защищают диссертации.

Для читателя, привыкшего к казенному языку советской официальной науки, термины используемые теоретиками этой школы, могут напомнить терминологию, употреблявшуюся в те же годы в нашей стране. У нас тоже говорили про «мировую систему капитализма» и «зависимость». Между тем в действительности школа миросистемного анализа складывалась как раз в острой полемике с советской идеологией развития. В трактовке советского обществоведения «мировая капиталистическая система» была чисто политической абстракцией, причем развитие каждой страны мыслилось как линейный процесс. Все страны проходят неизменные фазы, просто одни отстают от других. Отсталость можно преодолеть с помощью братской помощи советского народа, а политические проблемы решить, переориентировавшись с «империалистического лагеря» на «социалистический». В этом плане советская идеология методологически мало отличалась от западной теории развития. Именно на это указывали сторонники миросистемного анализа. Именно поэтому их в Советском Союзе упорно не печатали (если не считать рефератов «для служебного пользования», издававшихся Институтом научной информации по общественным наукам).

Между тем еще Роза Люксембург в «Накоплении капитала» одной из первых в экономической науке писала о капитализме как мировой системе, в которой развитие одних стран происходит за счет других. Следовательно, невозможно механическое «прогрессивное» развитие, повторяющее этапы чужого пути. Ленин не принял выводов Люксембург, так же как он не счел нужным серьезно относиться к народнической критике капитализма. Идеи Розы Люксембург получили развитие лишь в работах западных исследователей,

рассматривавших капиталистическую мироэкономику как органическое целое. Если Андре Гундер Франк сосредоточил свое внимание на изучении опыта Латинской Америки, а Самир Амин на арабских странах, то Валлерстайн поставил перед собой задачу исследования миросистемы как таковой. Значительная часть его работ посвящена экономической истории. Изучая процессы, развернувшиеся по обе стороны Атлантики после открытия Америки, Валлерстайн пришел к выводу, что уже в XVI в. на этом пространстве складывается целостный мир-экономика. Трансатлантический рынок предшествовал формированию национальных рынков. Американский исследователь приходит к выводу, что капитализм сначала сложился именно как мировая система и лишь затем получил развитие в отдельных странах. Эти мысли сформулированы в трехтомном историческом исследовании «Современная миросистема»*, а также в книге «Капиталистическая мироэкономика»**.

Иными словами, невозможно понять современное состояние капитализма и его будущее, не рассмотрев его историю. Как и всякая система, капитализм имел начало и, следовательно, будет иметь конец. Его законы не являются «естественными», ибо раньше существовали другие общества, жившие по иным законам, но точно так же не являются они и «неестественными» или противоречащими человеческой сущности, ибо благополучно работали пять сотен лет. Проблема не в моральных достоинствах или недостатках капитализма, не в трудолюбии или лени отдельных народов, а в исторических границах, которые существуют для развития любой системы. В этом плане, по мнению Валлерстайна, именно глобальное расширение капитализма, интеграция всего мира в одну мироэко-

* *The Modern World-System, I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (New York: Academic Press, 1974); *The Modern World-System, II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750* (New York: Academic Press, 1988); *The Modern World-System, III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy 1730-1840's* (San Diego: Academic Press, 1989).

** *The Capitalist World-Economy* (Cambridge: Cambridge Univ. Press; Paris: Ed. De la M.S.H., 1979).

номику является предвестником потрясений: возможности внешней, экстенсивной экспансии исчерпаны. Почти все известные источники роста уже мобилизованы. Предстоят большие перемены.

На протяжении всего своего существования школа миросистемного анализа постоянно сталкивалась с критикой, как «справа» (со стороны либеральных экономистов), так и «слева» со стороны представителей «ортодоксального» марксизма. И все же наиболее серьезную критику работ Валлерстайна можно найти у авторов, находящихся под его сильнейшим влиянием. Эта критика главным образом была сосредоточена вокруг двух проблем. Первая из них в том, насколько «капиталистической» является капиталистическая мироэкономика. Ни Валлерстайн, ни его критики не отрицают того, что в этой системе в подчиненном виде содержатся многочисленные элементы, фактически унаследованные от прошлого и живущие по иной логике. Традиционный марксизм видел в них лишь «пережитки», тормозящие развитие. Точно так же современный либерализм в России постоянно борется с пережитками советского коммунизма, не задаваясь вопросом о том, насколько эти «пережитки» сами по себе являются необходимым и неизбежным элементом постсоветского капитализма. В то же время природа этих некапиталистических структур и отношений никогда не была предметом конкретного анализа для Валлерстайна. С его точки зрения, коль скоро система в целом является капиталистической, то и все, включенное в нее — тоже капитализм. Напротив, ряд других авторов, в целом разделяющих миросистемный подход, вслед за Розой Люксембург говорят о некапиталистической природе этих структур (будь то постсоветское «градообразующее» предприятие или латиноамериканская латифундия). Второй проблемой, на которую указывали критики, является то, что миросистемный подход прежде всего обращает внимание на процессы обмена и межгосударственные отношения в глобальной экономике, тогда как капитализм прежде всего является системой производственных отношений. Легко увидеть, что оба эти вопроса взаимосвязаны.

Похоже, что в периферийных и полупериферийных странах капитализм одновременно и разрушает докапиталистические структуры, и опирается на них. Не в этом ли надо искать объяснение

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ТЕРМИНОВ

знаменитого наблюдения П. Струве, что чем дальше на Восток, тем хуже буржуазия? Или краха Российской империи, где городской промышленный капитал рухнул вместе с помещичьим землевладением? Или пресловутой «непоследовательности» современных российских реформ? Но если в капиталистической миросистеме все же присутствуют докапиталистические элементы, не значит ли это, что наряду с ними сложились и существуют уже и посткапиталистические структуры, элементы неизвестного пока будущего?

Совершенно очевидно, что перед всяким, кто берется серьезно анализировать глобальные мировые процессы, встают вопросы столь многоплановые, что однозначные ответы становятся просто невозможны. Между тем огромная притягательная сила работ Валлерстайна связана еще и с тем, что его выводы, несмотря на некоторую усложненность академического языка, сделаны предельно конкретно и четко. Это позволяет всегда очень ясно представить себе и прогностические возможности теории. Автор не пытается укрыться за многозначными формулами. Любая неточность в прогнозе сразу обнаруживается. Но тем более поразительно, что последние несколько лет с предельной ясностью показали огромные возможности теории, ее прогностический потенциал.

Позитивные выводы, которые надлежит сделать из прогноза — вопрос особый. Здесь американский социолог остается предельно осторожен. Точнее, он остается именно ученым, не превращаясь в пропагандиста какой-либо политической идеи. Его политические симпатии очевидны — он принадлежит к левому флангу общественной мысли. И эти политические взгляды тесно связаны с логикой его теории. Но требования научной корректности для него остаются предельно жесткими. Как бы ни хотелось указать дорогу к светлому будущему, серьезно говорить можно лишь про то, что видимо и предсказуемо в настоящем.

Будущее остается опасным, туманным и открытым.
Это будущее зависит от нас самих.

Б. Ю. Кагарлицкий

В теории И. Валлерстайна есть несколько центральных терминов, перевести которые трудно, не создавая неологизмов. В основном это сложные слова, которые в английском языке легко создаются соединением двух слов дефисом. Можно было перевести «world-system», «world-economy», «world-empire» как (соответственно) «мировая система», «мировая экономика», «мировая империя», но при этом происходит утрата важного смыслового оттенка.

Если в случае с «мировой системой» основным недостатком были бы явные созвучия с навязшим в зубах термином советской эпохи, о чем сказано выше, и в немалой степени именно это заставляет нас предложить термин «миросистема», то в двух других случаях ситуация более сложна. «World-economy» — гораздо более сложное и многослойное понятие, чем «мировая экономика». Мы передаем его двойственным образом — как «мир-экономика» и как «мироэкономика» имея в виду в первом случае более универсальное понятие — часть мира или весь мир, являющиеся единым экономическим целым и, что не менее важно, где именно экономика является ведущей сферой общественной деятельности. Термин «мир-экономика» уже имеет определенные права гражданства в переводной литературе на русском языке — он (как и «мир-империя») используется в трудах Ф. Броделя*, который отчасти соглашается с Валлерстайном, отчасти полемизирует с ним. Кстати говоря, и Бродель, и Валлерстайн (последний — в беседе с научным редактором) прямо отсылают к немецкому «Weltwirtschaft» как матрице, на которой рожден термин «мир-экономика». «Мироэкономика» — это «мир-экономика», распространившийся географически

Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVII вв. Т. III: Время мира.* М.: Прогресс, 1992, с. 14 и сл., 48-49; Он же. *Динамика капитализма.* Смоленск: Полиграмма, 1993, с. 85 и сл.

на весь земной шар. Именно так эти термины употребляются в переводе, возможная непоследовательность в использовании связана исключительно со стилистическими соображениями.

Следующая проблема связана с определением элементов миросистемы. Валлерстайн использует термины «core», «periphery», «semi-periphery». Последние два термина не вызывают проблем — это «периферия» и «полупериферия». Что касается «core» («сердцевина», «ядро»), то в переводе термин передается либо словом «центр», либо «сердцевина» с указанием «миросистемы», «мира-экономики» и т. п.

В случае одного термина—«developmentalism» — пришлось пойти просто на транслитерацию («девелопментализм» и производное от него «девелопменталист»), поскольку «концепция развития» и «сторонник концепции развития» слишком широки (не отражают, что имеется в виду вполне конкретное понимание развития) и в связи с этим неточно передают смысл того, о чем пишет Валлерстайн.

Б. К, П. К.

ВВЕДЕНИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

В коммунистическую эпоху тому, чьи взгляды не совпадали с официальными, было трудно публиковаться в СССР. Если говорить обо мне, ни одна из моих статей не переводилась на русский язык и не была опубликована здесь. С окончанием коммунистической эпохи положение не стало намного лучше. Произошла смена ортодоксий, а я по-прежнему считаюсь еретиком. Вот почему я с таким удовольствием приветствую издание этого сборника очерков, которые впервые представляют русскому читателю обзор того, что мы называли «миросистемным анализом».

Миросистемный анализ начинается с вопроса, что является подходящей «единицей анализа» социальной реальности. Даваемый ею ответ состоит в том, что такой единицей является «историческая система», существование и границы которой в долгосрочном плане определяются разделением труда в ней, и что такое разделение труда на больших пространствах имеет тенденцию наблюдаться в двух основных разновидностях: как миры-экономики и как миры-империи. Мы доказываем, что в течение «долгого XVI века» мир-экономика родился в Европе и в части обеих Америк. Мы доказываем, что этот мир-экономика необходимо был капиталистическим, с капитализмом как единственным способом производства, возможным в мироэкономике, и как способом производства, возможным единственно в рамках мира-экономики. Мы доказываем, что этот капиталистический мир-экономика логикой своих внутренних потребностей и благодаря возможностям, порожденным его технологией, необходимо осуществлял в течение веков экспансию, пока к середине XIX в. не включил в себя весь мир, инкорпорировав в себя все исторические системы, существовавшие за пределами его первоначальных границ.

Именно в логике такого понятийного аппарата мы оценивали историческое место Советского Союза. Мы категорически отвергли широко распространенное как внутри СССР, так и в остальном мире (и среди тех, кто сочувствовал советскому режиму, и среди его

яростных противников) представление, что в мире после 1945 г. существовали две «мировые системы», коммунистическая и капиталистическая. Мы настойчиво доказывали, что СССР всегда оставался частью и участником капиталистической мироэкономики и никогда не находился вне ее. Эта точка зрения не пользовалась популярностью ни с той, ни с другой стороны «железного занавеса», и порой даже считалась смешной. Но она позволила нам предсказать, что раньше или позже стоящие у власти коммунистические режимы будут принуждены отказаться от некоторых форм своего «отклоняющегося» поведения и стать более похожими на режимы, существующие повсюду в миросистеме. Таким образом, события 1989-1991 гг. не явились чем-то неожиданным для приверженцев миросистемного анализа. Разумеется, мы не «предсказывали» деталей, но мы предвосхитили процесс в его общих чертах. Это позволяет нам сказать, что изменения 1989-1991 гг., при их несомненной значимости для жизни людей в бывшем советском блоке, имеют далеко не столь фундаментальное значение, как полагают сегодня и в России, и за ее пределами.

Как мы должны осмысливать советский опыт — предмет, которым я занимаюсь в нескольких очерках в этой книге. Однако Советский Союз до 1991 г. и Россия сегодня могут быть помещены в категорию полупериферийных государств в капиталистической мироэкономике, причем их политическое влияние в очень большой степени основывалось на мощи их военного аппарата. Это, между прочим, было справедливо и для царской России. Россия/СССР пытались использовать эту политико-военную мощь для осовременивания тех видов экономической деятельности, которые осуществлялись в зоне ее/его контроля, увеличивая таким образом уровень накопления капитала. И от Екатерины II до Витте, затем до Сталина и до нынешнего дня российское государство достигало неустойчивых и сомнительных успехов в этих попытках.

Конечно, Советский Союз был также наследником русской революции и большевизма (или марксизма-ленинизма) как идеологии. Это не тот факт, которым можно было бы пренебречь, но очень широко, как среди сторонников, так и среди оппонентов, была распро-

странена его неверная, часто намеренно, интерпретация. Рассмотреть опыт марксизма-ленинизма в рамках истории антисистемных движений капиталистической мироэкономики также является задачей, решению которой посвятил себя миросистемный анализ, и несколько очерков в сборнике посвящены этому вопросу.

Каковы, с точки зрения миросистемного анализа, основные проблемы, стоящие перед Россией при нашем движении в XXI век? Прежде всего это проблемы, которые мы могли бы назвать геополитическими. Кажется ясным, что основными соперниками в качестве центров будущего накопления капитала являются Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Япония. Их сравнительная сила обсуждается в этих очерках. Также кажется ясным, что Россия и Китай являются двумя зонами, роль которых в следующие 30 лет наименее определена, причем причины в обоих случаях одни и те же. Это большие пространства с точки зрения территории и населения, чья потенциальная роль как производителей и потребителей является ключевой для возможности трех основных соперников реализовать собственные устремления. Как Китай, так и Россия обладают большими военными структурами, и обе страны законно обеспокоены своей способностью удержать целостность центрального правительства перед лицом как потенциальных сепаратистских движений, так и потенциальных социальных волнений. Обе страны не просто сталкиваются с этими «внутренними» проблемами, обе они, кроме того, стоят перед необходимостью принимать решения, как и с кем вести переговоры о заключении политико-экономических союзов в предстоящие десятилетия.

Их способность оставаться внутренне сильными и создавать оптимальные союзы вовне будет определять их способность (но одновременно будет определяться ею) усилить и воспринять те виды экономической активности, на которые они будут делать ставку в грядущие десятилетия. Как Россия, так и Китай вряд ли смогут в среднесрочной перспективе достичь уровня ВВП, сравнимого с США/Европейским Союзом/Японией. Но если они сумеют сохранить внутреннее единство, они, вероятно, будут зонами, относительно благоприятными для инвестиций. Именно из-за этого они будут от-

носителем важными зонами внутренних социальных потрясений, которые примут форму как традиционного классового конфликта, так и требований от имени этно-национального самосознания. Климат будет бурным.

Наконец, Россия не сможет найти какого-то укрытия от потрясений, свойственных миросистеме в целом. Тезис миросистемного анализа состоит в том, что капиталистическая мировая экономика стоит перед кризисом, подобного которому она до сих пор не знала. Капитализм, как историческая система, далек от того, чтобы быть успешным и победоносным, он находится сегодня в состоянии невероятных структурных трудностей. Крах коммунизма отнюдь не покончил с трудностями капитализма, сам этот коллапс является одной из основных причин текущих дилемм капиталистической системы. И этот вопрос тоже обсуждается в настоящих очерках. Мы верим, что современная миросистема вступила в эпоху «перехода», что она стоит перед точкой бифуркации и перед периодом великих родовых мук и повсеместного хаоса и что в течение следующих 25-50 лет мир эволюционирует к новому структурному порядку, который может быть будет, а может быть нет, лучше, чем современная система, но, несомненно, будет иным. На что он может оказаться похож, каковы возможности нашего исторического выбора — еще один вопрос, обсуждаемый в данных очерках.

Дилеммы системы оказываются и нашими личными дилеммами, и не только в России. Если мы коллективно должны войти в мировой порядок большей сущностной рациональности, чем тот, в котором мы живем, то чрезвычайно важно, чтобы произошло широкое, разумное обсуждение возможностей исторического выбора. Для каждого важно, чтобы эта дискуссия развернулась повсюду, и уж обязательно в такой стране, как Россия, играющей столь важную роль в функционировании миросистемы. Я надеюсь, таким образом, что эти очерки могут оказаться полезными для снабжения информацией и воздействия на дебаты в России, а дебаты в России помогут всем нам сформулировать разумные и полезные ответы на наши общие дилеммы.

I. Современная миросистема: политическая экономия и геокультура

РОЖДЕНИЕ И БУДУЩАЯ КОНЧИНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОСИСТЕМЫ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Рост индустриального сектора капиталистической мирэкономике (так называемая «промышленная революция») сопровождался развитием очень сильного течения мысли, которое характеризовало эти изменения в терминах процесса органического развития и прогресса. Были теоретики, считающие это экономическое развитие и сопутствующие ему изменения в социальном строе некоей предпоследней стадией мирового развития, нахождение которым своей окончательной формы не более чем вопрос времени. Можно назвать таких разных мыслителей, как Сен-Симон, Конт, Гегель, Вебер, Дюркгейм. А кроме того, были критики, самый заметный среди них — Маркс, которые доказывали, если угодно, что настоящее XIX столетия было лишь стадией развития, предшествующей предпоследней, что капиталистическому миру предстояло познать катаклизм политической революции, которая затем приведет в полном своем развитии к завершающей форме социума, в этом случае к бесклассовому обществу.

Одной из сильнейших сторон марксизма было то, что, как оппозиционное и потому критическое учение, он привлекал внимание не просто к противоречиям системы, но и к противоречиям ее идеологов, апеллируя к эмпирически очевидным историческим фактам, тем самым вскрывая негодность моделей, предлагаемых для объяснения общества. Критики-марксисты видели в абстрактных моделях рационализацию конкретных интересов и обосновывали свой подход, указывая на неудачи оппонентов в анализе социального целого. Как сформулировал это Лукач, «не первичность экономических мотивов в историческом объяснении составляет решающее различие между марксизмом и буржуазной мыслью, но подход с точки зрения целостности»¹.

В середине XX столетия теории развития, господствовавшие в странах, составлявших сердцевину капиталистической мировой экономики, мало что добавили к концепциям основоположников этой школы, живших в XIX в., если не считать квантификации моделей и придания им еще большей абстрактности добавлением поправок типа эпизодов, позволяющих справляться со все большими отклонениями прогнозов от эмпирических данных.

Что является неверным в этих моделях, было показано уже много раз и с разных позиций. Я сошлюсь только на одного критика, не марксиста, Роберта Нисбета, заключающего свои очень убедительные размышления о том, что он называет «западной теорией развития», таким резюме:

«[Мы] обращаемся к истории и только к истории, если то, что мы ищем, — реальные причины, источники и условия открытого изменения моделей и структур в обществе. Вопреки обывательской мудрости современных социальных теорий, мы не найдем объяснения изменениям в тех исследованиях, которые абстрагируются от истории; будь то исследование малых групп в социальной лаборатории, групповая динамика в целом, эксперименты с использованием методов социальной драмы по социальным взаимодействиям или математический анализ так называемых социальных систем. Не обнаружим мы источника изменений и во вновь появившихся в наше время образцах сравнительного метода с его иерархиями случаев культурных сходств и различий, заимствованных из разных мест и времен»².

Обратимся ли мы в таком случае к критическим школам, особенно к марксизму, чтобы они дали нам лучшее описание социальной реальности? В принципе, да; на практике, однако, существует много разных, часто противоречащих друг другу, дошедших до нас версий «марксизма». Но что еще более существенно — во многих странах марксизм является сегодня официальной государственной доктриной. Марксизм более не является исключительно оппозиционным учением, как это было в XIX в.

Социальная судьба официальных доктрин состоит в том, что они испытывают постоянное толкающее их к догматизму и апологетике

социальное давление, которому очень трудно, хотя не вовсе невозможно противостоять. Именно поэтому они часто попадают в тот же интеллектуальный тупик построения антиисторических моделей. Именно на это обращена критика Фернана Броделя:

«Марксизм содержит в себе целый ряд моделей социальных явлений... Я бы присоединил и мой голос к его [Сартра] протестам, но не против модели как таковой, а против некоторых способов ее употребления. Гений Маркса, секрет силы его мысли состоит в том, что он первый сконструировал действительные социальные модели, основанные на долговременной исторической перспективе. Эти модели были увековечены в их первоначальной простоте тем, что к ним стали относиться как к неизменным законам, априорным объяснениям, автоматически приложимым ко всем обстоятельствам и всем обществам... Эта жесткая интерпретация ограничила творческую силу самой мощной системы социального анализа, созданной в прошлом веке. Восстановить ее возможно только в долговременном анализе»³.

Ничто не иллюстрирует искажающего" воздействия внеисторических моделей социального изменения лучше, чем дилеммы, порождаемые понятием стадий развития. Если мы должны иметь дело с социальными трансформациями долговременного характера («длительная временная протяженность» Броделя) и если мы должны дать объяснение как преемственности, так и преобразованию, мы должны логически разделить длительный период на отрезки с целью проследить структурные изменения между временем А и временем Б. Но на самом деле в реальности эти отрезки времени не дискретны, а непрерывны: *ergo** они являются «стадиями» в «развитии» социальной структуры, в развитии, которое мы тем не менее определяем не *a priori*, но *a posteriori*** . То есть, иначе говоря, мы не можем дать конкретное предсказание будущего, но мы можем предсказывать прошлое.

* Следовательно (*лат.*).

† До опыта... после опыта (*лат.*).

Важнейшая проблема при сравнении «стадий» — определить те исторические единицы, синхронистическим описанием (или, если угодно, «идеальным типом») которых являются «стадии». И фундаментальная ошибка а-исторической общественной науки (включая а-исторические версии марксизма) состоит в овеществлении частей целостности в таких единицах и сравнение затем этих овеществленных структур.

Например, мы можем взять способы распределения сельскохозяйственной продукции и назвать их выращиванием урожая для собственного потребления и выращиванием урожая на продажу. Мы можем затем рассматривать их как единицы анализа, являющиеся «стадиями» развития. Мы можем говорить о решениях групп крестьян перейти от одной к другой. Мы можем описывать иные частичные объекты, например государства, как имеющие внутри две отдельные «экономики», каждая из которых основана на особом способе распределения сельскохозяйственной продукции. Если мы предпримем каждый из этих последовательных шагов, каждый из которых является ошибочным, мы закончим вводящей в заблуждение концепцией «дуальной экономики», как многие либеральные экономисты, занимающиеся так называемыми слаборазвитыми странами мира. Хуже того — мы можем овеществить неверное прочтение истории Великобритании в систему универсальных «стадий», как это сделал Росту.

Марксистские ученые часто попадали в точно такую же ловушку. Если мы возьмем способы оплаты труда в сельском хозяйстве и противопоставим «феодальный» способ, когда работнику позволено удерживать из продукции часть, необходимую, чтобы обеспечить свое существование, капиталистическому способу, где тот же самый работник передает собственнику земли все произведенное, получая часть обратно в виде заработной платы, мы можем начать рассматривать эти два способа как «стадии» развития. Мы можем говорить об интересах «феодальных» землевладельцев, препятствующих превращению их способа оплаты в систему заработной платы. Затем мы можем объяснять тот факт, что в XX в. частичный объект, скажем латиноамериканское государство, еще не стал индустриальным вследствие господства таких землевладельцев. Если мы предпримем каждый из этих последовательных шагов, каждый из которых

является ошибочным, мы закончим вводящей в заблуждение концепцией «государства, где господствуют феодальные элементы», как будто бы такое явление могло бы существовать в капиталистической мирэкономике. Но, как ясно показал Андре Гундер Франк, такой миф долгое время господствовал в «традиционной марксистской» мысли Латинской Америки⁴.

Неверная идентификация объектов, подлежащих сравнению, не только приводит нас к ложным концепциям, но и создает несуществующую проблему: можно ли миновать те или иные стадии? Этот вопрос является логически осмысленным лишь если мы имеем «стадии», которые «сосуществуют» внутри единых эмпирических рамок. Если внутри капиталистической мирэкономике мы определяем одно государство как феодальное, другое как капиталистическое, а третье как социалистическое, то лишь в этом случае мы можем поставить вопрос: может ли страна «перескочить» из феодальной стадии на социалистическую стадию национального развития, «минуя капитализм».

Но если такой вещи как «национальное развитие» (если под этим мы понимаем естественный ход развития) нет и адекватным объектом сравнения является мировая система, то проблема минования стадий — бессмыслица. Если стадию можно миновать, значит, это не стадия. И мы знаем это *a posteriori*.

Если мы собираемся говорить о стадиях развития — а нам надо говорить о стадиях, — это должны быть стадии развития социальных систем, то есть целостностей. А единственными целостностями, которые существуют или существовали исторически, являются минисистемы и миросистемы, а в XIX-XX вв. существовала лишь одна миросистема — капиталистическая мирэкономике.

Мы берем в качестве определяющей характеристики социальной системы существование внутри нее разделения труда, так что различные секторы либо географические зоны внутри нее зависят от экономического обмена с другими для беспрепятственного и непрерывного обеспечения потребностей зоны. Ясно, что такой экономический обмен может существовать без общей политической структуры и даже, что еще более очевидно, без общей разделяемой всеми культуры.

Минисистема — это объект, содержащий внутри себя полное разделение труда и единые культурные рамки. Такого рода системы можно найти только в очень простых аграрных или охотничье-собирательских обществах. Таких минисистем в мире более не существует. Более того, их и в прошлом существовало гораздо меньше, чем это часто предполагается, поскольку любая такая система, которая становилась привязанной к империи уплатой дани в качестве «платы за защиту»⁵, тем самым переставала быть «системой», не обладая более самостоятельным разделением труда. Для такого района уплата дани означала сдвиг, говоря языком Полани, от экономики взаимности к участию в более широкой перераспределительной экономике⁶.

Оставляя в стороне ныне не функционирующие минисистемы, единственным видом социальной системы является миросистема, которую мы определяем очень просто — как общность с единой системой разделения труда и множественностью культурных систем. Отсюда логически следует, что могут существовать две разновидности такой миросистемы — с общей политической системой и без нее. Мы можем описать их соответственно как мир-империю и как мир-экономику.

Эмпирически оказывается, что миры-экономики исторически были нестабильными структурами, которые приходили либо к дезинтеграции, либо к завоеванию одной группой и тем самым к трансформации в мир-империю. Примерами таких миров-империй, возникших, из миров-экономик, являются все так называемые великие цивилизации в период до нового времени: Китай, Египет, Рим (в соответствующие периоды своей истории). С другой стороны, так называемые империи XIX в., такие как Великобритания или Франция, были вовсе не мирами-империями, а национальными государствами с колониальными придатками, действующими в рамках единой мирэкономике.

Миры-империи по своей экономической форме в основе были перераспределительными. Несомненно, они питали группы купцов, вовлеченных в экономический обмен (прежде всего в торговлю на большие расстояния), но такие группы, пусть и значительные, составляли лишь небольшую часть всей экономики и не играли определяющей роли в ее судьбе. Такая торговля на большие расстояния

имела тенденцию, как доказывал Полани, быть «администрируемой торговлей», использующей «вольные торговые города», а не рыночной торговлей.

И лишь с возникновением современного мира-экономики в Европе XVI в. мы видим полное развитие и преобладание рыночной торговли. Это была система, которую называют капитализмом. Капитализм и мирэкономика (то есть единая система разделения труда при политическом и культурном многообразии) являются двумя сторонами монеты. Одна не является причиной другой. Мы просто определяем один и тот же неразделяемый феномен разными характеристиками.

Как и почему случилось, что этот особый европейский мир-экономика XVI в. не преобразовался в перераспределительный мир-империю, но развился в конечном счете в капиталистическую мирэкономку, я объяснил во многих других местах⁷. Генезис этого поворотного пункта мировой истории не является предметом, обсуждаемым в данном докладе, который касается скорее вопроса о понятийном аппарате, необходимом для анализа развития в рамках именно капиталистической мирэкономике.

Давайте, в связи с этим, обратимся к капиталистической мирэкономике. Мы постараемся разобраться с двумя псевдопроблемами, порожденными ловушкой отказа от анализа целостностей. Это проблема так называемой устойчивости феодальных форм и проблема так называемого создания социалистической системы. Делая это, мы предложим альтернативную модель, которую применим к сравнительному анализу, укорененному в исторически специфической целостности, каковой является мировая капиталистическая экономика. Таким образом мы хотим продемонстрировать, что историческая специфичность вовсе не исключает аналитической универсальности. Напротив, единственный путь к номотетическим предположениям лежит через исторически конкретное, точно так же как в космологии единственный путь к теории законов, управляющих вселенной, лежит через конкретный анализ исторической эволюции этой самой вселенной⁸. В обсуждении проблемы «феодализма» мы берем в качестве отправной точки принадлежащую Франку концепцию «развития слабозрелости», то есть тот взгляд, что экономические структу-

ры современных слаборазвитых стран — не форма, которую «традиционные» общества принимают в результате контакта с «развитыми» обществами, и не более ранние стадии в «переходе» к индустриализации. Это скорее результат вовлечения в мироэкономику в качестве периферийной, сырьевой зоны, или, как сказал Франк применительно к Чили, «слаборазвитость... необходимый продукт четырех столетий самого существования капитализма»⁹.

Эта формулировка направлена против большой группы работ, касающихся слаборазвитых стран, написанных в период 1950-1970-х гг., против литературы, которая искала факторы, объясняющие «развитие» в таких не являющихся системами единицах, как «государства» или культуры, а открыв, как предполагали авторы, такие факторы, настаивала на их воспроизводстве в слаборазвитых регионах как на пути к спасению¹⁰.

Теория Франка направлена также, как мы уже отмечали, против людей, принявших ортодоксальную версию марксизма, долгое время доминировавшую в левых партиях и интеллектуальных кругах Латинской Америки. Этот «старый» марксистский взгляд на Латинскую Америку как совокупность феодальных обществ на более или менее добуржуазной стадии развития пал перед критикой Франка и многих других, равно как и перед политической реальностью, символизируемой кубинской революцией со всеми ее многочисленными последствиями. Недавние работы, анализирующие ситуацию в Латинской Америке, вместо этого сделали своим центральным понятием «зависимость»¹¹.

Тем не менее недавно Эрнесто Лакло предпринял атаку на Франка, в которой, принимая его критику теории отсталости и дуальной экономики, одновременно отказывается принять определение государств Латинской Америки как капиталистических. Вместо этого Лакло утверждает, что «мировая капиталистическая система... включает, на уровне своего определения, различные способы производства». Он обвиняет Франка в смешивании понятий «капиталистический способ производства» и «участие в мировой капиталистической экономической системе»¹².

Конечно, если все дело в определениях, тогда и спорить не о чем. Poleмика в этом случае вряд ли имеет большую пользу, по-

скольку сводится к вопросам семантики. Далее, Лакло настаивает, что определение принадлежит не ему, а Марксу, что более спорно. Роза Люксембург указала на ключевой элемент марксовской двусмысленности или непоследовательности в этом конкретном обсуждении, двусмысленности, которая позволяет как Франку, так и Лакло вести свои идеи к Марксу:

«Маркс обстоятельно рассматривает как процесс присвоения некапиталистических средств производства (*NB*: Люксембург имеет в виду первичные продукты, производимые в периферийных регионах в условиях принудительного труда. — *И. В.*), так и процесс превращения крестьянства в капиталистический пролетариат. Вся 24 глава I тома "Капитала" посвящена возникновению английского пролетариата, земледельческого класса капиталистических арендаторов и промышленного капитала. Особую роль в возникновении последнего Маркс приписывает ограблению колониальных стран европейским капиталом. Но все это рассматривается под углом зрения так называемого "первоначального накопления". Названные процессы иллюстрируют у Маркса лишь •генезис, час рождения капитала; они изображают муки родов при выходе капиталистического способа производства из недр феодального общества. Когда он дает теоретический анализ процесса капитала — производства и обращения, — он постоянно возвращается к своей предпосылке, к общему и исключительному господству капиталистического производства (*NB*: то есть производства, основанного на наемном труде. — *И. В.*)»¹³

В конечном счете этот спор идет по содержательному вопросу. На самом деле это тот же самый вопрос, который лежал в основе спора между Морисом Доббом и Полем Суизи в начале 1950-х гг. о «переходе от феодализма к капитализму», происходившем на заре современной Европы¹⁴. Содержательный вопрос, с моей точки зрения, касается подходящей единицы анализа, используемой в целях сравнения. Суизи и Франк не вполне ясно выразили свою точку зрения, а Добб и Лакло могут сослаться на тексты Маркса, казалось бы явно свидетельствующие, что они более преданно следуют аргумен-

тации последнего. Тем не менее в главном, я полагаю, Суизи и Франк лучше следуют духу, если не букве¹⁵ Маркса и, даже оставляя Маркса за кадром, подводят нас ближе к пониманию того, что произошло и происходит на самом деле, чем их оппоненты.

В чем состоит как с исторической, так и с аналитической точки зрения картина, которую выстраивает Лакло? Суть проблемы сводится к существованию свободного труда как определяющей характеристики капиталистического способа производства:

«Основное экономическое отношение капитализма состоит в продаже *свободным* (курсив мой — *И. В.*) работником своей рабочей силы, необходимой предпосылкой чего является потеря непосредственным производителем собственности на средства производства...

Если мы теперь противопоставим утверждению Франка, что социально-экономические комплексы Латинской Америки были капиталистическими с периода Конкисты, доступные и сейчас эмпирически очевидные факты, мы можем прийти к выводу, что тезис о "капитализме" не выдерживает критики. В регионах с плотным автохтонным населением — в Мексике, Перу, Боливии или Гватемале — непосредственные производители не были лишены своей собственности на средства производства, в то время как внеэкономическое насилие с целью максимизировать различные системы службы трудом... последовательно интенсифицировалось. На плантациях Вест-Индии хозяйство было основано на способе производства, сущность которого определялась рабским трудом, в то время как в горнодобывающих районах развивались скрытые формы рабства и другие типы принудительного труда, которые не несли в себе ни малейшего сходства с формированием свойственного капитализму пролетариата»¹⁶.

Именно в этом суть проблемы. Западная Европа, по крайней мере Англия начиная с конца XVII в., имела преимущественно безземельных наемных работников. В Латинской Америке тогда, а отчасти и сейчас, работники были не пролетариями, а рабами и «крепостными». Есть пролетариат, значит, есть капитализм. Конечно. Нет сомнения. Но является ли единицей анализа Англия, или Мексика, или Вест-Индия? Или же единицей анализа является (для XVI-XVIII вв.) евро-

пейский мир-экономика, включая Англию и Мексику, а если так, то что является «способом производства» в этом мире-экономике?

Прежде чем обсуждать наш ответ на этот вопрос, давайте обратимся к совершенно иной дискуссии, происходившей между Мао Цзэдуном и Лю Шаоци в 1960 г. по поводу того, является ли Китайская Народная Республика «социалистическим государством». Это была полемика, имеющая длительную предысторию в развитии общественной мысли марксистских партий.

Маркс, как часто отмечалось, фактически ничего не говорил о революционном политическом процессе. Энгельс говорил в своих довольно поздних работах о «диктатуре пролетариата». Теорию об этой диктатуре оставалось тщательно разработать Ленину в его произведении «Государство и революция», опубликованном в августе 1917 г.*, на последнем этапе перед тем, как большевики захватили власть в России. Приход к власти большевиков привел к важным дискуссиям о природе того режима, который был установлен. В конечном счете было определено теоретическое различие между «социализмом» и «коммунизмом» как между двумя стадиями исторического развития, одна из которых осуществлена в настоящем, а другая — будет осуществлена только в будущем. В 1936 г. Сталин провозгласил, что СССР стал социалистическим (но еще не коммунистическим) государством. Как мы знаем, прочно утвердилось представление о том, что после буржуазного правления проходят *три* стадии — послереволюционное правительство, социалистическое государство и, наконец, коммунизм. Когда после Второй мировой войны в разных государствах Восточной Европы были утверждены различные режимы, возглавляемые коммунистическими партиями, эти режимы были объявлены «народно-демократическими», новое наименование, данное послереволюционному этапу. Позже некоторые из этих стран, например Чехословакия, доказывали, что они перешли ко второму этапу и стали социалистическими республиками.

В 1961 г. XXII съезд КПСС изобрел четвертую стадию, находящуюся между бывшими второй и третьей, а именно — социалисти-

* На самом деле «Государство и революция» была написана в августе-сентябре 1917 г., а опубликована в мае 1918 г.

ческое государство, ставшее «общенародным». Утверждалось, что СССР достиг этой стадии. В Программе, принятой съездом, утверждалось, что «государство, как общенародная организация, сохранится до полной победы коммунизма»¹⁷. Один из комментаторов определил «внутреннюю сущность и основные отличительные черты» этой стадии так: «Сокровенный смысл общенародного государства как раз и состоит в том, что оно представляет собой первое в мире государство, где нет классовой борьбы, а стало быть, классового господства и подавления»¹⁸.

Одним из наиболее ранних признаков основного несогласия, возникшего между Коммунистической Партией Советского Союза и Коммунистической Партией Китая в 1950-х гг., стала теоретическая дискуссия по вопросу о «постепенном переходе к коммунизму». По существу КПСС утверждала, что различные социалистические страны будут по отдельности совершать такой переход, в то время как КПК доказывала, что все социалистические страны будут переходить к коммунизму одновременно.

Как мы можем убедиться, эта последняя форма дискуссии о «стадиях» подспудно поднимала проблему единицы анализа, поскольку КПК по существу утверждала, что «коммунизм» является характеристикой не национальных государств, но мироэкономики в целом. Эта полемика была перенесена на внутривнутриполитическую сцену Китая в форме идеологических дебатов, имевших, как теперь известно, глубокие и далеко уходящие корни и приобретших в конечном счете форму «культурной революции».

Одним из побочных проявлений этих споров о «стадиях» стал вопрос о том, будет ли продолжаться классовая борьба в послереволюционном государстве вплоть до наступления коммунизма. XXII съезд КПСС в 1961 г. утверждал, что СССР стал государством без внутренней классовой борьбы, государством, в котором больше не существуют антагонистические классы. Ничего не говоря о СССР, Мао Цзэдун в 1957 г. доказывал в Китае: «Классовая борьба еще не закончилась... Классовая борьба... остается длительной и сложной, а иногда и очень ожесточенной борьбой... Как среди населения в целом, так и среди интеллигенции марксисты по-прежнему остаются в меньшинстве. Поэтому марксизм, как и прежде, должен развиваться в борьбе... Такая

борьба никогда не прекратится. Это — закономерность развития истины, и, конечно, закономерность развития марксизма»¹⁹.

Если такая борьба *никогда* не кончится, то многие поверхностные обобщения о «стадиях», которые проходят «социалистические» государства, ставятся под вопрос.

Во время «культурной революции» доказывалось, что доклад Мао «О правильном разрешении противоречий внутри народа», цитируемый выше, так же как и еще один, «полностью опровергали "теорию отмирания классовой борьбы", которую защищал Лю Шаоци»²⁰. Мао особенно настаивал на том, что «отмена системы собственности эксплуататорских классов посредством социалистических преобразований не означает исчезновения борьбы в политической и идеологической сферах»²¹.

Действительно, такова логика *культурной* революции. Мао утверждает, что даже если достигнута *политическая* власть (диктатура пролетариата) и произведены *экономические* преобразования (упразднение частной собственности на средства производства), революция все еще далека от завершения. Революция — это не событие, а процесс. Этот процесс Мао называет «социалистическим обществом» — с моей точки зрения, это какой-то бесвязный набор слов, но это не важно, — и «социалистическое общество занимает довольно длительный исторический период»²². Более того, «классы и классовая борьба существуют на протяжении всего периода социалистического общества»²³. X Пленум Центрального Комитета КПК восьмого созыва (24-27 сентября 1962 г.), принимая взгляды Мао, вообще отказался от слов «социалистическое общество», говоря вместо этого об «историческом периоде пролетарской революции и пролетарской диктатуры... историческом периоде перехода от капитализма к коммунизму», который, как было сказано, «будет продолжаться десятки лет или даже дольше», и во время которого «существует классовая борьба между пролетариатом и буржуазией и борьба между капиталистическим и социалистическим путем»²⁴.

Мы не располагаем прямыми возражениями Лю. Мы можем, однако, считать выражением альтернативной позиции недавно опубликованный в СССР анализ отношений между социалистической системой и мировым развитием. Там было признано, что в некий не-

уточненный момент после Второй мировой войны «социализм перерос границы одной страны и стал мировой системой»²⁵. Далее утверждается, что «капитализм, возникший в XVI в., стал мировой экономической системой только в XIX в. Буржуазным революциям потребовалось 300 лет на то, чтобы покончить с властью феодальной элиты. Социализму потребовалось 30 или 40 лет для того, чтобы собрать силы для новой мировой системы»²⁶. Наконец, в книге говорится о «капиталистическом международном разделении труда»²⁷ и «международной социалистической кооперации труда»²⁸ как о двух отдельных явлениях, из этой противоположности выводится политическое заключение: «Единство социалистической системы серьезно пострадало от раскольнического курса, проводимого руководством Китайской Народной Республики», этот курс определяется как «великодержавный шовинизм Мао Цзэдуна и его группы»²⁹.

Обратите особое внимание на контраст между этими двумя позициями. Мао Цзэдун вел дискуссию, исходя из видения «социалистического общества» скорее как процесса, чем как структуры. Как Франк и Суизи, и вновь скорее неявно, чем определенно, Он берет для анализа в качестве целого скорее миросистему, чем национальное государство. Анализ, проводимый советскими учеными, напротив, особо доказывает наличие *двух* мировых систем с двумя разделениями труда, существующими бок о бок, хотя признавалось, что социалистическая система «разделена». Если она разделена политически, объединена ли она экономически? Нужно думать, что едва ли. На основании чего же в таком случае доказывается существование системы? Или это только моральный императив? И означает ли это, что советские ученые строят свои концепции на основе метафизики Канта?

Давайте посмотрим теперь, не сможем ли мы интерпретировать вопросы, затронутые в двух этих дискуссиях, в рамках общей системы концепций, которая могла бы быть использована для анализа функционирования миросистем, и особенно исторически специфической капиталистической мирэкономике, которая к настоящему моменту существует уже четыре или пять столетий.

Мы должны начать с того, как доказывается существование единого разделения труда. Мы можем рассматривать разделение труда как сеть взаимозависимостей. Экономические акторы действуют в

некоем допущении (очевидно, редко ясном для каждого из них), что целостность их существенных потребностей — в поддержании жизни, защите и удовольствии — будет удовлетворена в разумные по длительности сроки комбинацией их собственных производственных усилий и обмена в той или иной форме. Сеть взаимозависимостей наименьшего размера, которая в основном удовлетворяла бы ожидания подавляющего большинства акторов в этих пределах, составляет единую систему разделения труда.

Причина, по которой маленькая земледельческая община, единственная значимая связь которой с внешним миром состоит в выплате ежегодной дани, не может рассматриваться в качестве такой единой системы разделения труда, состоит в том, что человек, живущий в ней, ожидает обеспечения своей защиты в связи с «обменом» с другими частями мира-империи.

Это понятие сети отношений обмена предполагает, однако, различие между *существенными* актами обмена и тем, что может быть названо актами обмена «предметами роскоши» (или «безделушками»): Несомненно, такое различие коренится в социальном восприятии акторов, причем связано как с их социальной организацией, так и с культурой. Восприятие может меняться. Но различие имеет значение, если мы не попадаем в ловушку отождествления *любой* деятельности по обмену с существованием системы. Составные части системы (будь то минисистема или миросистема) могут быть связаны ограниченными обменами с элементами, расположенными вне системы, во «внешней зоне» системы.

Формы такого обмена очень ограничены. Элементы двух систем могут быть вовлечены в обмен безделушками. То есть каждый из них может экспортировать другим то, что в *его* системе социально оценивается как не имеющее большой цены, импортируя в обмен нечто, полагаемое весьма ценным. Это не просто педантическое упражнение в образовании терминов, поскольку обмен безделушками *между* миросистемами может быть чрезвычайно важным в исторической эволюции данной миросистемы. Причина, почему он так важен, состоит в том, что при обмене безделушками импортер стремится «сорвать куш», а не стремится к получению нормальной прибыли. Оба партнера по обмену могут одновременно гнаться за удачей, но лишь

один при этом получает максимум прибыли, в то время как обмен прибавочной стоимостью внутри системы — игра с нулевой суммой.

Мы подходим, как вы видите, к существенной черте капиталистической мирозкономики, состоящей в производстве для продажи на рынке, где цель состоит в получении максимальной прибыли. В такой системе производство постоянно расширяется, пока рост производства остается прибыльным, и люди постоянно обновляют способы производства вещей, чтобы расширить пределы прибыльности. Экономисты-классики пытались доказать, что такое рыночное производство является неким «естественным» состоянием человека. Но сочетание трудов антропологов и марксистов оставило мало сомнений, что такой способ производства (в наше время называемый «капитализмом») был лишь одним из нескольких возможных способов.

Поскольку, однако, интеллектуальные споры между либералами и марксистами происходили в эру промышленной революции, *de facto** появилась тенденция к смешению капитализма и общества с господством промышленности. После 1945 г. это поставило либералов перед дилеммой, потребовалось объяснение, каким образом стало индустриальным некапиталистическое, по-видимому, общество — СССР. Наиболее изощренный ответ состоял в доказательстве, что «либеральный капитализм» и «социализм» были двумя вариантами «индустриального общества», обреченными на «конвергенцию». Этот аргумент был ярко изложен Раймоном Ароном³⁰. Но то же самое смешение поставило марксистов, в том числе и самого Маркса, перед проблемой объяснения, что за способ производства господствовал в Европе с XVI по XVIII в., то есть до промышленной революции. Большинство марксистов говорили о «переходной» стадии, что на самом деле является размытым понятием-пустышкой без операциональных указателей. Эта дилемма становится еще более острой, если в качестве единицы анализа берется государство, в этом случае приходится объяснять, почему в разных странах переход происходил в разное время и с разной скоростью³¹.

Сам Маркс справлялся с этим, прописав различие между «торговым капитализмом» и «промышленным капитализмом». Это, я

* Фактически (*лат.*).

полагаю, неудачная терминология, так как она ведет к заключениям типа того, которое Морис Добб делает о «переходном» периоде:

«Но почему о нем вообще надо говорить как о стадии капитализма? Работники в общем еще не были пролетаризованы: то есть они не были отделены от орудий труда, а во многих случаях и от занимаемого ими участка земли. Производство было рассеянным, децентрализованным и неконцентрированным. *Капиталист все еще был главным образом торговцем* (курсив мой. — *И. В.*), который не осуществлял прямого контроля за производством и не навязывал своей собственной дисциплины труда ремесленникам, которые работали как индивидуальные (или семейные) предприятия и сохраняли значительную степень независимости (пусть и постоянно уменьшающейся)»³².

Можно задать вопрос: как это так? Особенно если вспомнить, как несколькими страницами раньше Добб подчеркивал, что капитализм — это способ *производства* (как же тогда капитализм может быть главным образом торговым?), что он основан на концентрации собственности в руках немногих, что капитализм — не синоним частной собственности и отличается от системы, в которой собственниками являются «мелкие производители — крестьяне или ремесленники». Добб доказывает, что определяющая черта частной собственности при капитализме состоит в том, что одни «обязаны [работать на тех, кто является собственниками], поскольку [сами не владеют] ничем и [не имеют] доступа к средствам производства [и поэтому] не имеют иных средств к жизни»³³. Принимая во внимание это противоречие, даваемый Доббом ответ на его собственный вопрос является, на мой взгляд, чрезвычайно слабым:

«Хотя верно, что ситуация в это время была переходной, и отношения наемный труд-капитал еще не развились до зрелости, тем не менее они уже начали приобретать свои характерные черты»³⁴.

Если капитализм — это способ производства, производства для извлечения прибыли на рынке, тогда мы должны, я полагаю, рассмотреть, существовало или нет такое производство. На самом деле

оказывается, что существовало, и в весьма реальной форме. Однако большей частью это не было промышленное производство. То, что происходило в Европе с XVI по XVIII в., может быть описано следующим образом. В большом географическом районе, в Европе от Польши на северо-востоке к западу и юго-западу, а также в значительной части Западного полушария рос мир-экономика с единым разделением труда, внутри которого был мировой рынок, на который люди производили главным образом сельскохозяйственные продукты, чтобы продавать их и получать прибыль. Я бы полагал, что проще всего назвать это аграрным капитализмом.

Это, помимо прочего, разрешает проблему, порожденную неправильным использованием понятия *наемного* труда как определяющей характеристики капитализма. Индивид не становится в меньшей степени капиталистом, эксплуатирующим труд, если государство помогает ему платить своим работникам низкую зарплату (в том числе и натурой) и отрицает за работником право сменить место занятости. Рабство и так называемое «второе издание крепостного права» не следует оценивать как аномалии в капиталистической системе. Скорее так называемый крепостной в Польше или индеец в испанской *энкомьенде* в Новой Испании в мире-экономике XVI в. работали на землевладельца, который «платил» им (при всей эвфемистичности этого термина) за производство урожая на продажу. Это отношение, в котором рабочая сила выступает в качестве товара (где это может проявляться сильнее, чем при рабстве?), совершенно отличное от отношения феодального серва к своему сеньеру в Бургундии XI в., где экономика не была ориентирована на мировой рынок и где рабочая сила (именно из-за этого?) ни в каком смысле не покупалась и не продавалась.

Капитализм, таким образом, совершенно точно означает труд как товар. Но в эпоху аграрного капитализма наемный труд — лишь один из способов привлечения и возмещения труда на рынке труда. Рабство, принудительное производство урожая на продажу (мое название для так называемого «второго феодализма»), издольщина и аренда — все это альтернативные способы. Было бы слишком долго рассматривать здесь условия, в которых различные регионы мира-экономики приходили к специализации на различных видах сельскохозяйственной продукции, — я сделал это в другом месте³⁵.

Что нам необходимо отметить сейчас — эта специализация произошла в специфических и отличающихся друг от друга географических регионах мира-экономики. Эта региональная специализация пришла как результат стремления акторов на рынке уйти от нормального функционирования рынка повсюду, где оно не приводило к максимизации их прибыли. Попытки этих акторов использовать нерыночные средства для обеспечения краткосрочных прибылей заставляло их обращаться к политическим общностям, которые на самом деле обладали необходимой мощностью, чтобы воздействовать на рынок — к нациям-государствам. (Вновь возникающий вопрос — почему на этой стадии развития они не могли обратиться к городам-государствам — вовлек бы нас в долгое обсуждение, но оно несомненно должно было бы касаться состояния военной и морской технологии, потребности европейцев XV в. в заморской экспансии, если они хотели сохранить уровень доходов различных групп аристократии, в сочетании с состоянием политической дезинтеграции, в которое Европа впала в Средние века.)

В любом случае местные капиталистические классы — землевладельцы, производящие зерно на продажу (часто, и даже обычно, представители знати), и купцы — обращались к государству не только чтобы освободиться от нерыночных ограничений (как традиционно подчеркивала либеральная историография), но и чтобы создать новые ограничения на новом рынке, рынке европейского мира-экономики.

Серией случайностей — исторических, экологических, географических — северо-западная Европа оказалась в XVI в. лучше приспособленной, чем другие части Европы, чтобы разнообразить свою сельскохозяйственную специализацию, добавив к этому и кое-какую промышленность (текстиль, кораблестроение, металлообработку). Северо-западная Европа возникла в качестве сердцевинной зоны этого мира-экономики, специализирующейся на сельскохозяйственном производстве, требующем более высокого уровня квалификации, что способствовало (по причинам, вновь слишком сложным, чтобы объяснять их здесь) развитию аренды и наемного труда как форм контроля над трудом. Восточная Европа и Западное полушарие стали периферийными зонами, специализирующимися на экспорте зерна, драгоценных металлов, дерева, хлопка, сахара — все это благопритство-

вало использованию рабства и барщины как форм контроля над трудом. Европейское Средиземноморье стало полупериферийной зоной этого мира-экономики, специализирующейся на дорогой промышленной продукции (например, шелк), кредитной деятельности и транзакциях со специями, что имело своим следствием развитие в сельскохозяйственных районах издольщины как формы контроля над трудом и небольшой экспорт в другие регионы.

Три структурные позиции мира-экономики — сердцевина (центр), периферия и полупериферия — стабилизировались примерно к 1640 г. Как конкретные районы вошли в определенные зоны, а не в другие — долгая история³⁶. Ключевой факт состоял в том, что в северо-западной Европе изначально заданные легкие отличия совпали с интересами различных местных групп, приведя к развитию сильного государственного механизма, а в периферийных районах они остро разошлись, приведя к ослаблению государственного механизма. Как только мы получили разницу в силе государственных машин, в действие вступил «неравный обмен»³⁷, навязываемый сильными государствами слабым, государствами сердцевины периферийным регионам. Таким образом, капитализм использует не только присвоение собственником прибавочной стоимости, производимой работником, но и присвоение зоной сердцевины прибавочной стоимости, производимой в мироэкономике в целом.

В раннем средневековье, конечно же, существовала торговля. Но она была в основном либо «локальной», в районе, который можно рассматривать как «расширенное поместье», или же «дальней», преимущественно предметами роскоши. Не существовало обмена «основными» товарами в районах промежуточной протяженности и, соответственно, производства для таких рынков. Позже в Средние века можно говорить о появлении миров-экономик — один с центром в Венеции и второй — с центром в городах Фландрии и Ганзы. По различным причинам эти структуры сильно пострадали от потрясений (экономических, демографических и экологических) периода 1300-1450 г. И лишь с созданием *европейского* разделения труда после 1450 г. капитализм обрел прочные корни.

Капитализм изначально был явлением мироэкономики, а не национальных государств. Результат неправильной оценки ситуации —

заявлять, что капитализм стал «всемирным» явлением только в XX в., хотя такое заявление часто делается в различных работах, особенно марксистами. Типичный образец такой аргументации — ответ Шарля Беттельгейма Арриги Эммануэлю в дискуссии о неравном обмене:

«Тенденция капиталистического способа производства к превращению во всемирный проявляется не только через конститутирование группы национальных экономик, которые формируют сложную иерархическую структуру, включая империалистический полюс и полюс, находящийся под господством первого, и не только через антагонистические отношения, развивающиеся между различными "национальными экономиками" и различными государствами, но и через постоянное "преодоление" "национальных пределов" крупным капиталом (формирование "международного крупного капитала", "всемирных фирм" и т. д.)»³⁸.

Весь тон этих замечаний игнорирует тот факт, что капитал никогда не ограничивал своих устремлений национальными границами в капиталистической мироэкономике и что создание «национальных» барьеров — в общем виде в форме меркантилизма — исторически были защитным механизмом капиталистов в странах, находящихся уровнем ниже, чем высшие пункты силы в системе. Это был случай Англии по отношению к Нидерландам в 1660-1715 гг., Франции по отношению к Англии в 1715-1815 гг., Германии по отношению к Великобритании в XIX в., Советского Союза по отношению к США в XX в. В ходе такого процесса большое число стран создало национальные экономические барьеры, последствия чего часто выходили далеко за пределы своих первоначальных целей. В конце концов те же самые капиталисты, которые оказывали давление на свои национальные правительства в пользу введения ограничений, сейчас находят эти ограничения сдерживающими развитие. Это не «интернационализация» «национального» капитала. Это просто новая политическая потребность определенных секторов капиталистических классов, которые в любой момент времени должны стремиться к максимизации своих прибылей на реальном экономическом рынке, рынке мира-экономики.

Если это так, какое значение имеет разговор о структурных позициях внутри этой экономики и об идентификации занятия тем или иным государством той или иной позиции в ней? И почему речь идет именно о трех позициях, почему между широко используемыми понятиями центра и периферии вводится понятие «полупериферии»? Государственные машины стран центра были усилены, чтобы удовлетворить потребности капиталистических землевладельцев и их союзников — купцов. Но это не означает, что эти государственные механизмы были простыми марионетками. Очевидно, что любая организация, будучи созданной, по двум причинам обладает определенной автономией от тех, кто вызвал ее к жизни. Она порождает слой чиновников, чьи дальнейшие карьеры и интересы связаны с продолжающимся усилением организации как таковой, хотя интересы стоящих за ней капиталистов могут изменяться. Короли и бюрократы хотели бы постоянно оставаться у власти и наращивать свои личные возможности. Во-вторых, в процессе создания сильного государства на первых порах была необходимость заключить определенные «конституционные» компромиссы с другими силами внутри государственных границ, и эти институционализованные компромиссы ограничивают, так как именно с этой целью и спроектированы, свободу маневра управляющих государственной машиной. Формула государства как «комитета по управлению делами правящего класса» значима, следовательно, лишь имея в виду, что такого рода исполнительные комитеты никогда не являются просто отражением воли своих учредителей — это хорошо известно всякому, кто когда-либо участвовал в любой организационной деятельности.

Усиление государственных машин в сердцевинных регионах системы имело своим прямым эквивалентом упадок государственных машин в периферийных зонах. Упадок польской монархии в XVI–XVII вв. является поразительным по яркости примером такого явления³⁹. У него было две причины. В периферийных странах интересы капиталистических землевладельцев лежали в противоположном направлении от интересов местной торговой буржуазии. Интересы первых были направлены на сохранение открытой экономики в целях максимизации своих прибылей от торговли на мировом рынке (никаких ограничений в экспорте и в доступе к более дешевым промыш-

ленным товарам из стран сердцевины) и на устранение торговой буржуазии в пользу иностранных купцов (которые не представляли внутренней политической угрозы). Таким образом, в терминах государственного развития та коалиция, которая усиливала государство в странах сердцевины, здесь просто отсутствовала.

Вторая причина, которая стала еще более действенной в ходе истории современной миросистемы, состоит в том, что сила государственной машины в государствах центра является функцией от слабости других государственных машин. Следовательно, вмешательство иностранцев посредством войн, подрывных действий и дипломатии становятся участью периферийных государств.

Все это кажется совершенно очевидным. Я повторяю это лишь для того, чтобы прояснить две позиции. Невозможно разумным образом объяснить силу различных государственных машин в конкретный момент истории современной миросистемы главным образом в терминах генетически-культурной линии аргументации, но скорее в терминах структурной роли, которую страна играет в мире-экономике в данный момент времени. Совершенно точно, что изначальная предназначенность к определенной роли часто определяется случайным критическим моментом в истории конкретной страны, и «случайность», о которой здесь говорится, несомненно коренится отчасти в прошедшей истории и отчасти в текущей географии. Но когда эта сравнительно небольшая случайность произошла, в действие вступают силы мирового рынка, обостряющие различия, институционализирующие их и делающие их непреодолимыми в короткие сроки.

Вторая позиция, которую мы хотим обозначить в вопросе структурных различий центра и периферии, состоит в том, что они непостижимы, пока мы не поймем, что есть еще и третья структурная позиция — полупериферия. Это не просто результат произвольного установления разделителей в континууме характеристик. Наша логика не является чисто индуктивной, ощущающей присутствие третьей категории из сравнения кривых, характеризующих показатели. Она так же и дедуктивна. Полупериферия необходима, чтобы сделать функционирование капиталистической мирэкономки плавным. Обе разновидности миросистем — мир-империя с пере-

распределительной экономикой и мир-экономика с капиталистической рыночной экономикой — включают явно неравное распределение вознаграждений. Таким образом, логически немедленно возникает вопрос, как такая система может устойчиво существовать политически. Почему эксплуатируемое большинство просто не возьмет верх над меньшинством, извлекая непропорционально большие преимущества? Самый беглый взгляд на историю показывает, что эти миросистемы довольно редко сталкивались с восстаниями такого масштаба, чтобы поставить под вопрос весь сложившийся порядок. Б то время как внутреннее недовольство было вечным, обычно требовалось очень длительное время, прежде чем эрозия власти вела к упадку миросистемы, и внешние силы были главным фактором такого упадка столь же часто, как и не были им.

Существовали три основных механизма, которые позволяли миросистемам удерживать относительную политическую стабильность (не в смысле особой группы, которая будет играть ведущую роль в системе, а в смысле выживания системы как таковой). Первый, очевидно, — концентрация военной мощи в руках Господствующих сил. Ее возможности, естественно, изменялись с развитием технологии, и для такой концентрации обязательно существовали политические предпосылки, но тем не менее голая сила несомненно является центральным доводом.

Второй механизм — проникающая сила идеологической приверженности системе в целом. Я не имею в виду то, что часто определялось как «легитимация» системы, потому что этот термин часто употреблялся в предположении, что низшие слои системы чувствуют некое сродство или лояльность по отношению к правителям, а я сомневаюсь, что это когда-либо было значимым фактором в выживании миросистем. Скорее я имею в виду степень, в которой персонал, или специалисты, или кадры системы (я оставляю этот термин намеренно непроясненным) ощущают, что их благосостояние является производным от выживания системы как таковой и от компетентности ее лидеров. Именно этот персонал является теми, кто не только проповедует мифы, но и верит в них.

Но ни сила, ни идеологическая преданность персонала не были бы достаточны, не существовуй разделения большинства на более об-

ширный низший слой и более узкий средний слой. И революционный призыв к поляризации как стратегии перемен, и либеральное воспевание консенсуса как основы либеральной политики отражают это предположение. Значение этого фактора намного шире, чем предполагает его использование в анализе современных политических проблем. Иметь трехуровневую структуру — нормальное условие любой разновидности миросистемы. Если и когда такое условие исчезает, миросистема распадается.

В мире-империи среднему слою фактически принадлежит роль поддержания минимально необходимой торговли предметами роскоши на дальние расстояния, в то время как высший слой концентрирует свои ресурсы на управлении военной машиной, которая может обеспечить сбор дани — решающий способ перераспределения прибавочного продукта. Обеспечивая, тем не менее, доступ к ограниченной части прибавочного продукта для урбанизированных элементов, которые одни только в досовременных обществах могут вносить политическое единство в изолированные группы непосредственных производителей, высший слой эффективно подкупает потенциальных вождей скоординированного бунта. А отрицая доступ этого торгово-городского среднего слоя к политическим правам, он делает его постоянно уязвимым для конфискационных мер, как только его экономическая прибыль достаточно вырастает, чтобы он стал способен создать собственную вооруженную силу.

В мире-экономике такая «культурная» стратификация не столь проста, потому что отсутствие единой политической системы означает скорее вертикальную, чем горизонтальную концентрацию экономических ролей во всей системе. Решением тогда оказывается иметь три *вида* государств при стремлении к культурной гомогенизации внутри каждого из них — таким образом, кроме верхнего слоя государств центра и низшего слоя государств периферии есть еще средний слой полупериферийных государств.

Этой полупериферии предписана как бы некая специфическая экономическая роль, но причины этого носят в гораздо большей мере политический, чем экономический характер. Иначе говоря, вполне можно доказать, что мироэкономика с экономической точки зрения работала бы ничуть не хуже, если бы полупериферии не существо-

вало. Но она была бы куда менее *политически* стабильна, потому что отсутствие полупериферии означало бы поляризованную миросистему. Существование третьей категории означает именно то, что верхний слой не сталкивается с *объединенной* оппозицией всех остальных, потому что *средний* слой является одновременно эксплуатируемыми эксплуатирующим. Отсюда следует, что специфическая экономическая роль не столь важна и изменялась на разных исторических стадиях развития современной миросистемы. Мы коротко обсудим эти изменения.

Где же здесь прилагается классовый анализ? И чем в такой формулировке являются нации, национальности, народности, этнические группы? Прежде всего, не вдаваясь сейчас в обсуждение вопроса⁴⁰, я заявлю, что все эти термины описывают варианты одного и того же феномена, который я буду называть «этно-нациями».

И классы, и этнические группы, они же статусные группы, они же этно-нации — явления миров-экономики, и большая часть грандиозной путаницы, которая окружает конкретные случаи анализа их функционирования, может быть приписана тому простому факту, что их анализировали, как если бы они существовали внутри наций-государств этого мира-экономики, а не в мирэкономике в целом. Такой подход превращается в настоящее прокрустово ложе.

Поскольку в сердцевине спектр видов экономической деятельности гораздо шире, чем на периферии, здесь намного шире и спектр групп синдикальных интересов⁴¹. Так, много раз отмечалось, что во многих частях мира не существует пролетариата в том виде, как он существует в Европе или Северной Америке. Но такой способ наблюдения ведет к смешению понятий. Поскольку промышленная деятельность распределена между разными частями мира-экономики неравномерно, промышленные наемные рабочие могут быть найдены лишь в определенных географических регионах. Их интересы как синдикальной группы определяются их коллективным отношением к мирэкономике. Их способность влиять на политическое функционирование этого мира-экономики обретает форму в силу того факта, что они составляют больший процент населения в одном суверенном образовании, чем в другом. Та форма, которую принимают их организации, в большой мере также определяется этими

политическими границами. То же самое может быть сказано о промышленных капиталистах. Классовый анализ вполне пригоден для оценки политических позиций, скажем, французских квалифицированных рабочих, если мы рассмотрим их структурную позицию и интересы в мирэкономике. Сходным образом обстоит дело и с этно-нациями. Смысл этнического сознания в сердцевиновой зоне существенно отличается от этнического сознания в периферийной зоне именно из-за различных классовых позиций, которые такие этнические группы занимают в мирэкономике⁴².

Политическая борьба этно-наций или сегментов классов внутри национальных границ, конечно, является повседневной пищей местной политики. Но ее значение или последствия могут быть плодотворно проанализированы только если точно объяснить значение их организационной деятельности или политических требований для функционирования мирэкономике. Это, между прочим, делает также возможной рациональную оценку этой политики в смысле некоторой системы оценочных критериев, типа «левое» и «правое».

В таком случае функционирование капиталистической мирэкономике требует, чтобы группы преследовали свои экономические интересы внутри единого мирового рынка, стремясь в то же время деформировать этот рынок для своей выгоды, организуя влияние на государства, некоторые из которых намного сильнее, чем другие, но ни одно из которых не контролирует мировой рынок в его целостности. Конечно, при ближайшем рассмотрении мы обнаружим, что есть периоды, когда одно из государств является относительно самым мощным, и другие периоды, когда мощь более рассеяна и оспариваема, что дает более слабым государствам больший простор для действий. Поэтому мы можем говорить об относительной жесткости или гибкости миросистемы как важной переменной и стремиться проанализировать, почему это измерение имеет тенденцию быть по своей природе цикличным, как, похоже, было на протяжении нескольких сот лет.

Мы теперь в состоянии рассмотреть историческую эволюцию самого капиталистического мира-экономики и проанализировать, в какой степени плодотворно говорить о различных стадиях его эволюции как системы. Возникновение европейского мира-экономики в «долгом XVI веке» (1450-1640 гг.) сделалось возможным благода-

ря исторической конъюнктуры: на долгосрочные тенденции, ставшие кульминацией того, что иногда описывалось как «кризис феодализма», наложился более непосредственный циклический кризис плюс климатические изменения, — все это создало дилемму, которая могла быть разрешена лишь географическим расширением разделения труда. Далее, баланс межсистемных сил был таков, что сделал это возможным. Таким образом географическая экспансия совпала с демографической экспансией и устойчивым ростом цен.

Замечательным было не то, что таким образом был создан европейский мир-экономика, а то, что он выжил в условиях попытки Габсбургов преобразовать его в мир-империю, попытки, которая была вполне серьезным намерением Карла V. Испанская попытка абсорбировать все провалилась из-за того, что быстрый экономико-демографическо-технологический прорыв предшествующего столетия сделал все предприятие по поддержанию имперской основы слишком дорогостоящим, особенно принимая во внимание многие структурные слабости экономического развития Кастилии. Испания не могла позволить себе ни бюрократии, ни армии, которые были необходимы для этого проекта, и по ходу событий пришла к банкротству, как и французские монархи, предпринявшие сходную, хотя еще менее реалистическую, попытку.

Когда мечта Габсбургов о мире-империи умерла — а в 1557 г. она умерла окончательно, — капиталистический мир-экономика сделался установившейся системой, которую было почти невозможно разбалансировать. Он быстро достиг точки равновесия в своих отношениях с другими миросистемами: с Османским и Русским мирами-империями, с прото-миром-экономикой Индийского океана. Каждое из государств или потенциальных государств в европейском мире-экономике быстро встало на путь бюрократизации, создания постоянной армии, гомогенизации своей культуры, диверсификации экономической деятельности. К 1640 г. государства на северо-западе Европы преуспели в утверждении себя в качестве сердцевины системы; Испания и города-государства северной Италии пришли в упадок и стали полупериферией; северо-восточная Европа и Иberoамерика стали периферией. В тот момент те, кто приобрел полупериферийный статус, достигли этого в силу потери более выдающегося положения.

Европейский мир-экономика был консолидирован охватившим всю систему спадом 1650-1730 гг., который открыл вторую стадию современного мира-экономики. Поскольку спад требовал экономии, а относительный прибавочный продукт сократился, осталось место для выживания только одного государства, занимающего центральную позицию. Способом борьбы был меркантилизм, который был способом частичной изоляции и ухода с мирового рынка *больших* регионов, которые сами были построены иерархически — то есть как империи внутри мира-экономики (что совсем не то же, что миры-империи). В этой борьбе Англия сначала лишила Нидерланды их торгового первенства, а затем успешно сопротивлялась попыткам Франции захватить его. Когда Англия после 1760 г. ускорила процесс индустриализации, те капиталистические силы, которые базировались во Франции, предприняли последнюю попытку сломить надвигающуюся британскую гегемонию. Эта попытка нашла свое выражение сначала в свержении Французской революцией служивших старому режиму кадров, а затем в наполеоновской континентальной блокаде. Но эта попытка потерпела неудачу.

Затем началась третья стадия капиталистической мирэкономике, стадия скорее промышленного, чем аграрного капитализма. С этих пор промышленное производство уже не второстепенный элемент мирового рынка, но составляет все больший процент мирового валового продукта — и, что еще важнее, мирового валового прибавочного продукта. Это означает целый ряд последствий для миросистемы.

Прежде всего, это привело к дальнейшей географической экспансии европейского мира-экономики, который теперь стал включать в себя весь земной шар. Отчасти это было результатом его технологических возможностей как в смысле возросшей военной огневой мощи, так и улучшений в кораблестроении и морском деле, которые сделали регулярную торговлю достаточно недорогой. Но кроме того, промышленное производство *требовало* доступа к такому природному сырью и в таких количествах, что потребности более не могли удовлетворяться внутри прежних границ. На первых порах, однако, поиск новых рынков сбыта не был первостепенным основанием географической экспансии, поскольку новые рынки были более доступны, как мы увидим, внутри старых границ.

Географическая экспансия европейского мира-экономики означала уничтожение других миросистем, равно как и поглощение остававшихся минисистем. Самая важная из миросистем за пределами Европы, Россия, вошла в нее с полупериферийным статусом вследствие силы своей государственной машины (включая армию) и уровня индустриализации, уже достигнутого в XVIII в. Независимость стран Латинской Америки ничего не смогла изменить в их периферийном статусе. Они просто уничтожили последние признаки полупериферийной роли Испании и покончили с последними анклавами, не вовлеченными в мироэкономику, во внутренних районах Латинской Америки. Азия и Африка были поглощены периферией в XIX в., хотя Япония, из-за сочетания силы своей государственной машины, бедности ресурсной базы (что в определенной мере снижало интерес со стороны мировых капиталистических сил) и географической отдаленности от районов сердцевины сумела, быстро подняться до полупериферийного статуса.

Поглощение Африки как части периферии означало конец рабства во всем мире по двум причинам. Прежде всего, Людская сила, использовавшаяся в качестве рабов, была теперь нужна для производства в самой Африке товарных культур, в то время как в XVIII в. европейцы стремились препятствовать такому производству⁴³. Вторых, как только Африка из внешней зоны стала частью периферии, рабство перестало быть экономически выгодным. Чтобы понять это, нам надо оценить экономику рабства. Рабы, получающие наименьшее мыслимое вознаграждение за свой труд, обеспечивают наименее производительный труд и наименьшую продолжительность жизни, и то и другое из-за недостаточности питания, плохого обращения и сниженной физической сопротивляемости. Более того, при пополнении численности рабов из отдаленных районов слишком велик процент беглых. То есть для товара с низкой производительностью нужны высокие транспортные издержки. Экономический смысл есть только в случае, если цена покупки фактически нулевая. В капиталистической рыночной торговле у покупки всегда есть реальная цена. Лишь в торговле на большие расстояния, в обмене «безделушками», цена покупки в обществе покупателя может быть на самом деле нулевой. Так обстояло дело и в работорговле. Рабов по-

купали по низкой непосредственной цене (цена производства предметов, которые давали в обмен за них) при отсутствии обычных скрытых издержек. То есть тот факт, что увоз человека из Западной Африки понижал производственный потенциал региона, обладал *нулевой* стоимостью для европейского мира-экономики, поскольку район не охватывался его системой разделения труда. Конечно, если бы работорговля полностью лишила Африку всех возможностей для дальнейших поставок рабов, тогда Европа столкнулась бы с реальными издержками. Но исторически до этого дело никогда не доходило. Но как только Африка стала частью периферии, реальная стоимость рабства в терминах производства прибавочного продукта в мироэкономике выросла до такого размера, что стало гораздо дешевле использовать наемный труд, даже на сахарных и хлопковых плантациях, что и произошло в XIX в. в Карибском бассейне и в других регионах использования рабского труда.

Создание новых обширных районов периферии расширившейся мироэкономике сделало возможным сдвиг в роли некоторых других регионов. А именно, как США, так и Германия (когда она появилась как единое государство) объединяли в себе бывшие периферийные и полупериферийные районы. Промышленный сектор обеих стран смог добиться политического господства, в то время как периферийные субрегионы стали гораздо менее значимыми для мироэкономки. Меркантилизм теперь стал главным инструментом полупериферийных стран, стремящихся стать странами сердцевины, продолжая тем самым все еще выполнять функцию, аналогичную той, которую меркантилизм осуществлял в конце XVII и XVIII вв. в Англии и Франции. Несомненно, борьба полупериферийных стран за то, чтобы «индустриализоваться», варьировала по степени достигнутого успеха в период до Первой мировой войны: она завершилась полным успехом в США, лишь частичным в Германии, вовсе не была успешной в России.

При промышленном капитализме коренным образом изменилась и внутренняя структура государств центра. Для районов центра индустриализм означал отбрасывание, в сущности, всякой сельскохозяйственной деятельности (с поправкой, что в XX в. дальнейшая механизация привела к новым формам труда на земле, столь высоко

механизированным, чтобы обоснованно называться индустриальным). Таким образом, если в период 1700-1740 гг. Англия была не только ведущим европейским экспортером промышленной продукции, но и ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции — высшим пунктом этого был период общеэкономического спада, то к 1900 г. менее 10% населения Англии были связаны с сельским хозяйством.

При промышленном капитализме сначала центр обменивал промышленные товары на сельскохозяйственные продукты периферии — отсюда Великобритания с 1815 по 1873 г. получила наименование «мастерская мира». Даже в те полупериферийные страны, где была какая-то промышленность (Франция, Германия, Бельгия, США), Великобритания в тот период поставляла около половины потребных им промышленных товаров. Однако по мере того, как меркантилистская практика упомянутой группы стран лишала Великобританию рынков сбыта и даже создавала ей конкуренцию в торговле с периферийными зонами, конкуренцию, приведшую к концу XIX в. к «схватке за Африку», всемирное разделение труда переструктурировалось, обеспечивая новую специфическую роль центра: не столько производство потребительских товаров, сколько изготовление машин для производства потребительских товаров, а также обеспечение инфраструктуры (для того периода в первую очередь железных дорог).

Подъем обрабатывающей промышленности впервые при капитализме создал обширный городской пролетариат. И как следствие, впервые появилось то, что Михельс назвал «массовым антикапиталистическим духом»⁴⁴, который выразился в конкретных организационных формах (профсоюзы, социалистические партии). Это развитие ввело новый фактор, столь же угрожающий стабильности государств и уверенно управлявших ими в тот момент капиталистических сил, как более ранние центробежные устремления региональных антикапиталистических землевладельческих элементов в XVII в.

В то самое время, как буржуазия стран центра столкнулась с этой угрозой внутренней стабильности своих государственных структур, одновременно они столкнулись с экономическим кризисом пос-

ледней трети XIX в., порожденным тем, что рост сельскохозяйственного производства (а фактически и легкой промышленности) происходил быстрее, чем расширение потенциального рынка для этих товаров. Часть прибавочного продукта должна была быть перераспределена в чью-то пользу, чтобы эти товары могли быть куплены и экономическая машина вернулась бы к бесперебойному ходу. Расширяя потребительскую способность промышленного пролетариата стран центра, мироэкономика избавлялась от двух проблем одновременно: от узости спроса и от неурегулированного «классового конфликта» в сердцевине системы — и вот, социальный либерализм или идеология государства всеобщего благосостояния появились именно в тот момент времени.

Первая мировая война, как заметили современники, была концом эпохи, а русская революция 1917 г. — началом новой — нашей четвертой стадии. Эта стадия, несомненно, должна была стать стадией революционных беспорядков, но она одновременно стала, парадоксально на первый взгляд, стадией *консолидации* мироэкономики промышленного капитализма. Русская революция была революцией в полупериферийной стране, соотношение внутренних сил в которой было таково, что с конца XIX в. она начала соскальзывать к периферийному статусу. Это было результатом заметного проникновения иностранного капитала в промышленный сектор (что вело к устранению из него всех местных капиталистических сил), сопротивления механизации сельскохозяйственного сектора, упадка относительной военной мощи (продемонстрированного поражением в войне с Японией в 1905 г.). Революция привела к власти группу государственных управленцев, которые обратили все эти тенденции вспять, используя классические технологии меркантилистского полухода из миросистемы. В этом процессе страна, которая теперь стала СССР, мобилизовала существенную народную поддержку, особенно среди городского населения. В конце Второй мировой войны Россия восстановила свое положение как очень сильного члена полупериферийного сообщества и смогла начать бороться за обретение полноправного статуса в сердцевине.

Между тем упадок Великобритании, начало которого датируется 1873 г., стал несомненным фактом, и ее роль гегемона была перехвачена

чена Соединенными Штатами Америки. В то время как США росли таким образом, Германия в результате своего военного поражения отстала еще сильнее. Различные попытки Германии в 1920-е гг. найти новые рынки сбыта для своей промышленности на Ближнем Востоке и в Южной Америке потерпели неудачу в силу давления США и продолжавшей существовать относительной силы Великобритании. Отчаянный рывок Германии вновь обрести уходящую из-под ног почву принял тлетворную и потерпевшую неудачу форму нацизма.

Именно Вторая мировая война дала возможность США выйти на тот же уровень первенства в мире, что Великобритания имела в первой половине XIX в. Рост США в этот период был потрясающим и создал громадную потребность в расширении рынков сбыта. «Холодная война» закрыла для американского экспорта не только СССР, но и Восточную Европу. А китайская революция означала, что и этот регион, предназначенный для активной эксплуатации, также оказался отрезан. Оставались доступными три региона, и каждый из них был подвергнут тщательной «обработке». Во-первых, следовало быстро «восстановить» Западную Европу, и «план Маршалла» как раз позволил этому региону играть первые роли в расширении мирового производства. Во-вторых, Латинская Америка стала заповедником инвестиций США, от которого теперь были полностью отсечены Великобритания и Германия. В-третьих, Южная Азия, Ближний Восток и Африка должны были подвергнуться деколонизации. С одной стороны, это было необходимо, чтобы уменьшить долю прибавочного продукта, присваиваемого западноевропейскими посредниками (так же Каннинг скрытно поддерживал латиноамериканских революционеров против Испании в 1820-х гг.⁴⁵). С другой стороны, эти страны необходимо было деколонизовать, чтобы мобилизовать производственный потенциал таким образом, какой был недостижим в колониальную эпоху. Колониальное управление, в конце концов, было *низшей* формой отношений центра и периферии, обусловленной напряженным конфликтом конца XIX в. между промышленно развитыми государствами, формой, нежелательной более с точки зрения новой державы-гегемона⁴⁶.

Но мировая капиталистическая экономика не позволяет существовать подлинной империи. Карл V не смог осуществить свою

мечту о мире-империи. *Pax Britannica** породила собственный распад. То же произошло и с *Pax Americana*** . В каждом из случаев содержание *политической* империи оказывалось чрезмерно дорогим с экономической точки зрения, и в капиталистической системе, в среднесрочном плане, когда падает прибыль, ищутся новые *политические* формулы. В нашем случае издержки росли по нескольким направлениям. Усилия СССР продолжить свою индустриализацию, защитить привилегированный рынок (Восточную Европу) и силой прорваться на другие рынки привело к колоссальному раскручиванию военных расходов, которые на советской стороне обещали в долгосрочном плане прибыль, в то время как для США это был вынужденный быстрый бег с целью удержаться на месте. Экономическое возрождение Западной Европы, сделавшееся необходимым как для того, чтобы обеспечить рынок для товаров и инвестиций США, так и для противостояния военной угрозе со стороны СССР, со временем стало означать, что коллективные структуры западноевропейских государств стали такими же сильными, как США, что привело в конце 1960-х гг. к «долларовому и золотому кризису» и отходу Никсона с позиций свободной торговли, которые в капиталистической рыночной системе являются определяющим признаком уверенного в себе лидера. Когда добавилось кумулятивное давление третьего мира, прежде всего Вьетнам, стало неизбежным переструктурирование всемирного разделения труда, включая, наиболее вероятно, четырехстороннее разделение большей части мирового прибавочного продукта между США, Европейским Общим Рынком, Японией и СССР.

Такой упадок гегемонии США на самом деле *увеличил* свободу действий капиталистических предприятий, крупнейшие из которых приняли форму многонациональных корпораций, способных осуществлять маневры против государственных бюрократий, как только национальные политики становятся чересчур податливыми к внутреннему давлению со стороны рабочих. Могут ли быть установлены эффективные связи между многонациональными корпора-

Британский мир (*лат.*).

Американский мир (*лат.*).

циями, поле деятельности которых сейчас ограничено определенными регионами, и СССР, покажет будущее, но это ни в коем случае не является невозможным.

Это вновь возвращает нас к вопросу, с которого мы начали этот доклад, к эзотерическому на первый взгляд спору между Лю Шаоци и Мао Цзэдуном о том, является ли Китай, как доказывал Лю, социалистическим государством, или же, как доказывал Мао, социализм — это процесс, включающий продолжающуюся и непрерывную классовую борьбу. Несомненно, тем, для кого сама терминология является чуждой, дискуссия кажется темной и теологической. Однако проблема, как мы уже сказали, вполне реальна. Если русская революция возникла как реакция на угрозу дальнейшего ухудшения структурной позиции России в мироэкономике, и если через 50 лет можно говорить об СССР как о государстве, добившемся статуса державы сердцевины *капиталистической* мироэкономике, в чем же тогда смысл различных так называемых социалистических революций, которые произошли на трети территории Земли? В первую очередь заметим, что теми странами, где произошла «социалистическая революция», не были ни Таиланд, ни Либерия, ни Парагвай, такими странами были Россия, Китай и Куба. Иначе говоря, такие революции произошли в странах, которые, с точки зрения их внутренней экономической структуры, в предреволюционный период обладали определенным минимумом сил в смысле квалифицированных кадров, некоторой промышленности и других факторов, которые делали вероятным, что в рамках капиталистической мироэкономике такая страна могла бы изменить свою роль в мировом разделении труда в разумные сроки (скажем, 30-50 лет), используя технику меркантилистского полу-ухода. (Для Кубы это, быть может, и невероятно, но мы еще посмотрим.) Конечно, другие страны в географических регионах и орбите военного влияния этих революционных сил сменили режим, и не имея таких характеристик (например, Монголия или Албания). Следует также заметить, что многие из стран, где подобные силы мощны или где для предотвращения их появления требуются значительные усилия, также обладают этим статусом минимальных предпосылок. Я имею в виду Чили, или Бразилию, или Египет — или на самом деле даже Италию.

Разве мы не видим возникновения политической структуры для *полупериферийных* стран, адаптированной к четвертой стадии капиталистической миросистемы? Тот факт, что в этих странах все предприятия национализированы, вовсе не делает участие этих предприятий в мироэкономике не отвечающим способу функционирования капиталистической рыночной системы: стремление к растущей эффективности производства с целью реализовать максимальные цены продажи, достигая таким образом более выгодного распределения прибавочного продукта мироэкономике. Если завтра «Ю. Эс. Стил» превратится в рабочий коллектив, где все без исключения наемные работники будут получать равную долю прибыли, а все держатели акций будут экспроприированы без компенсации, перестанет ли из-за этого «Ю. Эс. Стил» быть капиталистическим предприятием, действующим в капиталистической мироэкономике?

Какими же в таком случае были последствия для миросистемы от появления большого количества государств, где нет частной собственности на основные средства производства? Отчасти это означало сдвиги во внутреннем потреблении. Это совершенно точно подрывало идеологическое оправдание мирового капитализма, как показывая политическую уязвимость капиталистических предпринимателей, так и демонстрируя, что частная собственность не является обязательным условием для быстрого роста промышленного производства. Но в той мере, в какой это повысило способность новых полупериферийных зон добиваться большей доли мирового прибавочного продукта, это еще раз деполяризовало мир, воссоздав триаду слоев, бывшую фундаментальным элементом выживания миросистемы.

Наконец, в периферийных зонах мироэкономике как продолжающаяся экспансия центра (хотя при этом внутри него происходит некоторое перераспределение прибавочного продукта), так и новая сила полупериферии привели к дальнейшему политическому и, следовательно, экономическому ослаблению периферийных регионов. Пандиты* отмечают, что «разрыв становится больше», но далее ник-

От индийского «ученый брамин», употребляется в ироническом смысле «большой ученый».

то не преуспевает в том, чтобы что-то с этим сделать, и вовсе остается непоясненным, что очень много людей, заинтересованных в существовании проблемы. Вместо усиления государственной власти во многих частях мира мы наблюдаем тот же тип ухудшения, который Польша переживала в XVI в., ухудшение, лишь одним из многих свидетельств которого являются частые военные перевороты. И все это приводит нас к заключению, что четвертая стадия была стадией *консолидации* капиталистической мирозкономики.

Консолидация, однако, не означает отсутствия противоречий и не означает вероятности долгосрочного выживания. Мы, таким образом, подходим к прогнозированию будущего, что всегда было великой человеческой игрой, его подлинной *hybris**, наиболее убедительным аргументом в пользу догмы о первородном грехе. Поскольку я читал Данте, то буду краток.

Мне представляется, что в действии капиталистической мирозсистемы содержатся два фундаментальных противоречия. Прежде всего, это противоречие, на которое указал корпус марксистских документов XIX в., я сформулировал бы его следующим образом: в то время как в краткосрочной перспективе максимизация прибыли требует максимизации изъятия прибавочного продукта из непосредственного потребления большинства, в долгосрочной перспективе непрерывное производство прибавочного продукта требует массового спроса, который может быть создан лишь перераспределением изъятых прибавочного продукта. Поскольку два эти соображения направлены в противоположные стороны (это и есть «противоречие»), система переживает постоянные кризисы, которые в длительной перспективе ее ослабляют и одновременно делают для привилегированных игру не стоящей свеч.

Второе фундаментальное противоречие, на которое указывает концепция социализма как процесса, предложенная Мао, состоит в следующем: всякий раз, когда владельцы привилегий пытаются ассимилировать оппозиционное движение, подключив его представителей к получению небольшой части привилегий, они, несомненно, в краткосрочной перспективе устраняют оппонентов; но они также

поднимают ставку для следующего оппозиционного движения, возникающего в ходе следующего кризиса мирозэкономики. Таким образом, цена «ассимиляции» становится все выше, а связанные с ней преимущества кажутся с каждым разом все более сомнительными.

В настоящее время в мирозэкономике содержится не больше социалистических систем, чем феодальных, потому что существует лишь *одна* мирозсистема. Это мирозэкономика, и она является по определению капиталистической по своей форме. Социализм предполагает создание нового типа мирозсистемы, которая не была бы ни перераспределительным миром-империей, ни капиталистическим миром-экономикой, но социалистическим миром-правительством. Я не рассматриваю этот прогноз как нечто утопическое, но и не чувствую, чтобы такая организация общества была бы неизбежной. Она станет результатом длительной борьбы в формах, которые могут быть знакомыми, и, пожалуй, в очень небольшом количестве форм, борьбы, которая будет происходить во *всех* зонах мирозэкономики (непрекращающаяся «классовая борьба», о которой говорил Мао). Правительства могут быть в руках личностей, групп или движений, симпатизирующих такой трансформации, но *государства* как таковые не являются ни прогрессивными, ни реакционными. Это движения и политические силы заслуживают таких оценочных суждений.

После того как я зашел в прогнозировании будущего так далеко, насколько осмеливался, позвольте мне вернуться к настоящему и к нашему ученому предприятию, которое никогда не является нейтральным, но имеет собственную логику и в определенной мере собственные приоритеты. Мы наметили в качестве основной единицы наблюдения понятие мирозсистемы, у которой есть составные части и стадии развития. И именно в этих рамках, доказываю я, мы можем проводить плодотворный сравнительный анализ — между целым и его составными частями. Концепции предваряют измерения и направляют их. Я полностью за детальнейшие и изощренные количественные показатели. Я полностью за детальнейшие и усердные архивные изыскания, которые позволят проследить конкретные исторические серии событий во всей их непосредственной сложности. Но проблема в том, как дать нам возможность лучше увидеть то, что происходило и что происходит. Для этого нам нужны опти-

* Гордыня (*др.-гр.*).

ческие инструменты, с которыми мы могли бы распознать измерения отличий, нам нужны модели, с помощью которых мы могли бы взвесить значения, нам нужны обобщающие концепции, с помощью которых мы создадим знания, которыми мы затем будем пытаться обмениваться друг с другом. И все это потому, что мы люди с *hybris* и первородным грехом, и потому стремимся к добру, истине и красоте.

- ¹ George Lukacs. The Marxism of Rosa Luxemburg. In: *History and Class Consciousness* (London, Merlin Press, 1968), p. 27.
- ² Robert A. Nisbet. *Social Change and History* (New York: Oxford University Press, 1969), p. 302-303. Сам я исключил бы из этой критики литературу по экономической истории.
- * Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // *Философия и методология истории*. М.: Прогресс, 1977, с. 139-140.
- ⁴ См.: Andre Gunder Frank. The Myth of Feudalism. In: *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (New York: Monthly Review Press, 1967), p. 221-242.
- ⁵ См. обсуждение Фредерикам Лэйном (Frederic Lane) «платы за защиту», воспроизведенное в 3-й части книги: *Venice and History* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1966). Конкретно о проблеме дани см. p. 389-390, 416—420.
- ⁶ См.: The Economy as Instituted Process. In: Karl Polanyi, Conrad M. Arsenberg, Harry W. Pearson, eds. *Trade and Market in the Early Empire* (Glencoe: Free Press, 1957), p. 243-270.
- ⁷ См. напр. мою книгу: *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (New York: Academic Press, 1974).
- ⁸ Филип Абраме (Philip Abrams) заключает подобное рассуждение следующим замечанием: «Академическое и интеллектуальное разведение истории и социологии, похоже, производит эффект отвлечения обеих дисциплин от серьезного обращения к самым важным проблемам, связанным с пониманием общественного перехода». См.: *The Sense of the Past and the Origins of Sociology, Past and Present*, 55 (May 1972), 32.
- ⁹ Frank A. *The Myth of Feudalism*, p. 3.
- ¹⁰ Критика, теперь уже классическая, этих теорий, осуществленная Франком, опубликована под названием «Социология развития и слабораз-

витость социологии» (Sociology of Development and Underdevelopment of Sociology) в книге: *Latin America: Underdevelopment of Revolution* (New York: Monthly Review Press, 1969), p. 21-94.

- ¹¹ См.: Theotonio Dos Santos. *La Nueva Dependencia* (Buenos Aires: sediciones, 1968).
- ¹² Ernesto Laclau(?). Feudalism and Capitalism in Latin America, *New Left Review*, 67 (May-June 1971), p. 37-38.
- ¹³ Люксембург Р. *Накопление капитала*. Изд. 5-е. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934, с. 256. Однако Люксембург, что очевидно, еще дальше вовлекает себя в путаницу, используя терминологию «капиталистического» и «некапиталистического» способов производства. Отвлекаясь от этих терминов, ее видение безупречно: «С обеих точек зрения — и с точки зрения реализации прибавочной стоимости, и с точки зрения обеспечения производства элементами постоянного капитала — мировой обмен заранее является историческим условием существования капитализма, а мировой обмен при данных конкретных отношениях по существу представляет собой обмен между капиталистическим и некапиталистическими формами производства» {там же, с. 252}. Она демонстрирует сходное озарение, говоря о необходимости рекрутировать рабочую силу для регионов центра с периферии, что она называет «возрастанием переменного капитала» {там же, с. 253}.
- ¹⁴ Спор был начат книгой: Maurice Dobb. *Studies in the Development of Capitalism* (London, Routledge and Kegan Paul, 1946). Поль Суизи (Paul Sweezy) критиковал Добба в статье: Transition from Feudalism to Capitalism, *Science and Society*, 14: 2 (Spring 1950), p. 134-157; в том же номере был напечатан и ответ Добба. С этого момента в дискуссию вступили многие другие люди в разных частях мира. Я дал обзор и оценку этой дискуссии *in extenso* [в развернутом виде {лат.}] в гл. I книги *The Modern World-System*.
- ¹⁵ От нас потребовалось бы очень долгое рассуждение, чтобы обосновать положение, что, подобно большинству великих мыслителей, Маркс имел две ипостаси, был пленником своего социального положения и одновременно гением, способным временами смотреть на вещи более широко и с лучшей точки зрения. Первый Маркс извлекал общие выводы из истории Великобритании. Второй же был вдохновителем критических концептуальных подходов к общественной реальности. У У. Ростоу (W. W. Rostow), между прочим, стремится опровергнуть первого Маркса, предлагая альтернативную генерализацию истории Великобритании. Он игнорирует второго и более важного Маркса. См.: *The*

- Stages of Economic Growth: A Non-Comunist Manifesto* (Cambridge: University Press, 1960).
- ¹⁶ Laclau. *Feudalism and Capitalism*, p. 25, 30.
- ¹⁷ *Программа Коммунистической партии Советского Союза: Принята XXII съездом КПСС* М.: Политиздат, 1972, с. 101.
- ¹⁸ Бурлацкий Ф. М. *Государство и коммунизм*. М: Соцэкгиз, 1963, с. 122.
- ¹⁹ Мао Цзэ-дун. *К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа*. М.: Правда, 1957, с. 34-35.
- ²⁰ *Long live The Invincible Thought of Mao Tse-Tung!* Брошюра без даты, выпущена между 1967 и 1969 г., переведена в *Current Background*, 884 (18 июля 1969), p. 14.
- ²¹ Такова позиция, высказанная Мао Цзэдуном в его речи, обращенной к рабочему совещанию Центрального Комитета в Пейтайхо в августе 1962 г., о чем говорится в брошюре *Long live...*, p. 20. Позиция Мао была затем изложена на X пленуме Центрального Комитета КПК восьмого созыва в сентябре 1962 г., этот пленум в вышеупомянутой брошюре описан как «великий поворотный пункт в неистовой борьбе между пролетарскими и буржуазными штабами в Китае» (*ibid.*, p. 21).
- ²² Замечание, сделанное Мао на XX Пленуме, цит. по: *Ibid*, p. 20.
- ²³ Mao Tse-Tung. Talk on the Question of Democratic Centralism (30 января 1962 г.). In: *Current Background*, 891 (8 октября 1969 г.), p. 39.
- ²⁴ Communique of the 10th Plenary Session of the 8th Central Committee of the Chinese Communist Party, *Current Background*, 691 (5 октября 1962 г.), p. 3.
- ²⁵ Yuri Sdobnikov, ed. *Socialism and Capitalism: Score and Prospects* (Moscow: Progress Publications, 1971), p. 20. Книга была подготовлена сотрудниками Института мировой экономики и международных отношений, и главным автором был профессор В. Аболтин.
- ²⁶ *Ibid.*, p. 21.
- ²⁷ *Ш.*, p. 26.
- ²⁸ *Ibid.*, p. 24.
- ²⁹ *Ibid.*, p. 25.
- ³⁰ См.: Raymond Aron. *Dix-huit lecons sur la societe industrielle* (Paris: Ed. Gallimard, 1962).
- ³¹ Именно эта дилемма стояла, как я думаю, перед Э. Дж. Хобсбаумом при объяснении его так называемого «кризиса семнадцатого века». См. его статьи из *Past and Present*, перепечатанные (с различными критическими откликами) в книге; Trevor Aston, ed. *The Crisis of the Seventeenth Century* (London: Routledge and Kegan Paul, 1965).
- ³² Maurice Dobb. *Capitalism Yesterday and Today* (London: Lawrence and Wishart, 1958), p. 21.
- ³³ *Ibid.*, p. 6-7.
- ³⁴ *Ibid.*, p. 21.
- ³⁵ См. мою книгу: *The Modern World-System*, гл. 2.
- ³⁶ Мое краткое описание этого см.: Three Paths of National Development in the Sixteenth Century, *Studies in Comparative International Development*, 7: 2 (Summer 1972), p. 95-101, а также гл. 2 моей книги *The Capitalist World-Economy* (Cambridge: University Press — Paris: Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, 1979).
- ³⁷ См.: Arghiri Emmanuel. *Unequal Exchange* (New York: Monthly Review Press, 1972).
- ³⁸ Charles Bettelheim. Theoretical Comments. In: Emmanuel. *Unequal Exchange*, p. 295.
- ³⁹ См.: J. Siemensi. Constitutional Conditions in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: *Cambridge History of Poland*, vol. I; W. F. Reddaway et al., eds. *From the Origins to Sobieski (to 1696)* (Cambridge: University Press, 1950), p. 416-440; Janusz Tazbir. The Commonwealth of the Gentry. In: Aleksander Gieysztor et al. *History of Poland* (Warszawa: PWN — Polish Scientific Publications, 1968), p. 169-271.
- ⁴⁰ См. более полный анализ в моей работе: Social Conflict in Post-Independence Black Africa: The Concepts of Race and Status-Group Reconsidered. In: Ernest Q. Campbell, ed. *Racial Tensions and National Identity* (Nashville: Vanderbilt University Press, 1972), p. 207-226; а также мою работу: *The Capitalist World-Economy*, гл. 10.
- ⁴¹ «Спектр» в этом предложении означает количество различных сфер деятельности, в которые вовлечены значительные группы населения. То есть типичные периферийные общества большей частью являются аграрными. Общество сердцевины обычно имеет сферы деятельности, распределенные между всеми тремя секторами по классификации Коллина Кларка. Если перевести понятие спектра в его выражение в стиле жизни, моделях потребления, даже в распределении доходов, вполне возможно изобразить это соотношение в обратной форме. В типичном периферийном обществе различия между земледельцем на уровне вы-

живания и городским специалистом очевидно намного больше, чем те различия, которые могут быть найдены в типичном государстве сердцевины.

- ⁴² См. мою работу: *The Two Modes of Ethnic Consciousness: Soviet Central Asia in Transition?* In: Edward Allworth, ed. *The Nationality Question in Soviet Central Asia* (New York: Praeger, 1973), p. 168-173; а также гл. 11 в книге: *The Capitalist World-Economy*.
- ⁴³ А. Аду Боахен цитирует инструкции Британского торгового ведомства от 1751г. губернатору Кейп Кастля (маленький британский форт и торговое поселение на территории нынешней Ганы) добиться того, чтобы местное население, фанте, перестало выращивать хлопок. Доводы приводились следующие: «Распространение культуры и промышленности среди негров противоречит хорошо известной политике нашей страны, неизвестно, к чему оно может привести и не приведет ли в дальнейшем к выращиванию табака, сахара и других товаров, которые сейчас мы вывозим из наших колоний; и тогда африканцы, живущие сейчас войной, станут плантаторами и их рабы будут заняты производством в Африке товаров, которые сейчас эти рабы производят в Америке». Цит. по: A. Adu Boahen. *Topics in West Africa History* (London: Longmans, Green and Co., 1966), p. 113.
- ⁴⁴ Robert Michels. *The Origins of the Anti-Capitalist Mass Spirit*. In: *Man in Contemporary Society* (New York: Columbia University Press, 1955), vol. 1, p. 740-765.
- ⁴⁵ См.: William W. Kaufman. *British Policy and the Independence of Latin America, 1804-28* (New Haven: Yale University Press, 1951).
- ⁴⁶ См.: Catherine Coquery-Vidrovitch. *De l'imperialisme britannique a l'imperialisme contemporain — l'avatar colonial, L'Homme et la societe*, 18 (октябрь-декабрь 1970), p. 61-90.

ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ: ПЕРЕХОД ИЛИ ПЕРЕХОДЫ?

Спор о соответствующем сути явления определении таких понятий, как феодализм или капитализм, пронизывает все дискуссии о современном мире. Я хотел бы дать обзор природы этого спора и показать, как он может направлять понимание такого зыбкого термина, как «переход».

Позвольте мне начать с капитализма. Мне представляется, что существуют три подхода, определявших использование этого термина. Я отождествляю их с Адамом Смитом, Вернером Зомбартом и Карлом Марксом.

Адам Смит предположил в часто цитируемой фразе из «Богатства наций», что разделение труда является необходимым следствием «определенной особенности человеческого естества... склонности меняться, выменивать, обменивать один предмет на другой»¹.

Из этой исходной посылки логически следует вывод, что капитализм — не одна из нескольких исторически следующих одна за другой экономических форм, а просто то, «что происходит естественно». Точнее говоря, исторически существовали многие политические «системы», которые вмешивались в осуществление этих естественных склонностей человека, но эти вмешательства были лишь проявлениями человеческой неразумности:

«Таким-то образом всякая система, старающаяся чрезвычайными поощрительными мерами привлечь к какой-либо особой отрасли труда большую долю капитала общества, чем естественно направлялось бы к ней, или чрезвычайными стеснениями отвлекать от какой-нибудь отрасли труда ту долю капитала, которая без таких стеснений была бы вложена в нее, в действительности поступает как раз обратно тому, к чему стремится. Она задерживает, вместо того чтобы ускорять, развитие общества в направлении к

На русском языке издавалась под названием «Буржуа».

действительному богатству и величию, и уменьшает, вместо того чтобы увеличивать, действительную стоимость продукта его земли и труда»².

Подход Вернера Зомбарта в «Квинтэссенции капитализма» радикально отличается. Психология Зомбарта начинает вовсе не с утверждения об отражении капитализмом внутренней человеческой природы, а с прямо противоположного предположения. Капитализм неестественен:

«Докапиталистический человек — это естественный человек, [человек, каким Бог сотворил его]*. Человеком, который еще не балансирует на голове и не бегаёт на руках (как это делает экономический человек наших дней), но твердо стоит на земле обеими ногами и на них ходит по свету. Найти его хозяйственный образ мыслей поэтому нетрудно: он как бы сам собою вытекает из человеческой природы»³.

Но из факта неестественности капитализма вовсе не следует, что он хорош или плох. У него есть свои достоинства и свои пороки, хотя в какой-то день он может «сойти со сцены».

«Что будет тогда, когда капиталистический дух, в конце концов, лишится своей теперешней энергии, нас здесь совершенно не касается. Быть может, великана тогда, когда он ослепнет, выдрессируют, чтобы тащить демократическую культурную тачку. А может быть, это и будут сумерки богов. Золото будет возвращено Рейну.

Кто знает?»⁴

Ключевой пункт в рассуждениях Зомбарта о капитализме состоит в том, что капитализм стал возможен лишь при возникновении «духа капитализма» и что все выражения такого духа «коренятся в... первоначальных унаследованных свойствах организма»⁵. Затем Зомбарт при взгляде на эмпирическую реальность извлекает два вывода: (1) Все люди обладают качествами, необходимыми для капитализма. (2) Каждому народу эти качества присущи в разной степени⁶.

Эта часть фразы опущена в русском переводе (*прим. перев.*)

Маркс отправлялся от иного исходного пункта. Для него вопрос о том, является ли склонность к предпринимательской деятельности «природной» или нет, был метафизической мистификацией⁷. Потому что экономическое поведение человека по отношению к другим людям — отражение особой системы, которую он назвал «производственными отношениями», а эти отношения эволюционируют в ходе истории. В этом смысле «природа» человека, выводимая из его экономического поведения, менялась со временем. Конечно, изменения не были ни внезапными, ни случайными, поскольку:

«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления»⁸.

Для Маркса, таким образом, проблемой было объяснить, какова материальная основа капиталистического способа производства именно как отличающегося от других способов производства и какими были исторические обстоятельства и формы перехода социальной системы от одного способа производства к другому.

Как каждый из этих подходов применяется при решении вопроса о переходе от феодализма к капитализму? Смитовский подход логично и неизбежно ведет к полному отсутствию интереса к проблеме. Капитализм — это просто экономика, основанная на денежном обращении. «Переход» случился когда-то в доисторические времена. Соответственно и наш вопрос с интеллектуальной точки зрения — не проблема или в лучшем случае незначительная сноска в написанной с точки зрения вигов истории. Экономисты были заинтересованы в универсальных формулах, и как только в сердце капиталистического мира-экономики были ликвидированы остатки меркантилистского мышления, проблема перестала быть предметом по-

литических споров. С тех пор последователи Смита, экономисты неоклассической школы, презрительно отвернулись от исторических и «институциональных» данных и проблем.

Марксистские критики экономистов-классиков и либералов поставили в центр своих рассуждений главным образом аргумент, что «универсалии» последних — будь то в политике (индивидуальные права), экономике (рыночное саморегулирование), этике (категорический императив) или науке (эмпиризм) — на самом деле классово обусловлены, являются отражением подходов социально господствующей группы, буржуазии. Маркс принял многое из их анализа, *в той мере, в какой тот работал*, но настаивал на его исторической ограниченности и ошибочности его представления как выражения естественных законов или вечных истин.

Таким образом, капитализм *следовал* за феодализмом, и оба строя были «естественными», если понимать под этим, что они существовали и каким-то образом составляли историческую последовательность. И «переход» также был естествен, в том смысле, что был кульминацией противоречий, присущих одному из способов производства, что и вело в определенный момент к качественному преобразованию общественного строя.

Для Зомбарта, как и для Маркса, проблема перехода была исторически реальной. Но марксистская точка зрения, ставившая в центр классовый конфликт, была ему не по нраву. Зомбарт искал способы объяснить (и преодолеть) «отсталость», что имело не столь пугающий политический смысл. И все же сила марксовской критики была слишком велика, чтобы ее было возможно игнорировать. Ее скорее следовало обойти. Зло капитализма необходимо было признать без реального осуждения виновника. Решение состояло в том, чтобы признать капиталистическую систему неестественной, но капиталиста — героическим.

Что же, с точки зрения Зомбарта, было «неестественным» в капитализме? То, по-видимому, что человек жертвовал удовлетворением немедленных потребностей (будь то материальное потребление или «духовные» достижения) во имя долгосрочного экономического вознаграждения. Хотя подобный подход мог бы привести и к весьма критическому отношению к капитализму (см. обличение

Карлейлем «денежных отношений»), он может привести человека и в противоположном направлении — к восхищению «индивидом», который противостоит инертности масс, Прометеем, похищающим у богов огонь, как можно было бы резюмировать взгляд Шумпетера.

Поскольку предполагается, что всегда встречались люди прометеевского типа, но их исторические успехи всегда были преходящи, как же можно объяснить, что наконец-то был достигнут успех и в западном мире возник капитализм? В нахождение ответа внес свой вклад Макс Вебер. Излагая эскизно, для Вебера создание капиталистической *системы* было следствием уникального сочетания определенного уровня технологии, специфических политических условий («европейский феодализм») и подъема необычной религиозной традиции («профетической») в форме протестантизма, особенно кальвинизма. Это сочетание позволило группам предпринимателей создать институты, защищающие от враждебных им сил. Таким образом, зомбартовское «неестественное» положение дел обрело существование через веберовское исключительное стечение обстоятельств.

Именно в этом контексте мы обращаемся к вопросу о переходе. Кто совершает переход, куда он совершается, когда происходит? Мы должны начать с различия между тремя способами пользоваться понятием «переход», часто сваливаемыми в кучу — не столько Марксом и Вебером, так сказать, сколько теми, кто провозглашает себя их учениками. Ведь грандиозная путаница порождается фактом, что один и тот же термин на самом деле обозначает три достаточно различных явления и тем самым искажает историческую интерпретацию процесса социального изменения.

Первое значение термина «переход» должно относиться к начальному *преобразованию* феодальной Европы в капиталистический мир-экономику. Второе значение термина «переход» должно относиться к последовательному *включению* внешних, некапиталистических, систем в развивающийся и по необходимости расширяющийся капиталистический мир-экономику. Третье значение термина должно относиться к распространению *пролетаризации* труда и *коммерциализации* землепользования внутри капиталистического мира-экономики на те регионы, где все еще используются иные способы оплаты труда или обеспечения контроля за землей.

Давайте начнем с рассмотрения «классического» значения, «преобразования» феодальной Европы в капиталистический мир-экономику. Был лишь один момент, когда перераспределительная мир-система⁹ была преобразована в капиталистический мир-экономику. Это произошло в Европе (включая Ибероамерику) между 1450 и 1640 гг. Несомненно, что в истории были и другие периоды, когда, казалось, начинается такое преобразование, например, в Средиземноморье между 1150 и 1300 гг. Сходные процессы случались в другие моменты и в других регионах, но все более ранние преобразования по различным причинам обрывались.

Преобразование такого рода не может быть датировано ни днем, ни месяцем, ни годом, ни даже десятилетием. Оно представляло собой, как мы говорим, процесс перехода. Когда Вебер стремился бросить вызов основным посылкам марксова материалистического объяснения истории, в качестве поля боя он избрал именно причины этого единственного в своем роде перехода. Спор хорошо известен, и я не буду его излагать. Что касается третьей школы, в то время как экономисты-неоклассики похоронили вопрос в целом, реалии эволюционирующего мира привели некоторых современных смитианцев к переосмыслению проблемы. И теперь мы наконец имеем смитианскую интерпретацию единственной в своем роде трансформации феодальной Европы в капиталистический мир-экономику, данную в книге Норта и Томаса «Возникновение западного мира»¹⁰.

Маркс объяснял преобразование, доказывая, что противоречия предшествующего (феодального) способа производства нашли свое разрешение в возникновении нового (капиталистического) способа производства. Вебер объяснял преобразование, рассматривая уникальное сочетание исторических условий, в которых капиталистические ценности стали господствующими. Но как смитианец, верящий в естественную природу капитализма, может примирить этот взгляд с признанием, что современный капиталистический мир-экономика — «новый и уникальный феномен»¹¹? Он может сделать это только в виде вариаций на темы Вебера. Хотя капитализм «естествен», человеческой природе всегда ставили преграды для реализации, пока *уникальное* сочетание обстоятельств не сделало возмож-

ным «возникновение институциональных условий и прав собственности, которые создали побуждения, направляющие экономические усилия в такие сферы деятельности, которые приблизили частный уровень прибыли к общественному»¹². Но что же это было за сочетание, сделавшее это возможным? Авторы прибегают, и упорно, к переменной, которую сами признают инородной по отношению к экономике, к населению. «В конечном счете растущее население создало основу для торговли; последовавшее расширение рыночного хозяйства заставило средневековую экономику реагировать, пусть медленно, именно тем образом, как это предсказал Адам Смит»¹³. Почему мир однажды, и лишь однажды в истории, получил выигрыш от такого эффективного рывка в росте населения, с моей точки зрения, не получило в свою очередь адекватного объяснения¹⁴.

Три взгляда на трансформацию кажутся довольно ясными и отчетливыми. Почему же существует такая путаница в вопросах перехода? Потому, что многие ученики Маркса и Вебера транспонировали теории обоих, являющиеся объяснением *единого и единственного* преобразования, в теорию стадий, где многочисленные индивидуальные «общества», под которыми в сущности понимаются нации-государства, проходят через преобразования каждый по отдельности. В то время как и Маркс, и Вебер рассматривали это преобразование феодальной Европы в капиталистический мир-экономику как уникальное событие (хотя некоторые из формулировок каждого из них могут быть названы двусмысленными в этом отношении), их взгляды стали использоваться многими для обоснования подходов с точки зрения «теории развития» (*developmentalism*), а не «миросистемы»¹⁵. Веберианские функционалисты забыли, что Вебер сравнивал не Великобританию с Китаем, а Европу с Китаем¹⁶. А марксистские сторонники теории развития забыли, что формулой Маркса было «комбинированное», равно как и «неравномерное» развитие. (Хотя «теория стадий» более конгениальна марксову и зомбартову взглядам на капитализм, рассматриваемый как историческое явление, существовал и осторожный смитианский вариант теории стадий в «монетаристских» взглядах на национальное развитие¹⁷. Норт и Томас, между тем, открыто отвергали теорию стадий.)¹⁸

Именно из-за путаницы, порожденной теорией стадий, мы вынуждены анализировать два других процесса, покрываемые, как кажется, понятием перехода. Речь идет о «вовлечении», с одной стороны, «пролетаризации труда» и «коммерциализации земли», с другой. На самом деле эти два процесса *не* являются частью преобразования феодализма в капитализм, но являются аспектами становления капиталистической мироэкономики, которая в своем историческом развитии экстенсивно вовлекает в свою орбиту все новые страны. Одновременно имеет место и интенсивный рост — прогрессирующие пролетаризация труда и коммерциализация земли.

Мы используем термин «вовлечение» лишь для того, чтобы обозначить присоединение новых географических зон к капиталистическому миру-экономике в периоды времени после «начального» расширения XVI века, которое было составной частью преобразования феодальной Европы в капиталистический мир-экономику. Мы должны помнить, что это последовательное расширение не было непрерывным, но совершалось историческими рывками. Более того, примерно к 1900 г. это расширение более или менее подошло к концу, так как можно сказать, что к этому времени капиталистический мир-экономика распространился на весь земной шар.

Новые регионы вовлекались в капиталистическую мироэкономику как территориальные общности, иногда суверенные, иногда колонизируемые. Эти вовлечения большей частью выглядели исторически очень драматично, поскольку обычно предполагали ущемление, хотя бы частичное, прежде существовавшей суверенности. На самом деле драматическим изменениям, отмеченным историками, очень часто предшествовало менее драматическое вовлечение в форме «неформальной империи». Некоторые из вновь вовлекаемых регионов прежде были экономически автономными мирами-империями, такими, как Российская, Оттоманская, Китайская. Другие были отдельными прото-мирами-экономиками, такими, как Индийский океан или Западный Судан. И, конечно, в различных частях мира, особенно в Африке и Океании, существовали еще и изолированные минисистемы. Территориальные единицы, входившие в эти вовлекаемые районы, иногда совпадали, а иногда радикально отличались от образований в прежних политических гра-

ницах. В экономических терминах такие районы обычно вовлекались как периферийные зоны мироэкономики. Но порой, из-за силы конкретной государственной структуры, они могли сразу входить в зону полупериферии (как Россия) или быстро становится частью этой зоны (случай Японии).

Вовлечение в том смысле, в котором мы используем этот термин, означало внешнюю экспансию капиталистического мира-экономики и таким образом неизбежно пришло к историческому завершению, когда были достигнуты географические пределы Земли. Пролетаризация труда и коммерциализация земли относятся, однако, к процессам, *внутренним* по отношению к капиталистическому миру-экономике и потому были не столь исторически драматичными и прерывистыми, они, кроме того, еще не исчерпали свой исторический потенциал. Именно в этой связи путаница в использовании термина «феодализм» имела наиболее вредоносное воздействие на четкость анализа, касающегося функционирования капиталистического мира-экономики, особенно марксистского анализа. Поскольку смитианцы и веберианцы имели тенденцию использовать скорее термин «традиционализм», чем «феодализм» для глобальной характеристики всех не «современных», то есть не капиталистических, сфер деятельности¹⁹. Марксистские приверженцы «теории развития», однако, часто пользуются термином феодализм (вполне очевидным, когда речь идет об особой исторической «системе» средневековой Европы), используя его там, где другие говорят о «традиционализме». Понятие феодализма применяется как ко всем некапиталистическим структурам, с которыми сталкиваются капиталистические институты при вовлечении новых районов в капиталистический мир-экономику, так и к общностям, группам или предприятиям, сопротивляющимся процессу пролетаризации труда и коммерциализации земли²⁰.

Это вводящее в заблуждение и антиисторическое овеществление марксистских категорий. Забавно, что некоторые из доморощенных марксистов похваляются им, вместо того чтобы отвергнуть. Например, Джон Тейлор, опровергая теории Поля Бэрна и Андре Гундера Франка, говорит о «глубоко антиисторической проблематике Маркса "Капитала"»²¹. Таким образом, некоторые «марксист-

ты» возвращаются к прудоновским универсалиям, которые Маркс с такой энергией отвергал в «Нищете философии»:

«Экономические категории представляют собой лишь теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства...

Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно развитию их материального производства, создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям.

Таким образом, эти идеи, эти категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собой исторические и преходящие продукты.

Непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения — "бессмертная смерть"²².

Это уяснение существенно для понимания, почему прогрессирующие пролетаризацию труда и коммерциализацию земли ни в коем случае нельзя смешивать с исторически уникальным «переходом от феодализма к капитализму». Если мы используем «формальное» определение феодализма, мы можем поверить, что некоторые регионы внутри капиталистического мира-экономики все еще демонстрируют нам феодальный «способ производства». Однако на самом деле *формальные* отношения землевладельца и производительного работника не являются определяющими. Так называемые узы взаимности, которые мы идентифицируем с феодализмом, обмена защиты на службу трудом порождают феодальный *способ производства* лишь когда они *являются определяющими для других социальных отношений*. Но когда подобные «узы» содержатся *внутри* капиталистического мира-экономики, их автономная реальность исчезает. Они становятся скорее одной из многих *форм* буржуазного найма рабочей силы, которые могут быть найдены в *капиталистическом* способе производства, форм, которые сохраняются, расширяются или сокращаются в связи с их прибыльностью на рынке.

Странно противопоставлять такой точке зрения Маркса, того самого Маркса, который в 1847 г. говорил:

«Подобно машинам, кредиту и т. д., прямое рабство является основой буржуазной промышленности. Без рабства не было бы хлопка; без хлопка немыслима современная промышленность. Рабство придало ценность колониям, колонии создали мировую торговлю, мировая торговля есть необходимое условие крупной промышленности»²³.

И еще более смешно провозглашать, что такой взгляд игнорирует отношения производства в пользу так называемых отношений обмена, также во имя Маркса, который на самом деле говорил:

«Говоря о разделении труда, он [Прудон] вовсе не чувствует потребности говорить о мировом *рынке*. Вот как! Но разве разделение труда в XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Восточной Азией поддерживалась связь лишь через посредство Константинополя, не должно было коренным образом отличаться от разделения труда в XVII веке, когда имелись уже вполне развитые колонии?»²⁴

Капиталистический способ производства вовсе не основывается на свободном труде и земле. Скорее, это способ производства, который *сочетает* труд пролетариев и вовлеченную в коммерческий оборот землю с другими формами оплаты труда и собственности на землю. Существование непролетаризованного труда и некоммерциализированной земли существенно для оптимизации возможностей получения общей прибыли капиталистического мирового рынка по нескольким причинам. Одна из них та, что такое сочетание сохраняет резерв земель для расширения производства первичных продуктов (продовольствия и сырья) при низких накладных расходах, делая возможным ответ на существенные сдвиги спроса на мировом рынке. Вторая — это сочетание сохраняет резервные источники труда даже в моменты «процветания». Когда возникает потребность в дополнительных рабочих руках, «традиционные» ограничения исчезают с замечательной быстротой. Третья — оно сокращает глобальные издержки, связанные с трудом, позволяя традиционным секторам брать на себя бремя издержек по поддержке детей и престарелых у значительных групп сельскохозяйственных или городских рабочих. Это всегда было особенно верно в отноше-

нии периферийных зон мироэкономики и, как говорит Самир Амин, «не вовсе устарело даже сегодня»²⁵ в качестве неотъемлемой части системы. Несомненно, что непрерывное долгосрочное вековое расширение мироэкономики (даже с учетом непрерывных кризисов накопления, в которых проявлялись противоречия) включало в себя все более интенсивное использование все большего количества земель. С ходом времени постепенно стало менее выгодно использовать формы вознаграждения, отличные от наемного труда. Но они все еще продолжают использоваться частично. Как сказал Маркс:

«Речь идет не о том положении, которое исторически занимают экономические отношения в различных следующих одна за другой общественных формах. Еще меньше речь идет об их последовательности "в идее" (Прудон), этом извращенном представлении исторического процесса. Речь идет об их расчленении внутри современного буржуазного общества»²⁶.

Или мы можем выразить это в несколько более метафорических терминах Фернана Броделя и рассматривать современный мир как дом из трех этажей: материальной жизни, экономики, капитализма:

«С экономической жизнью мы выйдем из рамок рутины, из рамок неосознанной повседневности. Но экономическая жизнь — это снова закономерности. Древнее и прогрессивное разделение труда вызвало необходимые разграничения и контакты, которыми питается активная и сознательная каждодневная жизнь с ее ничтожными прибылями, с ее микрокапитализмом, который, едва оторвавшись от обыкновенного труда, еще не кажется ненавистным. А еще выше, на последнем "этаже", мы поместим капитализм с его широкой ориентацией, с его механизмами функционирования, который тогда уже казался большинству смертных дьявольским. Что общего имеет такое усложнение, спросят меня, со скромной жизнью в нижней части шкалы измерения? Может быть, все, ибо оно включает эту жизнь в свое движение»²⁷.

Мы не сможем понять проблему прогрессирующих пролетариата труда и коммерциализации земли, если мы примем определение капитализма, извлеченное из учения Адама Смита. Свободного

рынка никогда не существовало и не могло существовать в рамках капиталистического мира-экономики. Гипотетический свободный рынок — интеллектуальная конструкция, выполняющая такую же интеллектуальную функцию, как понятие движения без трения, функцию стандарта, сравнением с которым измеряют степень отклонения. Капиталисты скорее стремятся максимизировать прибыль на мировом рынке, используя повсюду, где это выгодно и где они в состоянии создать их, легальные монополии и/или иные формы ограничения торговли.

Капитализм развился путем расширения в пространстве своих базовых структур и внутри них путем прогрессивной «механизации» производственной деятельности. Во все возрастающей степени производители прибавочного продукта вознаграждались в форме заработной платы (в чистом виде или в сочетании с оплатой товарами, для которых был возможен расчет рыночной стоимости). Многие доказывали, что *типичными* чертами капитализма являются тотальная доступность всего труда и всей земли в качестве товара, ориентация всей производственной деятельности на создание и присвоение прибавочной стоимости. Но ни в какой момент времени, включая и наши дни, эти *типичные* черты не были *исключительными* чертами. Несомненно, они становились во все большей мере господствующими, но на самом деле капиталистическая мироэкономика характеризуется *сочетанием* свободного и «несвободного» труда, свободной и «несвободной» земли.

По мере того как капиталистическая мироэкономика асимптотически приближается к полному торжеству рыночных принципов, обостряются социальные, экономические и прежде всего политические противоречия системы. Капитализм в связи с этим окончательно разрушает свой «защитный слой» (говоря словами Шумпетера), с полной ясностью показывает природу своей эксплуататорской системы, и делая это, обеспечивает социальную базу для завершения процесса, для преодоления капитализма как системы. Это не автоматический процесс. Он осуществляется организованной оппозицией угнетенных слоев. Ключевой пункт, однако, состоит в том, что сами процессы развития капитализма подрывают политическую силу системы.

Я хотел бы закончить на этой ноте цитатой из Шумпетера, которого я оцениваю как самого изощренного из защитников капитализма, наиболее ожесточенно схватившегося в борьбе с ключевыми аргументами Маркса:

«Мы заново открыли то, что с иных позиций и, как мне кажется, недостаточно обоснованно нередко утверждалось и раньше: что капиталистической системе органически присуща тенденция к саморазрушению, которая на ранних стадиях вполне может проявляться в виде тенденции к торможению прогресса.

Я не стану задерживаться на повторении того, каким образом объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, усиливая друг друга во внушительном аккорде, вносят свой вклад в достижение этого результата, и на доказательстве того, что уже и так ясно, а в последующих главах станет еще яснее, а именно, что все эти факторы ведут не только к разрушению капитализма, но и к возникновению социалистической цивилизации. Все они указывают в этом направлении. Капиталистический процесс не только разрушает свою собственную институциональную структуру, но и создает условия для возникновения иной структуры. Наверное, все-таки разрушение — не совсем удачное слово. Возможно, мне следовало бы говорить о трансформации. Ведь этот процесс ведет не просто к образованию пустоты, которую можно заполнить всем, что ни подвернется; вещи и души трансформируются таким образом, что становятся все более податливыми к социалистической форме жизни. С потерей каждого колышка, на который опиралась капиталистическая система, усиливается возможность осуществления социалистического проекта. В обоих этих отношениях *видение* Маркса оказалось верным. Мы также можем согласиться с ним и в том, что основной движущей силой той конкретной социальной трансформации, которая происходит у нас на глазах, является экономический процесс. Та часть марксистской аргументации, которую наш анализ, если он верен, опровергает, имеет для нас в конце концов лишь второстепенную важность, как бы ни была велика та роль, которую она играет в социалистическом учении. В конце концов разница между тем утверждением, что загнива-

ние капитализма есть результат его успеха, и тем, что это загнивание есть результат его несостоятельности, не так уж велика»²⁸.

Я, как и Шумпетер, верю, что мы живем на ранних стадиях перехода от капитализма к социализму, который происходит «у нас на глазах». Одна из причин, почему нам интересно анализировать «переход от феодализма к капитализму», — это помогает нам понять, как реализуются такие сравнительно редкие преобразования. Имея это в виду, важно подчеркнуть, что подобные переходы переживают не «общества в национальных границах» и тому подобные конструкции. Их переживают миросистемы. Разумеется, повторю еще раз, преобразование такого размаха не может совершиться за день, месяц или год. Это процесс перехода. Это означает, что преобразование состоит из множества частичных изменений, больших или меньших, которые включают, конечно, приход к власти в существующих государственных структурах социалистических режимов, которые применяют, насколько в силах это сделать, внутри все еще существующего капиталистического мира-экономики социалистические формы и социалистические ценности. Эти усилия — часть процесса перехода. Они не обязательно воплощают окончательный продукт качественных изменений. «Видение Маркса оказалось верным», — сказал Шумпетер. Но сам Маркс предупреждал нас не воспринимать его взгляды как детальное пророчество. Будущее будет разворачиваться постольку, поскольку мы будем его разворачивать, в рамках тех ограничений, которые задает нам реальный мир.

¹ Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. Т. I, кн. I—III. М.: Наука, 1992, с. 128.

² Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. Т. II. М.; Л.: Соцэргиз, 1931, с. 279-280.

³ Зомбарт В. *Буржуа*. М.: Наука, 1994, с. 12.

⁴ Там же, с. 274.

⁵ Там же, с. 151.

⁶ Там же, с. 104.

⁷ «Говоря, что существующие отношения — отношения буржуазного производства — являются естественными, экономисты хотят этим сказать,

что это именно те отношения, при которых производства богатства и развитие производительных сил совершается сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени естественными законами. Это — вечные законы, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет. До сих пор была история, потому что были феодальные институты и потому что в этих феодальных институтах мы находим производственные отношения, совершенно отличные от производственных отношений буржуазного общества, выдаваемых экономистами за естественные и потому вечные». См.: Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 4, с. 142-143. [И. Валлерстайн ошибочно дает ссылку на работу «К критике политической экономии» (*прим. перев.*)]

⁸ Маркс К. К критике политической экономии // *Там же*, т. 13, с. 7.

⁹ Перераспределительная миросистема основана на таком способе производства, где прибавочный продукт взыскивается с сельскохозяйственных производителей, обычно в форме дани, чтобы поддерживать имперскую (или государственную) бюрократию при данном уровне потребления. Самир Амин использует название «даннический способ производства» фактически для того, что я называю «перераспределительная миросистема». Он говорит, что «так называемые "азиатский", "африканский" и феодальный способы производства [являются вариантами даннического способа производства], которые, по моему убеждению, составляют одно семейство, включающее центральный, совершенный вариант (Китай и Египет) и периферийные варианты, особенно западноевропейский феодальный тип и японский феодальный тип». См.: S. Amin. *Le capitalisme et la rent fonciere*. In: Samir Amin and Kosta Vergopoulos. *La question paysanne et le capitalisme* (Paris: Antbropos-IDEP, 1974), p. 13-14.

¹⁰ D. North and R. P. Thomas. *The Rise of the Western World* (Cambridge: University Press, 1973).

¹¹ «...причинный эмпиризм исходит из предположения, что большинство людей предпочитают большее количество благ меньшему и действуют соответственно. Экономический рост требует лишь, чтобы какая-то часть населения была склонна к стяжанию... если в обществе нет роста, значит, что не обеспечиваются побуждения к экономической инициативе» (North and Thomas. *Op. cit.*, p. 1-2). Обратим внимание на использование пассивного залога: «не обеспечиваются». Невидимая рука, любимая Адамом Смитом, за работой. Первая фраза книги

гласит: «Богатство западного человека — новый и уникальный феномен».

¹² *Ibid.*, p. 1.

¹³ *Ibid.*, p. 26

¹⁴ См. обсуждение этой проблемы у: T. S. Brenner. *Agriculture and the Economic Development of Low Income Countries* (The Hague, Mouton, 1971), p. 29-43. Анализ не носит окончательного характера, но содержит постановки вопросов, заслуживающие развития. Отсылка к росту населения как перводвигателю можно найти также у Эмиля Дюркгейма: *О разделении общественного труда*. М.: КАНОН, 1996, кн. II, гл. 2. Ключ к переходу от «механической солидарности» к «органической солидарности» лежал в «плотности населения», которая вела к «моральной плотности», которая в свою очередь вела к созданию «недоговорной основы договорных отношений».

¹⁵ Я рассмотрел сходства обеих версий «теории развития», равно как и их отличия от «теории миросистемы» в работе: *The Present State of the Debate of World Inequality* (гл. 3). In: *The Capitalist World-Economy* (Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1979). Хорошим примером того, что я подразумеваю под марксистской «теорией развития», является статья: Bill Warren. *Imperialism and Capitalist Industrialisation*. In: *New Left Review*, 81 (September-October 1973.), p. 3-44.

¹⁶ Один из наиболее проницательных веберовских аналитиков, Гюнтер Рот, специально жалуется на это: «Исследования Вебером мировых религий стремились объяснить возникновение западного рационализма. Но то, что для него было частным историческим вопросом, стало с тех пор общим вопросом развития и "модернизации". Центр анализа сместился с уникального хода событий на условия, при которых культурное заимствование вкупе с мобилизацией местных усилий может привести к сходным результатам. Такое смещение часто приводило к переосмыслению — иногда утонченному, порой поверхностному — результатов Вебера». См.: Guenter Roth. *Sociological Typology and Historical Explanation*. In: Reinhard Bendix and Guenter Roth. *Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber* (Berkeley: University of California Press, 1971), p. 111.

См. напр. формулировку П. Т. Бауэра: «Ни формальные модели роста, ни теории стадий роста не помогают *объяснить* или предсказать долгосрочное развитие целых обществ. Но это не препятствует делать ча-

стные обобщения о некоторых важнейших аспектах материального прогресса. Действительно, некоторые специальные обобщения на эти темы являются традиционными в литературе в большей мере, чем оформление целостных систем, хотя их и невозможно выразить в терминах конвенционального и формального анализа. Примерами могут служить отношение между развитием рыночной специализации и производительностью и важность для развития привычки "к порядку, бережливости и вниманию, которую воспитывает в купце занятие торговлей". (Внутренняя цитата из: Адам Смит. Богатство наций, кн. III, гл. 4). См.: P. T. Bauer. *Dissent on Development* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1971), p. 296-2977).

В рецензии, написанной Бауэром и Чарльзом Уильсоном на «Стадии экономического роста» Уолта У. Ростоу в «Economica» (май 1962), они говорили: «Рынок, специализация и производительность, а также важность для развития могут, тем не менее, быть освещены в модели, обладающей объяснительной или предсказательной силой, если она успешно сосредоточивает внимание на вскрывающих различиях и особенно на реальных поворотных пунктах в ходе истории». Перепечатано в: P. T. Bauer. *Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Countries* (Durham: Duke University Press, 1957), p. 489.

Как сам Бауэр проводит сравнение развития в Британии и Западной Европе с третьим миром, см.: *Ibid.*, p. 44-84.

¹⁸ «То, что Средние века были неизменным экономическим плато, было преобладающим мнением историков. Вместе со своим теоретическим фундаментом — теорией стадий в истории — этот взгляд был отправлен на интеллектуальную свалку».

¹⁹ См. сокрушительную критику вводящих в заблуждение качеств концепции «традиционализма» в: Abdallah Laroui. *La crise des intellectuels arabes* (Paris: Maspéro, 1974), p. 45-54.

²⁰ Это явление было грамотно вскрыто в: Perry Anderson. *Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974), p. 397-412.

²¹ J. Taylor. Neo-Marxism and Underdevelopment — A Sociological Phantasy, *Journal of Contemporary Asia*, 4: 1 1974, p. 18.

²² Маркс К. *Философия нищеты*, с. 133.

²³ Там же, с. 135.

²⁴ К. Маркс —; П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 27, с. 404.

²⁵ S. Amir. *Op. cit.*, p. 52.

26 Маркс К. Введение. (Из экономических рукописей 1857-1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 12, с. 734.

27 Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Т. I: Структуры повседневности: Возможное и невозможное*. М.: Прогресс, 1986, с. 597.

²⁸ Шумпетер И. *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика, 1995, с. 222.

КЛАССООБРАЗОВАНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКЕ

Понятие общественного класса было изобретено в рамках капиталистической мироэкономики, и, вероятно, его использование наиболее полезно, если мы применяем его как исторически специфическое именно для этого типа миросистемы. При удалении от диалектической динамики и движении в сторону превращения в формальную модель классовый анализ теряет способность объяснять действительность.

Итак, мы хотим заняться анализом классов как эволюционирующих и изменяющихся структур, укрытых постоянно изменяющимися идеологическими покровами, чтобы увидеть, кому именно в условиях конкретного времени выгодно определять классовую принадлежность в тех или иных концептуальных терминах. Что мы особенно постараемся показать — так это факт, что альтернативные *восприятия* социальной реальности вполне конкретно влияют на возможность убедить классы следовать своим интересам. В особенности нас интересуют два спорных аспекта основополагающей парадигмы анализа: является ли класс понятием, связанным с представлением об обществе как поляризованной структуре, или мультимодальным понятием? Является ли принадлежность к классовым группировкам более значимой, чем принадлежность к «статусным группам» или этно-нациям, или нет? Мы докажем, что споры об этой парадигме в конечном счете оказываются решающими спорами и играют центральную роль в классовой организации.

Тем не менее, прежде чем мы сможем приступить к анализу природы и функционирования социальных классов и процесса классообразования, мы должны уточнить способ функционирования той миросистемы, в которую они включены. Существуют три основных элемента капиталистической мироэкономики. Во-первых, она состоит (метафорически выражаясь) из единого рынка,

на котором происходит расчет максимальной прибыльности и который таким образом определяет в долгосрочном плане объем производственной деятельности, степень специализации, способы оплаты труда, товаров и услуг, использование технологических изобретений.

Второй базовый элемент — существование системы государственных структур разного уровня силы (как внутри своих границ, так и по отношению к другим элементам мировой системы). Государственные структуры служат прежде всего для того, чтобы извратить «свободное» функционирование капиталистического рынка и таким образом повысить возможности одной или нескольких групп получить на нем преимущества. В краткосрочном плане государство действует на рынке, используя свои законные prerogatives, чтобы задать определенные рамки экономической деятельности внутри или вне своих границ. Но оно действует на рынке и долгосрочными средствами, стремясь создать институциональные склонности (от доверия к установленной валюте и способам торговли до вкусовых предпочтений и ограничения доступа к знаниям об альтернативных способах экономического поведения), так, чтобы некоторые люди или группы «стихийно» ошибались бы в оценке способов экономической деятельности, которые на самом деле оптимизировали бы их приобретения; такая неправильная оценка помогает какой-то другой группе или группам, для которых определенное государство хотело бы создать благоприятные условия.

Третий существенный элемент капиталистической мироэкономики — присвоение прибавочного продукта происходит таким образом, что в процессе эксплуатации присутствуют не два, а три уровня. Иначе говоря, здесь есть промежуточный уровень, имеющий свою долю в эксплуатации нижестоящих, но разделяющий их судьбу, будучи эксплуатируемым вышестоящими. Такая трехуровневая структура имеет существенный стабилизирующий эффект, в то время как двухуровневая структура является по существу дезинтегрирующей. Мы не говорим, что три уровня существуют в любой момент. Мы говорим, что те, кто стоит наверху, всегда стремятся обеспечить существование трех уровней, дабы лучшим образом предохранить свои

привилегии, в то время как те, кто внизу, напротив, стремятся сократить схему до двух уровней, чтобы успешнее разрушить эти самые привилегии. Эта борьба вокруг существования среднего уровня продолжается непрерывно, как в политической области, так и в области идеологических конструктов (приверженцы плюрализма против сторонников манихейского подхода). Это стержневой вопрос, стоящий в центре классовой борьбы¹.

Эти три уровня можно вновь и вновь находить во всех институтах капиталистической мировой экономики: в трех возможных ролях регионов в мировой экономике — как центра, полупериферии и периферии²; в основной организационной структуре производственного процесса (существование фигуры мастера); в трехслойной модели распределения доходов и статуса в капиталистических странах центра; в трехзвенной модели политических группировок (левые, центр, правые) как на всемирном, так и на национальном уровне.

Позвольте мне еще раз подчеркнуть мою позицию: я не доказываю, что три уровня *реально* существуют, равно как я не доказываю, что два полюса *реально* существуют. Я безразличен к таким платоновским сущностям. Я скорее выдвигаю предположение, что классовая борьба политически вращается вокруг *стремления* господствующих классов создать и поддержать существование третьего уровня против *стремления* угнетенных классов поляризовать как действительность, так и восприятие действительности.

Иначе говоря, классы не являются какой-то неизменной реальностью. Они скорее формируются, консолидируются, дезинтегрируются или распадаются; и они переформируются. Это процесс постоянного движения, и величайшим препятствием для понимания их деятельности является овеществление³. Более точно говоря, они (классы) являются моделями, которые мы можем описать и которые помогают нам идентифицировать конкретные реалии и объяснять исторические события. Но и модели сами по себе эволюционируют со временем, даже в рамках исторически определенного феномена современного капиталистического мира-экономики.

Разделение населения по уровню относительных привилегий часто принимает форму этно-национальных группировок. Макс Вебер бросил вызов марксистскому восприятию действительности,

предположив, что то, что он назвал «статусными группами» (*Stände**), является феноменом, параллельным социальным классам, и что две реальности исключают друг друга. Я не принимаю эту позицию. Я верю, что «класс» и то, что я предпочитаю называть «этно-нацией», являются двумя системами выражения для одной и той же реальности⁴. Тем не менее действительно важно отдавать себе отчет, что на самом деле существуют *две* системы выражения, чтобы мы могли оценить, как, когда и почему используется одна, а не другая система. Этно-нации, как и социальные классы, формируются, консолидируются, дезинтегрируются или распадаются и постоянно переформируются.

Таким образом, частью любого конкретного анализа становится идентификация стадии, на которой основываются специфические классы или этно-нации: является ли данная страта становящимся, ставшим или приходящим в упадок социальным классом. Я хотел бы далее доказать, что классическая марксистская терминология, относящаяся к социальным классам, имеет дело с этими тремя стадиями эволюции классов. Становящиеся классы являются классами *an sich*. Ставшие классы являются классами/ш- *sich*** . А ложное сознание — форма защиты интересов социальных классов, приходящих в упадок⁵.

Если мы доказываем, что классы и этно-нации отражают одну и ту же социальную реальность, мы должны дать некое рациональное обоснование для существования обеих форм. Мы попытаемся сделать это, предполагая, какими могут быть намерения (или выигрыши) социальной группы при принятии той или иной идентификации.

Начнем с социальных классов. В образовании классов существует краткосрочная логика. Именно постепенное осознание общих интересов (то есть одинакового отношения к собственности и управлению средствами производства и сходных источников дохода) и построение некоторой организационной структуры (структур) для отстаивания этих интересов являются необходимым аспектом

Stände по-немецки означает также «сословия».

An sich — в себе, взятый сам по себе, *für sich* — для себя (нем.).

социального торга* (эта та форма, которую принимает любая борьба с краткосрочными целями). Традиционное различие между объективным положением класса и субъективной принадлежностью к классу (общее для большинства как марксистов, так и функционалистов) кажется мне полностью искусственным. Объективное положение класса является реальностью лишь постольку, поскольку оно становится субъективной реальностью для группы или групп, а если оно существует «объективно», оно неизбежно будет ощущаться и «субъективно». Вопрос не в этом, а в степени, в которой «объективная» реальность принимает «субъективную» форму скорее классового, нежели этно-национального сознания.

Казалось бы логичным заключить, что организация с краткосрочными целями используется, когда общая политическая расстановка сил такова, что организующиеся могут обоснованно ожидать значительных краткосрочных преимуществ в процессе социального торга. Нет необходимости говорить, что сам успех процесса подрывает его поляризующее влияние на политическую систему. Это явление, которое Ленин называл «экономизмом», а «новые левые» недавно определили как «кооптацию».

Но классовое сознание имеет также и долгосрочное значение. Его развитие — наиболее ясный путь к овладению властью внутри данной государственной структуры группой, численно большей, чем политически господствующая в этой государственной структуре. Выражают ли это стремление овладеть властью теория парламентского пути или методы вооруженного восстания, в основе лежит вера в «демократию». Именно это, как мне кажется, мы имеем в виду, называя Французскую революцию «буржуазно-демократической». В XVIII столетии буржуазия не играла первенствующей роли в управлении французским государством, а в XIX столетии — играла. Этот главный сдвиг случился как результат развития «буржуазного классового сознания».

* В оригинале употреблено слово *bargaining*, которое обычно относится либо к коммерческим сделкам, либо к коллективным переговорам и заключению коллективных договоров. И. Валлерстайн использует именно последнее значение, но расширяет его.

Самоотрицающие аспекты таких «классовых» представлений о власти являются основополагающей темой находящихся на обочине современной истории несчастных критиков, особенно в последние полвека. Посмотрим, например, трилогию Клоделя о наполеоновской эпохе («Заложник», «Черствый хлеб», «Униженный отец»), или роман ди Лампедузы о социальных последствиях Рисорджименто («Леопард»), или анализ Джиласом югославской революции в «Новом классе».

Хотя я и не разделяю упрощенный пессимизм, пронизывающий эти произведения, они указывают (без правильного понимания) на вполне реальное явление. Все время, которое мы имеем капиталистический мир-экономику, государственная машина неизбежно является «пребендальной»* в том смысле, что контроль над государственной машиной ведет к дифференцированному доступу к ресурсам в системе, где производство осуществляется в большей мере для прибыли, чем для общественной пользы. Поэтому такая власть является, если хотите, «коррумпирующей», «разлагающей» даже тех, кто стремится к ней, имея главной целью преобразование социальной структуры. Все мы были настолько ослеплены феноменом бюрократизации в современном мире, что упустили из виду более важный факт, что бюрократизация могла бы *никогда* не возникнуть на уровне политического принятия решений в государственной структуре в рамках капиталистического мира-экономики.

И тем не менее как Вебер, так и Маркс указывали на этот факт. Вебер, труды которого являются источником современных теорий бюрократизации, тем не менее говорил:

«Строго говоря, чистый тип бюрократии, иерархия *назначенных* чиновников, нуждается во властной инстанции, которая не была назначена таким же образом, как другие чиновники»⁶.

От понятия католического канонического права *praebenda* — доходы и имущество, связанные с занятием определенной должности и выполнением связанных с ней обязанностей.

А Маркс предложил в качестве одной из перспектив социализма конец именно этой аномалии. Что еще имел в виду Энгельс, говоря об «увядании государства», если не окончание именно такого рода частного использования коллективного аппарата? Карл Маркс, отрицавший «идиотизм деревенской жизни», совершенно точно не видел будущее как буколическую, неструктурированную Утопию. Энгельс, пожалуй, точно ухватил смысл сказанного им, когда писал:

«Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не "отменяется", оно *отмирает*»⁷.

Как это отсутствие пребендальных возможностей будет действовать в социалистическом мире, не является здесь предметом рассмотрения. Что должно быть предметом — так это определение ограниченности захвата власти (ограниченности, а не неуместности) как средства достижения классовых целей в капиталистическом мире-экономике.

Таким образом, классы формируются — для ведения социального торга в краткосрочном плане и для захвата власти в долгосрочной перспективе — и затем дезинтегрируются в силу своего успеха. Но затем они преобразуются. Именно это имел в виду Мао Цзэдун, когда говорил о Китайской Народной Республике: «Классовая борьба никоим образом не закончена»⁸.

Непрерывное возобновление классовой борьбы после каждого разрешения политических противоречий является, однако, с моей точки зрения, не циклическим, а диалектическим процессом. Потому что «становление» класса, сколь бы преходящим явлением он ни был, меняет — в большей или меньшей степени — миросистему и таким образом вносит прямой вклад в ее историческую эволюцию.

Давайте теперь обратимся к альтернативной организационной форме, а именно к этно-нациям. Здесь мы тоже можем различить краткосрочные и долгосрочные способы ее использования. В краткосрочном плане формирование «этно-нации» служит, чтобы изменить распределение благ в соответствии с неким произвольно опре-

деленным «статусом» — родством, языком, расой, религией, гражданством. Этно-нации защищают или стремятся приобрести привилегию через полные или частичные монополии, выделяя группу и создавая организационную цельность посредством манипулирования культурными символами⁹.

Этно-национальное сознание является постоянным прибежищем для всех тех, кому классовая организация угрожает утратой относительных преимуществ при нормальной деятельности на рынке и в политическом торге, где доминируют классы. Очевидно, что часто это именно так для высших слоев, которые тем самым оправдывают те или иные версии расистской идеологии. Более того, коль скоро господствующие группы могут вдохновить принятие этно-национализма как основы политических действий, они тем самым достигали той самой трехуровневой структуры эксплуатации, которая помогала сохранять стабильность системы¹⁰.

Но этно-нации, вынужденные полагаться на открыто декретированные монополии, стоят на зыбкой почве. Они слишком заметны в своем открытом вызове универсалистской идеологии приоритетности капиталистического рынка, находящей свое выражение в политической идеологии «либерализма». Как нам всем хорошо известно, сохранение законодательной дискриминации в течение длительного времени возможно. Тем не менее, более устойчивой формой сохранения привилегий является создание существующих *de facto**, но неформальных привилегий в доступе к негосударственным институциям (образование, занятость, жилье, здравоохранение), в оптимальной форме — через процесс полностью «индивидуального» присвоения преимуществ. Отказываясь от «дискриминации» в конкретных ситуациях «тестирования» того или иного индивида, институция абстрагируется от полноты социальных факторов, требующих учета при оценке различий в достижениях, и тем самым скорее увеличивает, чем сокращает, существующее неравенство¹¹.

Этот изощренный механизм защиты интересов высшего класса в последние годы стал еще важнее, именно из-за возросших трудностей в использовании более грубых механизмов, что стало результа-

Фактически {лат.}.

том все более эффективной организации угнетенных классов. Именно так следует оценивать вновь обозначившийся феномен «институционального расизма», свидетелем которого стал мир в XX в. в результате растущего выражения классового сознания в этно-национальной форме.

Не случайно, что великие социальные революции XX в. (русская, китайская, вьетнамская, кубинская) были в одно и то же время «социальными» и «национальными». Чтобы быть «социальными», они должны были быть и «национальными», в то время как те «революции», которые провозглашались «национальными», не будучи «социальными» (например, революция Гоминьдана), не могли на самом деле защитить национальные интересы. Точно так же не случайно, что угнетенные низшие слои в странах капиталистического центра (негры в США, квебекцы в Канаде, провансальцы во Франции и т. д.) должны были прийти к выражению своего классового сознания в этно-национальных терминах. Строго говоря, это порождает путаницу. Но в выгодах, извлекаемых прихлебателями высшего класса в угнетенных нациях, *меньше* путаницы, чем в Неудаче рабочего движения стран капиталистического центра представить интересы слабейших слоев пролетариата (обладающих статусом этнических «меньшинств») и таким образом предотвратить растущий разрыв — как объективный, так и субъективный — между интересами рабочих с более высоким и с более низким этническим статусом.

И тем не менее путаница, пусть не столь серьезная, существует. И развитие этно-национальных меньшинств чаще всего приводит к сдвигам в положении привилегированных слоев и к переструктурированию разделительных линий между этно-нациями.

Не оказались ли мы таким образом там же, откуда начинали? Вовсе нет. Мы должны сосредоточиться на центральном вопросе. Капиталистический мир-экономика как целостность — его структура, его историческая эволюция, его противоречия — является ареной социального действия. Фундаментальная политическая реальность этого мира-экономики — классовая борьба, которая, однако, принимает постоянно изменяющиеся формы: открытое классовое сознание в сравнении с этно-национальным сознанием, классы внут-

рй наций в сравнении с межнациональными классами. Если мы думаем об этих формах как о калейдоскопических отражениях базовой реальности, имеющей структуру, которую наблюдатель редко может обнаружить невооруженным глазом (как физик не может без приборов увидеть мир атомов), но такую, которая может быть воспринята как эволюционирующая модель, мы затем сможем ближе подойти к пониманию социальной реальности капиталистической миросистемы, частью которой мы являемся, чтобы лучше и быстрее преобразовать ее.

¹ Сам Маркс подчеркивал политическую важность третьего уровня, среднего слоя: «Что он [Рикардо] забывает отметить, так это — постоянное увеличение средних классов, стоящих посередине между рабочими, с одной стороны, капиталистами и земельными собственниками, с другой, — средних классов, которые... ложатся тяжким бременем на рабочих... и увеличивают социальную устойчивость и силу верхних десяти тысяч». См.: Теория прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 26, ч. II, с. 636.

² О том, как отличить полупериферию от центра и от периферии, см. мою статью: *Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of transformation within the Capitalist World-Economy*, *African Studies Review*, 17 (апрель 1974), р. 1-26, а также очерк «Три случая гегемонии в истории капиталистического мира-экономики» в настоящей книге.

³ Люсьен Гольдман (Lucien Goldman) определяет овеществление как «подмену качественного количественным, конкретного абстрактным», этот процесс, доказывает он, «тесно связан с производством на рынок, конкретно, с капиталистическим производством». См.: *La Reification*. In: *Recherches dialectiques* (Paris, Ed. Gallimard, 1959), р. 92.

Я выразил детально свои взгляды на спор Маркс-Вебер и на те способы объяснения, в которых, как я полагаю, Вебер ошибался, парадоксальным образом превращаясь в «вульгарного марксиста», в работе: *Social Conflict in Post-Independence Black Africa: The Concept of Race and Status Group Reconsidered*. In: Ernest Q. Campbell, ed. *Racial Tensions and National Identity* (Nashville: Vanderbilt University Press, 1972), р. 207-227; а также в гл. 10 книги: *Historical Capitalism* (London: Verso, 1984)

Термин «ложное сознание» относится главным образом к неспособности членов группы воспринять (и *a fortiori* [тем более *там.*]) принять), что они являются членами данного социального класса. Наиболее очевид-

ное объяснение такого поведения — группа видит некоторые преимущества в таком «неверном восприятии». Если группа рядовых служащих отказывается признать растущую «пролетаризацию» рабочей силы в больших бюрократических структурах или же младшие представители знатных родов отказываются признавать, что действуют как сельскохозяйственные капиталисты, точно так же как нетитулованные «джентри», но настаивают, что являются особым «слоем» по сравнению с другими, выполняющими похожие в основе экономические функции, они демонстрируют «ложное сознание». Выгода, которую они надеются извлечь из этого, состоит в удержании привилегий, ассоциируемых с прежним статусом, который они боятся потерять, признав, что класс, к которому они (или их предки) некогда принадлежали, пришел в «упадок» в связи с эволюцией структуры капиталистического мира-экономики.

⁶ Max Weber. *Economy and Society* (3 vols., N. Y.: Bedminster Press, 1968), vol. 3, p. 1123.

⁷ Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 19, с. 225. В некоторых переводах выделенные курсивом слова *оно отмирает* передавались как *оно увядает*. Вебер, в отличие от Маркса и Энгельса, не предвидел в будущем «увядания» государства. Совсем напротив. Он видел в политиках гарантов «ответственности», а опасным считал такого политика, который действует, как если бы был бюрократом и таким образом становится *Kleber*, человеком, приклеенным к своему посту. См.: Weber. *Economy and Society*, vol. 3, p. 1403-1405.

⁸ См. мою работу: *Class Struggle in China? Monthly Review*, 25; 4 (September 1974), p. 55-59.

⁹ В неопубликованном докладе Майкл Хегтер доказывает, что Индустриализация не только не уменьшает значения этих факторов, но и ведет к «усилению разнообразия в культурном разделении труда». Он приходит к выводу, что «до тех пор, пока сохраняются существенные экономические различия между регионами и на международном уровне, есть основания ожидать, что будет по-прежнему существовать и культурное разделение труда». См.: *Ethnicity and Industrialisation: On the Proliferation of the Cultural Division of Labor* (ротапринт), p. 10.

¹⁰ Хотя многие аналитики очень часто с готовностью признают очевидной функцию этих групп внутри национального государства, реже замечается, что создание и усиление государственных структур как таковых играет ту же стабилизирующую функцию для мировой системы. Фран-

сиско Веффорт — один из авторов, видящих этот факт совершенно отчетливо. Критикуя авторов, увидевших «противоречие» между классовой борьбой на рынке и перспективой трансклассовой борьбы на основе признания угнетенного положения нации, Веффорт говорит:

«Существовало ли, например, *реальное* противоречие между государством и рынком при почти полной интеграции Аргентины в мировой рынок XIX века? Не было ли само аргентинское государство, использующее свои атрибуты суверенитета, одним из факторов этой включенности?»

Чтобы чуть-чуть лучше понять этот пример — очевидно, что государство контролировалось олигархией, но кто придал Аргентине той эпохи национальное самосознание, как не та же олигархия? С моей точки зрения, существование национального государства (можно также назвать это автономией и политическим суверенитетом) не дает нам достаточных оснований полагать, что в стране, интегрированной в международную экономическую систему, возникло противоречие между нацией и рынком. Напротив, при определенных внутренних социальных и политических условиях (которые могут быть определены только средствами классового анализа) группы, осуществлявшие господство и власть, или те, кто давал содержание идее нации, могли использовать политическую автономию для развития экономической интеграции». См.: *Notas sobre la «teoria de dependencia»: Teoria de clase o ideologia nacional? Revista Latinoamericana de Ciencia Politica*, 1; 3 (декабрь 1970), p. 394.

См. также полезное понятие «нация-класс», предложенное Амилькаром Кабралом:

«Нам известно, что в ходе истории нашего народа возник феномен классов разного характера и стадий развития... [Но] когда началась борьба против колониального господства, она не была делом какого-то одного класса, хотя идея могла возникнуть в классе, который быстрее и раньше смог осознать факт колониального господства и необходимости бороться с ним. Но само восстание стало продуктом деятельности не класса как такового. Скорее, все общество участвует в нем. Эта нация-класс, которая может быть более или менее четко структурирована, является объектом господства не со стороны людей из колонизованной страны, но скорее со стороны господствующего класса колонизирующей страны. Таков наш взгляд, и поэтому наша борьба основана в сущности не на классовой борьбе, а на борьбе, ведущейся нашей нацией-классом против португальского правящего класса». Интервью, опубликованное в *«Anticolonialismo»*, 2 (февраль

1972). [См. также: Кабрал А. *Революция в Гвинее*. М.: Наука, 1973, с. 42-43. (Прим. перев.)]

¹¹ Именно на эту опасность указывал Маркс в «Критике Готской программы». Один из пунктов программы призывал к «справедливому распределению трудового дохода». Маркс комментирует:

«Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое *развилося* на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что *выходит* как раз из капиталистического общества...

Это *равное* право есть *неравное* право для *неравного* труда. Оно не признает никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие; но оно молчаливо признает *неравную* индивидуальную одаренность, а следовательно, и *неравную* работоспособность естественными привилегиями. *Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право...* Чтобы избежать всего этого, право, вместо того чтобы быть равным, должно бы быть *неравным...*». См.: Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 19, с. 18-19.

ТРИ СЛУЧАЯ ГЕГЕМОНИИ В ИСТОРИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКИ

Когда имеешь дело со сложной постоянно развивающейся крупномасштабной исторической системой, понятия, используемые для краткого, стенографического описания структурных моделей, полезны только в той степени, в какой можно ясно планировать цели их построения, обозначить пределы их применения и точно определить теоретические рамки, в которых они формулируются и выдвигаются.

Позвольте мне, таким образом, сформулировать некоторые послышки, которые я не буду здесь обосновывать. Если вы не готовы признать эти послышки достоверными, то вы и не сочтете очень полезным мой способ использовать понятие «гегемония». Я полагаю, что существует конкретная единая историческая система, которую называю «капиталистическим миром-экономикой», чьи временные границы — с «долгого XVI века» до настоящего времени. Его пространственные границы первоначально включали Европу (или большую ее часть) и Ибероамерику, но впоследствии они расширились, чтобы наконец охватить весь земной шар. Я полагаю, что эта целостность является *системой*, то есть что она относительно автономна от внешних сил; или, иначе выражаясь, способы ее функционирования объяснимы в основном с точки зрения внутренней динамики. Я полагаю, что это *историческая* система, это означает, что она зародилась, развилась и однажды прекратит свое существование (посредством дезинтеграции или фундаментальной трансформации). Наконец, я полагаю, что именно динамика самой этой системы объясняет ее исторически изменяющиеся характеристики. Следовательно, поскольку это система, она обладает структурами, и эти структуры проявляются в циклических ритмах, то есть механизмах, которые отражают и обеспечивают повторяемость образцов. Но поскольку эта система исторична, ни одно Из ритмических колебательных движений никогда не возвращает ее к точке равновесия, а вместо этого двигает систему в различных континуумах, которые можно назвать долгосрочными тенденциями этой

системы. Эти тенденции в конечном счете должны достичь кульминации, когда станет невозможно восстановление структурных повреждений методами ремонта. Тем самым система идет к тому, что некоторые называют «точками бифуркации», а другие — «переходом количества в качество».

Эти методологические или метафизические посылки я должен дополнить несколькими содержательными посылками о том, как действует капиталистический мир-экономика. Его способ производства является капиталистическим; иными словами, он основывается на бесконечном накоплении капитала. Его структура образована осевым социальным разделением труда, выражающим напряжение по линии центр-периферия, основанное на неравном обмене. Политическая надстройка этой системы — сеть так называемых суверенных государств, определяемых и ограничиваемых их членством в межгосударственной системе. Основные принципы деятельности этой межгосударственной системы включают так называемый баланс силы, механизм, предназначенный гарантировать, что ни одно из государств никогда не будет способно преобразовать эту межгосударственную систему в единый мир-империю, чьи границы совпадут с границами осевого разделения труда. Разумеется, в ходе истории капиталистической мироэкономики были повторяющиеся попытки трансформировать ее в направлении мира-империи, но все эти попытки потерпели неудачу. Вместе с тем были и совершенно иные, хотя также повторяющиеся, попытки определенных государств достичь гегемонии в межгосударственной системе. И эти попытки на самом деле удались в трех случаях, хотя и на относительно короткий исторический период.

У гегемонии совершенно иная основа, чем у мира-империи, на самом деле во многих отношениях они прямо противоположны. Таким образом, я (1) объясню, что я понимаю под гегемонией; (2) опишу аналогии в трех рассматриваемых случаях; (3) постараюсь выявить корни стремления к гегемонии и выскажу предположение, почему оно удавалось трижды, но результат никогда не длился слишком долго; и (4) извлеку выводы относительно того, что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Цель всех этих действий не в том, чтобы воздвигнуть некую категорию, прокрустово ложе, в которое

будет загоняться сложная историческая реальность, но в том, чтобы осветить то, что я считаю одним из центральных процессов развития современной миросистемы.

I

Понятие гегемонии в межгосударственной системе относится к такой ситуации, в которой продолжающееся соперничество между так называемыми «великими державами» настолько не сбалансировано, что одна держава оказывается поистине *primus inter pares*^{*}, то есть одна держава может в значительной степени навязывать свои правила и свои желания (по крайней мере эффективным использованием права вето) в экономической, политической, военной, дипломатической и даже культурной сферах. Материальная основа такой мощи коренится в возможностях предприятий, расположенных на территории державы, более эффективно действовать на всех трех основных экономических поприщах — аграрно-промышленном, торговом и финансовом. Преимущество в эффективности, о котором мы говорим, настолько велико, что эти предприятия могут превзойти предприятия других великих держав не только на мировом рынке в целом, но во многих случаях и на внутренних рынках конкурирующих держав.

Я считаю это определение сравнительно ограниченным. Недостаточно, чтобы предприятия одной державы просто захватили большую долю мирового рынка по сравнению с предприятиями любой другой державы, недостаточно просто иметь более могущественные военные силы или играть самую важную роль в политике. Я полагаю, что о гегемонии можно говорить только применительно к ситуациям, когда преимущество так значительно, что даже крупнейшие союзные государства являются *de facto*^{**} клиентельными государствами, а противостоящие крупнейшие государства ощущают свою относительную ущербность и занимают оборонительную позицию по отношению к державе-гегемону. И хотя я хочу ограничить мое определение теми случаями, когда разница сил действительно велика, я не собираюсь

Первой среди равных (*лат.*).

^{*} Фактически (*лат.*).

^{**} Зак. 4049

утверждать, что когда-либо было так, чтобы держава-гегемон была всемогущей и могла делать все, что ей заблагорассудится. Внутри межгосударственной системы не существует всемогущества.

Гегемония, следовательно, не состояние, а скорее один из концов того текучего континуума, которым описываются отношения конкурирующих великих держав друг к другу. На одном конце этого континуума — почти совершенное равновесие сил, ситуация, при которой существует множество держав, более менее равных по силе, и они не собираются в четко очерченные или длительно существующие группы. Так бывает редко, и такое положение неустойчиво. Для середины этого континуума характерно существование множества держав, более или менее сгруппированных в два лагеря, однако при наличии нескольких нейтральных или колеблющихся элементов, и ни одна из сторон (и *a fortiori* ни одно отдельно взятое государство) не в состоянии навязать свою волю остальным. Это статистически нормальная ситуация соперничества внутри межгосударственной системы. На другом же конце (континуума) находится ситуация гегемонии, также редкая и неустойчивая.

Теперь вы можете понять, что именно я описываю, но можете и недоумевать, почему я озабочен тем, чтобы дать этому явлению имя и, следовательно, сфокусировать на нем внимание. Это происходит потому, что я считаю гегемонию не результатом случайного расклада карт, но феноменом, который возникает в специфических условиях и играет важную роль в историческом развитии капиталистического мира-экономики.

II

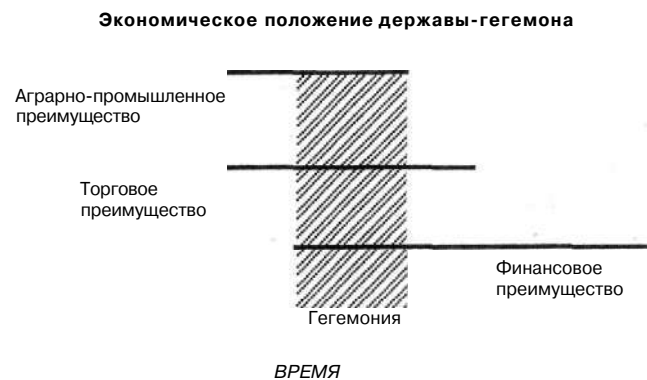
Если использовать наше ограничительное определение, единственными тремя случаями гегемонии должны быть Объединенные провинции (Голландия) в середине XVII в., Соединенное Королевство в середине XIX в. и Соединенные Штаты Америки в середине XX в. Если кто-то настаивает на точных датах, я бы на пробу предложил в качестве предельных временных границ 1620—1672 гг., 1815—1873 гг., 1945-1967 гг. Но, конечно же, было бы ошибкой пытаться

* Тем более {лат.}.

быть слишком точным, когда наши измерительные приборы одновременно столь сложны и столь приближительны.

Я хочу предложить четыре области, происходившее в которых, как мне кажется, было аналогичным во всех трех случаях гегемонии. Точнее говоря, эти аналогии ограничены. И еще точнее, поскольку капиталистический мир-экономика в моем понимании — это единый постоянно развивающийся объект, отсюда по определению следует, что общая структура гегемонии была различна в каждый из трех моментов времени. Различия были реальным результатом долгосрочных тенденций миросистемы. Однако и структурные аналогии также были реальны, отражая циклические ритмы той же самой системы.

Первая аналогия касается последовательности достижения и потери относительной эффективности в каждой из трех экономических областей. Я считаю, случилось то, что в каждом случае предприятия, расположенные в данной державе, достигали своего преимущества сначала в области аграрно-промышленного производства, затем в торговле и затем в финансах¹. Я считаю, что они теряли свои преимущества в такой же последовательности (в третьем случае процесс начался, но еще не завершился). Гегемония, таким образом, относится к тому короткому интервалу, в котором преимущество существует *одновременно* во всех трех экономических сферах.



Вторая аналогия должна касаться идеологии и политики державы-гегемона. Подобные державы в период их гегемонии имеют тенденцию выступать как адепты глобального «либерализма». Они вы-

ступали защитниками принципов свободного движения факторов производства (товаров, капиталов и труда) по всему миру-экономике. Они были в целом враждебно настроены по отношению к меркантилистским ограничениям в торговле, включая существование заморских колоний для более сильных стран. Их либерализм простирался до общей поддержки либеральных парламентских институтов (и одновременного отвращения к политическим переменам насильственными методами), политических ограничений произвольной власти бюрократии и поддержки гражданских свобод (при одновременном открытии дверей для политических изгнанников). Они старались обеспечить высокий уровень жизни для трудящихся классов своей нации, высокого по мировым стандартам соответствующего времени.

Ничто из этого не следует преувеличивать. Державы-гегемоны постоянно делали исключения в своей политике анти-меркантилизма тогда, когда это было в их интересах. Державы-гегемоны постоянно охотно вмешивались в политические процессы, происходящие в других государствах с тем, чтобы обеспечить свое преимущество. Державы-гегемоны могли производить существенные репрессии у себя дома, если это было необходимо для обеспечения национального «консенсуса». Высокий жизненный уровень трудящихся классов был жестко ранжирован в зависимости от этнической принадлежности. Тем не менее совершенно замечательно, что либерализм как идеология процветал в этих странах точно в периоды их гегемонии, и в такой значительной степени процветал только там и только в эти периоды.

Третья аналогия — в модели глобальной военной силы. Державы-гегемоны были прежде всего морскими (теперь — морскими и воздушными) державами. На своем долгом пути к гегемонии они, казалось, очень неохотно развивали свои сухопутные силы, открыто обсуждая потенциальное ослабление и истощение государственных доходов и человеческих ресурсов, являющиеся следствием ввязывания в войны на суше. Несмотря на это, в итоге каждая держава-гегемон приходила к выводу, что она должна развивать сильную сухопутную армию для того, чтобы противостоять главному сопернику на суше, который, казалось, собирается превратить мир-экономику в мир-империю.

В каждом случае гегемония была обеспечена тридцатилетней мировой войной. Под мировой я имею в виду войну (опять-таки чтобы ввести ограничения) сухопутную, вовлекающую в столкновение (не обязательно на продолжительное время) почти все основные военные державы эпохи, что приводит к разрушительным последствиям для земли и населения. С каждым случаем гегемонии связана одна из таких войн. Мировая война «Альфа» была тридцатилетней и продолжалась с 1618 до 1648 г., когда интересы Голландии в мире-экономике одержали верх над интересами Габсбургов. Мировая война «Бета» — это наполеоновские войны с 1792 до 1815 г. Тогда интересы Великобритании восторжествовали над французскими. Мировая война «Гамма» — это долгие евроазиатские войны с 1914 до 1945 г., когда интересы США одержали верх над интересами Германии.

В то время как ограниченные войны были постоянным проявлением функционирования межгосударственной системы капиталистического мира-экономики (едва ли был такой год, когда бы где-нибудь внутри системы не случилось какой-нибудь войны), по контрасту с этим мировые войны были редкостью. Их редкость и тот факт, что их количество и время, как кажется, коррелируют с достижением одной из держав статуса гегемонии, подводят нас к четвертой аналогии.

Если мы обратимся к тем очень долгим циклам, которые Рондо Камерон окрестил «логистическими», то увидим, что мировые войны и гегемония фактически связаны с ними. По этим логистикам было проведено очень мало научных исследований. Их наиболее часто обсуждали при сравнениях между А-В последовательностями 1100-1450 гг. и 1450-1750 гг. Лишь немногие дискуссии касались логистических циклов, которые могли существовать после последнего момента времени. Но если мы примем первое наблюдение, использованное для определения этих логистических циклов, — долгосрочные циклы инфляции и дефляции, — модель, кажется, должна быть продолжена во времени.

Следовательно, может быть правдоподобным доказывать существование таких (ценовых) логистических циклов вплоть до сегодняшнего дня, используя следующие даты: 1450-1730 гг. с 1600-

1650 гг. в качестве пика описывающей период кривой; 1730-1897 гг. с 1810-1817 гг. в качестве пика; и 1897-? со все еще неопределенным пиком. Если такие логистические циклы действительно существуют, выходит, что мировая война и (последующая) эра гегемонии расположены где-то вокруг (сразу перед и после) пиков логистического цикла. Иначе говоря, эти процессы, возможно, являются результатом длительного соперничества в экспансии, которое, как кажется, привело к особенной концентрации экономической и политической власти.

Исход каждой из мировых войн включает существенную реструктуризацию межгосударственной системы (Вестфальский мир; Священный союз европейских держав после Венского конгресса; ООН и Бреттон Вудс) в форме, созвучной необходимости относительной стабильности нынешней державы-гегемона. Далее, однажды позиции гегемона оказываются разрушенными экономически (потеря преимущества в эффективности аграрно-промышленного производства), и, следовательно, наступает упадок гегемонии. Одним из последствий этого, видимо, является разрушение сети союзов, терпеливо созданных державой-гегемоном, и, в конечном счете, серьезное изменение конфигурации союзов.

В течение долгого периода, следующего за эрой гегемонии, в конечном счете, возникают две державы — «кандидата на успех»: Англия и Франция после гегемонии Голландии; США и Германия после гегемонии Великобритании; и теперь Япония и Западная Европа после гегемонии США. Более того, окончательный победитель из этой пары кандидатов, по-видимому, делает сознательной частью своей стратегии мягкое превращение прежней державы-гегемона в своего «младшего партнера» — Англия по отношению к Голландии, США по отношению к Великобритании... а теперь?

III

До сих пор я занимался в основном описанием. Я понимаю, что это описание уязвимо для критики с технической точки зрения. Принятые мною даты могут не совпадать с принятыми другими. Я думаю тем не менее, что в качестве первой попытки мои обозначения оправданы и что я все же наметил в общих чертах повторяющуюся

модель функционирования межгосударственной проблемы. Теперь вопрос в том, как ее интерпретировать. Что именно в функционировании капиталистического мира-экономики порождает подобные циклические модели в межгосударственной системе?

Я считаю, что эта модель подъема, временного доминирующего влияния и упадка державы-гегемона в межгосударственной системе является только одним из аспектов центральной роли политических механизмов в функционировании капиталистического способа производства.

Бытуют два мифа о капитализме, выдвинутых его главными идеологами (и странным образом широко признанные их критиками XIX в.). Один из них состоит в том, что капитализм характеризуется свободным движением факторов производства. Второй — в том, что ему свойственно невмешательство политической машины в действие «рынка». На самом деле, капитализм определяется *частичной* свободой движения факторов производства, *избирательным* вмешательством политической машины в действие «рынка». Гегемония — пример последнего.

Наиболее фундаментально капитализм определяется тенденцией к бесконечному накоплению капитала. «Избирательные» вмешательства — это как раз те, которые способствуют процессу накопления. Однако с «вмешательством» связано две проблемы. Оно имеет цену, и, следовательно, выгода от любого вмешательства является таковой лишь в случае, если выигрыш превосходит издержки. Когда выгода доступна без всякого «вмешательства», это, очевидно, приветствуется, поскольку минимизирует издержки. И, во-вторых, вмешательство всегда происходит в пользу одной группы тех, кто осуществляет накопление, и против другой группы, а последние всегда будут пытаться противодействовать первым. Эти два соображения предписывают политику гегемона в межгосударственной системе.

Издержки, связанные для предпринимателя с государственным «вмешательством», ощущаются главным образом в двух формах. Во-первых, в отношении финансовых условий — государство может взимать прямые налоги, влияющие на норму прибыли, требуя от фирмы платить государству, или косвенные налоги, которые могут сокращать норму прибыли, воздействуя на конкурентоспособность

производства. Во-вторых, государство может вводить правила, которые направляют потоки капиталов, труда, товаров; или же устанавливать минимальные и/или максимальные цены. В то время как прямые налоги всегда являются для предпринимателя прямым вычетом, калькуляции влияния косвенных налогов и государственного регулирования более сложны, поскольку они влияют на издержки как самого предпринимателя, так и (некоторых) его конкурентов. Основная проблема с точки зрения индивидуального накопления — не абсолютный, а относительный размер издержек. Издержки, даже высокие, могут позитивно восприниматься предпринимателем, если действия государства приводят к еще более высоким издержкам для части его конкурентов. Абсолютный размер издержек вызывает озабоченность только в том случае, если потери предпринимателя превосходят приобретения в среднесрочном плане, которые становятся возможны благодаря большей конкурентоспособности, порожденной подобными действиями государства. Следовательно, абсолютный размер издержек больше всего заботит тех предпринимателей, которые были бы наиболее успешны при свободной рыночной конкуренции даже в отсутствии государственного вмешательства.

В целом, таким образом, предприниматели обычно стремятся к вмешательству государства в рыночные процессы в разнообразных формах — субсидии, ограничения в торговле, тарифы (являющиеся штрафными санкциями для конкурентов из других стран), гарантии, ограничение максимума для цен закупки и минимума для отпускных цен и т. д. Устрашающий эффект от репрессий внутри и вовне также приносит предпринимателям прямую экономическую выгоду. В той степени, в какой продолжающийся процесс конкуренции и государственного вмешательства ведут к возникновению олигопольных условий внутри государственных границ, все больше внимания, естественно, уделяется обеспечению таких же олигопольных условий на самом важном рынке — мировом.

Комбинация конкурентного давления и постоянного государственного вмешательства имеет своим результатом постоянную тенденцию к концентрации капитала. Выгоды государственного вмешательства внутри и за пределами государства носят кумулятивный характер. В политическом отношении это выражается как

экспансии мощи на мировой арене. Преимущество экономических предприятий поднимающейся державы над предприятиями поднимающейся державы-конкурента может быть слишком небольшим и потому неустойчивым. Вот тогда-то и начинаются мировые войны. Тридцатилетняя борьба может быть очень драматичной в военном и политическом отношении. Но самым существенным может быть экономический эффект. Преимущество экономики победителя растет в ходе самой войны, и послевоенные межгосударственные соглашения создаются для того, чтобы закрепить значительное превосходство и защитить его от разрушения.

Данное государство, таким образом, присваивает «ответственность» за дела в мире, что отражается в дипломатических, военных, политических, идеологических и культурных аспектах. Все делается для того, чтобы усилить отношения сотрудничества между социальными группами предпринимателей, бюрократии и, с некоторым отставанием, слоев рабочего класса державы-гегемона. Эта держава может затем развиваться в «либеральной» форме — реально сокращая политические конфликты внутри государства в сравнении с более ранними и более поздними периодами и учитывая важность подорвать законность усилий других государств на межгосударственной политической арене, направленных против экономического превосходства державы-гегемона.

Проблема в том, что глобальный либерализм, рациональный и эффективно снижающий издержки, вскармливает свою собственную кончину. Из-за него делается все труднее сдерживать распространение технологических знаний. В результате через некоторое время станет совершенно неизбежным, что предприниматели, вышедшие на мировой рынок позже, смогут освоить наиболее прибыльные рынки, используя самые передовые технологии и более молодой «подрост», вгрызаясь таким образом в материальную основу производственных преимуществ державы-гегемона.

Во-вторых, внутривнутриполитической ценой либерализма, нуждающегося в поддержке непрерывного производства во время максимального всемирного накопления, является ползучий рост реальных Доходов как трудящихся слоев, так и высококвалифицированных специалистов, проживающих в державе-гегемоне. С течением вре-

мени это должно снизить конкурентоспособность предприятий этого государства.

Как только явное преимущество в производительности потеряно, структура трещит по швам. В период своего существования держава-гегемон может в большей или меньшей степени координировать политические ответы всех государств, экономическая активность в которых осуществляется по «сердцевинному» типу, на вызовы всех периферийных государств, максимально увеличивая посредством этого дифференциал неэквивалентного обмена. Но когда гегемония размывается и, особенно, когда мир-экономика находится в нисходящей фазе кондратьевского цикла, между лидирующими государствами начинается свалка за раздел уменьшающегося пирога, которая подрывает их совместную способность извлекать прибавочный продукт посредством неэквивалентного обмена. Степень неэквивалентности обмена таким образом уменьшается (но никогда не доходит до нуля) и создает дальнейшие побудительные мотивы к реструктурированию систем союзов.

Период, предшествующий пику логистического цикла, ведущему к созданию преходящей эры гегемонии, можно описать как кризисную, изображающую соревнование черепахи и зайца. Не то государство выигрывает гонку, которое делает политический и особенно военный скачок вперед, но то, которое идет медленно, дюйм за дюймом улучшая свое положение в долговременном соревновании. Это требует твердой, но детализованной и разумной организации предпринимательских усилий со стороны государственной машины. Ведение войн может быть предоставлено остальным вплоть до начала критической мировой войны, когда держава-гегемон должна наконец вложить свои ресурсы, чтобы ухватить победу. Вслед за этим последует «ответственность за дела в мире» с вытекающими отсюда выгодами, но также и с ее (растущими) издержками. Таким образом, гегемония сладка, но недолговечна.

IV

Выводы для нынешнего дня очевидны. Мы находимся в только что наступившей фазе постгегемонии третьей логистики капиталистического мира-экономики. США потеряли свое преимущество в

производительности, но еще не коммерческое и не финансовое превосходство; их военное и политическое преимущество больше не подавляюще. Их возможности диктовать своим союзникам (Западной Европе и Японии), запугивать своих врагов и сокрушать слабых (сравните Доминиканскую республику в 1965 г. с Сальвадором сегодня) сильно ослабли. Мы стоим в начале существенного реструктурирования союзов². Хотя, конечно же, мы лишь в самом начале всего этого. Упадок Великобритании начался в 1873 г., но только в 1982 г. Аргентина смогла бросить ей открытый вызов.

Основной вопрос заключается в том, будет ли этот третий логистический цикл развиваться по схемам предыдущих. Существенное отличие состоит в том, что капиталистическая мироэкономика как историческая система вступила в структурный кризис, который в значительной степени может свести на нет эти циклические процессы. Я, однако, склонен думать, что циклы не исчезнут, скорее сам кризис будет элементом цикла³.

Не следует придавать концепции гегемонии большее значение, чем в ней содержится. Это способ организации нашего восприятия процесса, не «сущность», чьи черты должны быть описаны и чьи вечные возвраты должны быть продемонстрированы и затем предсказаны. Концепция процесса предупреждает нас в отношении сил, действующих в системе, и вероятных узлов конфликтов. Большого она не делает. Но и меньшего — тоже. Капиталистический мир-экономика не постигаем, пока мы не проанализируем четко, что за политические формы он породил и как эти формы соотносятся с другими реальностями. Межгосударственная система не есть какая-то экзогенная, Богом данная переменная, которая мистическим образом ограничивает и опосредует капиталистическую гонку с целью бесконечного накопления капитала. Это ее проявление на политической арене.

Я описал это в эмпирических деталях, относящихся к первому случаю, в книге: Immanuel Wallerstein. *The modern world-system, vol. II. Mercantilism and the consolidation of the European world-economy. 1600-1750* (New York and London. Academic Press, 1980), ch. 2.

² .См.: I. Wallerstein. North Atlanticism in decline, *SAISReview*, no. 4 (Summer 1982), p. 21-26.

³ О дискуссии по этой проблеме см. «Conclusion» в книге: S. Amin, G. Arrighi, A. G. Frank and I. Wallerstein. *Dynamics of global crisis* (New York: Monthly Review Press, 1982).

ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ В МИРОСИСТЕМЕ

Кризисы в миросистеме

Тема «типология кризисов» предполагает, что существует много типов кризисов. Однако в этом докладе доказывается, что в пространственно-временном отношении существует единственный «кризис», который в структурном отношении проявляет себя в трех различных сферах социальной активности.

Начинать нужно, без сомнения, с определения того, что понимается под «кризисом». Этим термином слишком злоупотребляли, обозначая им каждое падение любой циклической кривой в любой системе отсчета. Это также термин с негативным оттенком. Под кризисом имеют тенденцию понимать нечто такое, что стремятся «преодолеть» так быстро, как только возможно, чтобы избежать в результате ужасных (часто неопределенных) последствий.

Однако это не то, что буду подразумевать под «кризисом» я. Я буду использовать термин «кризис», имея в виду нередкие обстоятельства, при которых историческая система уже эволюционировала до такой точки, где кумулятивный эффект ее внутренних противоречий делает для системы невозможным «разрешить» свои дилеммы «корректировкой» действующих институциональных моделей. Кризис — это ситуация, в которой кончина существующей исторической системы неизбежна и в которой, *следовательно*, заложены основы для реального исторического выбора: какого рода новую историческую систему строить или творить.

Позвольте мне дать обзор моих исходных положений, чтобы как можно лучше прояснить предмет обсуждения. Краткое описание кризиса содержит 6 исходных положений.

(1) Имеющей смысловое значение единицей социального анализа является историческая система, непрерывный процесс социального разделения труда, организованного в соответствии с некоторыми основополагающими принципами (или тем, что иногда называют «способом производства»). Эта целостность, историческая

)

система, существует в реальном пространстве и времени, которые, будучи частью ее описания, должны быть определены. Пространство, однако, не обязательно является неизменным для разных моментов времени. Это означает, что система может «расширяться» (или «сжиматься»). Говоря о «разделении труда», мы подразумеваем существование ряда структурированных процессов производства, протекающих в некоторых политических рамках и имеющих некое культурное выражение, хотя и то и другое не обязательно должно быть простым.

(2) Каждая историческая система проживает свою жизнь — начало, развитие и (возможно) конец. Продолжительность этой жизни, естественно, варьирует, период жизни многих из существовавших крупномасштабных систем («миросистем») длился по 400-500 лет или более. Структуры, лежащие в основе таких исторических систем составляют *longue duree** по Броделю. Внутри такой *longue duree* происходят циклические процессы, составляющие *conjunctures*** . Различия, проводимые между конъюнктурными и структурными процессами, то есть между циклическими ритмами и вековыми тенденциями конкретной исторической системы, представляют собой решающий элемент анализа.

(3) Противоречия существуют во всех исторических системах. Говоря о противоречиях, я не имею в виду конфликты, которые, конечно же, тоже наличествуют. Противоречия имеют отношение к давлению со стороны структур, которое заставляет те или иные группы двигаться одновременно в двух противоположных направлениях. Поскольку группы в нормальной ситуации разумны, преследуют свои интересы и не страдают шизофренией, то причина, вызывающая одновременное движение в противоположных направлениях, только в том, что их непосредственные интересы вступают в противоречие с долговременными интересами. Для того чтобы решить свои сиюминутные проблемы, вызванные циклическими колебаниями, они склоняются к поведению, которое в свою очередь порождает долгосрочные тенденции, подрывающие дееспособность системы.

* Длительная временная протяженность (*фр.*).

** Сочетания, конъюнктуры (*фр.*)

(4) Из того, что противоречия неизбежны, следует, что каждая историческая система будет в конечном счете подрывать свои способности к выживанию. Вот почему мы можем говорить о неизбежном конце исторических систем. Однако с точки зрения индивидуального жизненного цикла это процесс медленный, и степень того, насколько какие-то группы могут ускорить приближение неизбежного конца с помощью любого волюнтаристического «великого скачка», ограничена. Это не означает, что организованная оппозиция лишена какой бы то ни было функции в исторической системе. Скорее можно сказать, что организованная оппозиция сама по себе является продуктом системы, эндогенна ей и, следовательно, является частью того же долгосрочного развития структур системы.

(5) Когда противоречия достигают определенного уровня интенсивности, можно говорить о том, что историческая система вступила в «кризис». Иначе говоря, становится относительно ясно, что если система продолжит движение в том же направлении, в котором она развивалась (и на самом деле будет продолжать развиваться), она не слишком долго будет оставаться жизнеспособной. Конец уже виден. Корректировки, которые по-прежнему производятся для преодоления продолжающихся циклических трудностей, начинают трансформировать структуру таким образом, что та переходит к распаду (определенной аналогией служит то, как транспортное средство дребезжит и в конце концов разваливается на части, когда превышает определенный уровень скорости). Этот период кризиса может также быть назван переходным периодом. В исторической системе, которая существовала на протяжении 500 лет или дольше, подобный переход может продолжаться в течение века или более.

(6) В то время как кончина несомненна, поскольку несомненны противоречия, вопрос о том, что следует за переходом, остается, с исторической точки зрения, открытым. Не существует неизбежной долгосрочной линии человеческой истории, которая гарантировала бы, что каждая последующая фаза является более прогрессивной, чем предыдущая фаза. Совсем наоборот. Мы знаем много очевидных случаев когда последующие системы в сущности стояли наравне с предшествующими, а некоторые оказывались совершенно регрессивными. С другой стороны, мы также знаем случаи, когда был

прогресс. Прогресс вполне возможен, он просто не является неизбежным.

В то время как в стабильно текущих структурных процессах исторической системы волюнтаристскому «ускорению» противоречий принадлежит небольшая роль, в момент кризиса или трансформации роль морально-политического *выбора* существенно вырастает. Как раз в этих случаях справедливо говорить о том, что «человек сам творит свою историю».

Высказывая эти шесть положений, я некоторым образом вынужден допустить вопрос: «мировой кризис или мировая трансформация»? Кризис, как я его определил, обязательно означает трансформацию. Вопрос скорее состоит в том, трансформацией во что обернется наш мировой кризис? И будет ли наследующая нам историческая система (или системы) хуже, такой же или лучше? То есть наш исторический выбор — реальность, что и оправдывает этот проект «новой социальной мысли».

Мои аргументы до этих пор были достаточно абстрактными. Я рассматривал, как действует *любая* историческая система. Мы же живем в очень специфической системе — современной миросистеме или в капиталистической мироэкономике. Позвольте мне, в связи с этим, еще раз сформулировать свои шесть положений, на сей раз под углом зрения специфических параметров этой особой исторической системы.

(1) Современная миросистема — это капиталистический мир-экономика. Это описание ее формальной структуры и ее способа производства, двух сторон одной медали. Это мир-экономика в том смысле, что границы социального разделения труда обширны и охватывают многообразные культурные регионы (вот почему «мир»), и здесь нет единой унифицированной политической структуры (поэтому это не «мир-империя»). Тем не менее эта система обладает политической надстройкой. Эта надстройка представляет собой сеть «суверенных государств», которые являются членами «межгосударственной системы» и определяются как таковые ею же. Социальная и политическая реальность и значение «межгосударственной системы» гораздо больше того, что можно было бы предположить, имея в виду ее чрезвычайно тонкий и эфемерный организационный аппарат.

Этот мир-экономика является капиталистическим в том смысле, что он базируется на действии «закона стоимости», которое включает распределение вознаграждений в пользу тех, кто отдает предпочтение бесконечному накоплению капитала. Это не означает, что каждый действует на основе закона стоимости, просто институциональные механизмы мироэкономики построены так, чтобы материально вознаграждать или наказывать, исходя из приверженности этим принципам (или за их нарушение).

Капиталистическая мироэкономика выработала определенные системные формы культурного давления для поддержания действия этих механизмов. Формы давления, которые стремятся дисциплинировать рабочую силу и направить ее в определенное русло, стали называться расизмом и сексизмом. Формы давления, которые стремятся дисциплинировать и направлять в определенное русло мировые кадры профессионалов, или «средние слои», мы стали называть рационализмом, или универсализмом, или «наукой».

Капиталистическая мироэкономика — не первая из когда-либо существовавших исторических систем этого ряда, но первая система такого рода, живущая столь длительное время. Следовательно, это первая система, позволившая капиталистическому способу производства полностью развернуться и реализовать свой потенциал. Причина, по которой не выживали предшествующие миры-экономики, связана с присущей им хрупкостью такой организационной формы по сравнению с одновременно существующими мирами-империями. Рассмотрение причины, по которой в данном частном случае система выжила, консолидировалась, а затем в конечном счете вобрала в себя и разрушила все одновременно существовавшие миры-империи, — это отдельная и сложная история, которая несущественна для нашего разговора.

(2) Современная миросистема возникла в XVI в., прежде всего в Европе. В ходе серии внутренних процессов эта миросистема постоянно, хотя и прерывисто, расширялась, пока к середине или к концу XIX в. не смогла включить в свое социальное разделение труда все географические зоны Земли. Таким образом, она создала оригинальную в историческом отношении ситуацию. Впервые в истории человечества на Земле теперь существовала только одна исто-

рическая система. Это, как мы увидим, стало одной из причин ее позднейшего «кризиса».

Капиталистическая мироэкономика сегодня все еще существует и все еще включает в свое социальное разделение труда все географические зоны Земли. Более того, сегодня нет таких государств, которые не являлись бы частью межгосударственной системы, составляющей политическую надстройку капиталистической мироэкономики. Формы культурного давления, о которых мы говорили, распространяются на все социальные реалии всех регионов земного шара.

(3) Противоречия этой системы многочисленны и сложны. Тем не менее существуют два крупные противоречия, выделяющиеся среди других, одно — в сфере экономики, другое — в политической сфере.

Основное противоречие экономической сферы заложено в лобопытной двойственной роли агента накопления капитала. С одной стороны, он конкурирует со всеми остальными агентами и, следовательно, бесконечно стремится увеличить разрыв между «издержками производства» и «рыночной ценой продажи» в своем производстве. Это принуждает его к политике, направленной на сокращение издержек (включая постоянное желание сократить издержки, связанные с трудом) и повышение цен (включая использование политических и квазиполитических механизмов монополистического ограничения рынка в тех направлениях, которые для него благоприятны). Настоящий капиталист должен быть капиталистом-горлохвотом, а как рабочие, так и другие агенты накопления капитала являются его естественными оппонентами.

С другой стороны, хорошее функционирование системы зависит от определенных политико-культурных гарантий для такого конкурентного поведения, которое подталкивает каждого предпринимателя к созданию более эффективного спроса (включая возрастание глобальной доли доходов трудящихся слоев) и к совместным действиям с предпринимателями-конкурентами с целью ослабления разрушительных последствий экономической активности (будь то из-за волнений рабочих или из-за межгосударственного «внеэкономического» соперничества).

(4) Вот в чем противоречие. Агент накопления капитала должен одновременно и понижать издержки, связанные с трудом, и повышать их; он должен бороться с другими агентами и сотрудничать с ними. На самом деле противоречие развивается в определенных временных рамках. В краткосрочном плане агент накопления капитала является «горлохвотом». В среднесрочном плане он склонен к «сотрудничеству». А в долгосрочном — идет подрыв системы. Она подрывается, потому что важнейшая характеристика капиталистической системы состоит в том, что факторы производства — земля, труд, капитал — лишь отчасти «свободны» в своем плавании по воле гипотетического чистого рынка. Аспекты «несвободы» — не просто пережитки или анахронизмы, это механизмы сокращения реальных издержек и повышения реальной цены продажи, и, следовательно, увеличения прибыли.

Для разрешения краткосрочных экономических противоречий агенты накопления капитала, выступая как класс, имеют тенденцию двигаться в направлении среднесрочного «кооперативного» поведения. В частности, они спорадически прибегают к перераспределению прибавочной стоимости в пользу трудящихся слоев, чтобы восстановить и расширить эффективный спрос и таким образом обеспечить возобновление экспансии. Это решает среднесрочные проблемы. Однако в долгосрочном плане это означает «освобождение» факторов производства, что, в свою очередь, означает уменьшение размеров прибыли в долгосрочном плане.

Это не единственное противоречие, хотя и громадное само по себе. Решения, ориентированные на среднесрочную перспективу и направленные на преодоление краткосрочной стагнации, имеют политические последствия. Вызываемые ими экономические изменения ведут к собиранию вместе угнетенных слоев, так же как и к растущей очевидности извлечения прибавочной стоимости (именно через «освобождение» факторов производства). Отсюда следует, что со временем угнетенные слои становятся все более и более способными и готовыми к восстанию. К XIX в. уровень этой способности и воли достиг той точки, когда мы увидели внезапное возникновение антисистемных движений в двух классических формах (социалистические движения и националистские движения).

Такое политическое развитие несло угрозу логике системы — бесконечному накоплению капитала — с двух сторон. Во-первых, оно усиливало сторону всемирных трудящихся слоев в их постоянной битве за раздел прибавочной стоимости и, следовательно, ставило под угрозу долгосрочные условия получения прибыли. Во-вторых, для того чтобы политически противодействовать трудящимся слоям, агенты накопления капитала были вынуждены передавать все большую долю прибавочной стоимости своим агентам и защитникам, профессионалам, или «средним» слоям, также ставя под угрозу долгосрочные условия получения прибыли.

(5) Начиная с Первой мировой войны и русской революции, и при значительном ускорении после 1945 г., с одной стороны экономическая долгосрочная тенденция к полному (в противоположность частичному) отовариванию плюс исчерпание внешних зон, куда можно осуществлять экспансию и тем самым сокращать процент общего отоваривания, и с другой стороны политическая долгосрочная тенденция к сжатию с двух сторон пространства для получения долгосрочной (в противоположность краткосрочной) прибыли совместно создали ситуацию, которую мы можем назвать «кризисом» капиталистического мира-экономики. В некоторых отношениях это более заметно в области политики и культуры, чем в области экономики. Всемирная «семья» антисистемных движений становилась все сильнее, все смелее, все разнообразнее, и ее все труднее было сдерживать. Оппозиция всепроникающа и неистребима. На самом деле она принимает различные формы в Китае и США, в Иране и Сальвадоре. Я не предлагаю грубо приравнивать друг к другу множество форм протеста — национально-освободительные движения, пролетарские волнения, цивилизационные «ренессансы» и неповиновение, контркультуры, религиозные возрождения и обновленческие движения. Однако ощущение «кризиса» среди защитников мирового статус-кво отражает их смятение перед этим расцветом тенденций, который, похоже, начал выходить из-под контроля.

Единственное, что могут агенты накопления капитала — продолжать делать то же, что и раньше. Они могут относиться к этим мятежам как к части краткосрочных проблем, которые можно решить среднесрочными подходами, связанными с «кооптацией». И в

среднесрочном плане это продолжает срабатывать, и даже очень успешно. (Поразмыслим над напряженностью в мире в период около 1968-70 гг. и напряженностью всего 15 лет спустя.) Но эта «кооптация» — процесс, который в долгосрочной перспективе подрывает как экономические, так и политические основы системы (позиция, которой давно придерживаются ультраконсерваторы, которые правы в этих своих предсказаниях, но ошибаются, веря в существование для правящего слоев реальных среднесрочных альтернатив).

(6) Таким образом, как мы и утверждаем, мы живем во время «перехода», в период неизбежного упадка и «окончательной смерти» капиталистического мира-экономики. Но куда мы направляемся? Возможно, мы движемся к «социалистическому мировому порядку». Безусловно, это направление, в котором мы должны двигаться в соответствии с лозунгами большей части «семьи» всемирных антисистемных движений. На самом деле большинство из них даже утверждает, что мы и правда движемся, и движемся неизбежно, в этом направлении. Я позволю себе не согласиться с этим ощущением неизбежности.

Существует противоречие, встроенное в образ действия самих антисистемных движений. И есть противоречие, встроенное в функционирование структур, отражающих мир, — «наук». Эти два противоречия опровергают наивный оптимизм Просвещения. Они создают реальность нашего исторического выбора. Таким образом, именно эти два «унаследованных кризиса» — кризис антисистемных движений и кризис наук — должны были быть предметом первоочередной заботы для тех, кто стремится преобразовать мир. Основной «кризис», кризис капиталистического мира-экономики, относительно прямолинеен и прост. Система придет к своему концу. Но то, что придет ей на смену, зависит от способа разрешения кризиса антисистемных движений и кризиса наук. И здесь у нас есть реальная возможность повлиять на действительность.

Кризис антисистемных движений

Что касается «кризиса антисистемных движений», дело не только в циклических подъемах и спадах. Конечно же, у этих движений всегда были «моменты» или «периоды» относительного поражения,

так же, как и относительной победы. Это нормально. «Кризис антисистемных движений» — это кризис, порожденный скорее их победами, чем поражениями, и это структурный, а не моральный кризис. То есть он объясняется преимущественно не «предательствами», а «давлением объективных обстоятельств».

Антисистемные движения, когда они начали создаваться в XIX в., столкнулись с главной проблемой: какое направление политических действий обещает быть эффективным? Как для социалистического, так и для националистического движений казалось ясным, что наиболее доступный локус реальной политической власти находится в государстве, в правительственных структурах различных независимых государств. Или, по крайней мере, это казалось ясным большинству активистов. Если это так, то логически следует, что наиболее вероятным путем трансформации системы должно было стать обретение тем или другим способом контроля за государственной властью. Как ставил эту проблему в 1950-х гг. Кваме Нкрума: «Наипаче ищите царствия политики...» Эта политическая стратегия, первичность обретения государственной власти, стала принятой и практикуемой стратегией фактически всех основных антисистемных движений и оставалась таковой до самого недавнего времени. Она, еще и сегодня принята большинством движений.

Эта стратегия имела своих оппонентов в XIX в. Были люди, особенно в ранние годы этих движений, проповедовавшие глубокое подозрение к государственной власти, даже если ожидается, что она попадет в руки народа. Их называли «анархистами» или, в другом варианте, «культурными националистами». Эта оппозиционная группа, однако, проиграла в дискуссиях, происходивших внутри антисистемных движений, поскольку она не смогла показать, что в самом деле существовал какой-то практический путь преобразования мира до тех пор, пока инструменты «легитимного насилия» находились в руках защитников статус-кво. Выбор, утверждали те, кто защищал ориентированную на государство стратегию, лежит между тем, чтобы добиться государственной власти или быть полностью подавленными. Это был выразительный аргумент, и он убеждал большинство активистов.

Как только эти споры оказались разрешенными, а как практический вопрос они разрешились в конце XIX в., единственным значимым стратегическим вопросом был способ овладения государственной властью, включая вопрос о том, в какой мере вооруженное восстание было существенной частью такого овладения. Спор известен — между «реформой» и «революцией», между Вторым и Третьим Интернационалом, между конституционной деколонизацией и затяжной партизанской войной.

Краткий обзор политической истории XX в. делает очевидным, что по крайней мере с 1945 г. антисистемные движения замечательно преуспели в достижении поставленной в XIX в. цели овладения государственной властью. В западных промышленно-развитых странах социал-демократические партии получили, в большей или меньшей степени, «право» управлять 50% времени. Это «право» означало, что они могли вводить основные законодательные перемены, известные под общим названием «государства всеобщего благосостояния». Легко показать, что перемены в этих странах разнообразными способами благоприятствовали трудящимся слоям.

Во второй группе стран, широко раскинутых на пространстве от Восточной Европы до Восточной Азии, движения, восходящие к Третьему Интернационалу, пришли к власти и создали «социалистические государства». Это означало, что они национализировали средства производства и занялись программой относительно быстрой индустриализации. Они также расширили социальное обеспечение для граждан.

В третьей группе стран, расположенных в основном в Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна — иногда называемых «Тремя континентами» или «Югом», — националистические и национально-освободительные движения пришли к власти во многих, даже в большинстве этих стран. Эти движения достигли политической независимости там, где ее не было; во многих случаях добились некоторой «национализации» базовых ресурсов, некоторого «развития» инфраструктуры и некоторого коллективного политического кредита на мировой сцене. Несомненно можно сказать, что «жизненные шансы» слоев, характеризующихся урбанизованностью и на-

личием определенного образования, в результате происшедших перемен улучшились.

Итак, на одном уровне рассмотрения можно говорить о великолепном успехе рассматриваемых здесь движений. Более того, модель продолжает работать, так что в перспективе еще больше таких «успехов» ожидается в других государствах. Тем не менее не секрет, что во всем мире существует большая неудовлетворенность: (а) социал-демократами у власти, (б) коммунистами у власти, (с) националистами у власти. Я говорю о недовольстве, выражаемом не консервативными силами, но существующем среди многочисленных сторонников и участников антисистемных движений.

У недовольства три основных аспекта. Первый заключается в том, что, каким бы ни был список достижений антисистемных движений, пришедших к власти, существует большая часть населения, в каком-то смысле «исключенная» из числа тех, кто получил доступ к этим достижениям. «Исключенные» — это часто те, кого в социальном плане относят больше к «маргинальной» части, чем к ядру политической поддержки антисистемных движений: этнические/ национальные меньшинства, мигранты, женщины, «крестьяне». Сначала можно было доказывать, что это временное явление. С течением времени многие начали сомневаться, не является ли оно «структурным» и, значит, не следствие ли это основной стратегии движений.

Второй — в том, что общественные движения «кооптировались», то есть больше не играют «революционной» роли, даже если и играли ее прежде. Очевидно, что движения у власти приглушили, а часто и вовсе отказались от реальной солидарности с движениями, не пришедшими к ней. Сначала можно было возразить, что этот феномен вызван временной тактической осторожностью. С течением времени многие начали сомневаться, не является ли это «тактическое отступление» необходимым условием достижения государственной власти внутри межгосударственной системы.

Третий аспект состоит в том, что движения, пришедшие к власти, хотя и управляют от имени «рабочего класса» или народа, вовлекаются в действия со стороны маленькой группы тех, кто делит власть, которые могут быть сочтены репрессивными или эксплуататорски-

ми. Сначала можно было возразить, что репрессии направлены на «контрреволюционные» силы. С течением времени многие начали думать, не является ли «репрессивность» результатом «кооптации», в свою очередь ставшей следствием того, что многие люди были изначально «оставлены в стороне» от революционного процесса.

Последствия накопления этого недовольства были тройственными. Во-первых, в каждой из трех основных областей миросистемы появились новые движения, главным объектом нападков которых стали «старые движения у власти». В странах Запада эти новые социальные движения приняли форму множества организаций, не связанных единой организационной структурой: движений меньшинств, женских движений, движений против войны, «зеленых» и экологических движений, движений сексуальных меньшинств и т. д. В социалистической зоне эти новые движения также приняли разнообразные формы: «реформаторские» движения внутри коммунистических партий («культурная революция», гуманистический коммунизм, даже десталинизация, а теперь — *перестройка*) и внепартийные движения (наиболее заметное — «Солидарность», а также «движения за мир»). А в странах третьего мира эти новые движения часто принимали форму движений за религиозное возрождение или обновление.

Для всех этих «новых» движений общими были глубокая подозрительность по отношению к «старым» движениям, пришедшим к власти, ощущение того, что движения, стоящие у власти, отличаются бюрократизмом и управляются группами, чьи текущие цели трудно отличимы от целей защитников статус-кво в миросистеме.

Второе следствие заключается, следовательно, в огромном повсеместном замешательстве, поскольку «старые» левые находятся под ударом множества «новых» левых. Это привело к смеси во всемирном масштабе внезапных всплесков «революционного энтузиазма» (например, Иран в период непосредственно перед и после падения шаха или Польша с 1980 до 1982 г.) и более длительных периодов относительной демобилизации, демобилизации, которая ощущается среди активистов как старых, так и новых движений.

Относительная демобилизация — это негативное следствие. Есть, однако, и третье, более позитивное последствие. «Замешательство»

разрушило в определенной мере идеологическую скорлупу и привело (или ведет) к переосмыслению фундаментальной стратегии. Это не вопрос о том, что следовало бы сделать в 1860-х гг. (или даже в 1950-х гг.), но о том, что необходимо делать в 1990-х гг. и потом. Поставленный или, лучше сказать, заново открытый вопрос состоит в том, проходит ли *приоритетный* путь к социальной трансформации мира через приобретение общественными движениями государственной власти отдельно в каждом государстве.

Проблема, конечно же, в том, что совершенно не очевидно, существует ли какая-либо ясная альтернатива. Об этом свидетельствуют дебаты внутри таких различных локусов, как «Солидарность», немецкие «зеленые», иранские революционные группы. Эти движения, как и многие другие, включают как некоторых из тех, кто не приемлет государственную власть как цель, так и тех, кто, пусть и неохотно, пришел к ее принятию. Вопрос, однако, остается открытым. Пока еще нет альтернативной коллективной стратегии. Я всего лишь доказываю, что эта проблема стоит на повестке дня.

Кризис в науках

Кризис в науках не так уж отличается от кризиса в антисистемных движениях, как можно было бы изначально подумать. Долгое время считалось, что подъем современной науки и подъем современной миросистемы — явления одного порядка, тесно связанные между собой. Наука, как мы полагали, является главным интеллектуальным выражением «современности». Казалось, что у нее есть три фундаментальные предпосылки. Первая заключалась в том, что в реальном мире все познаваемо. Это значит, что каждый эмпирический феномен поддается объяснению, которое соотносится с общими принципами процесса. Никакое эмпирическое явление не является таковым, чтобы для его обобщения необходимо было бы привлекать оккультизм и мистику, поскольку объяснение ему в конечном счете может быть найдено, даже если оно не известно сегодня.

Вторая предпосылка состоит в том, что, чем шире обобщение, тем лучше. В конечном итоге все значимые обобщения могут быть

выражены в терминах универсальных законов, применимых безотносительно к пространству-времени, которые в данном смысле рассматриваются скорее как «нейтральное» вместилище эмпирической реальности, чем как ее часть.

Третья предпосылка в том, что *единственный* путь реально «познать» реальный мир проходит через науку, а все другие формы знания являются субъективными, бездоказательными и иррелевантными. Это этого следует, что единственный способ, позволяющий сознательно «управлять» реальным миром — а в основе этого лежит предположение, что мир в самом деле «управляем» — посредством науки.

Каждая из этих предпосылок была оспорена, и борьба за то, чтобы сделать эти предпосылки господствующими, была длительной и ожесточенной, но нет сомнений, что борьба была в основном выиграна к середине XIX в. Одна из последних линий обороны, которая должна была пасть, — применение этих предпосылок к такой узкой области реального мира, которая непосредственно включает человеческие существа, — то есть к социальной организации человеческой деятельности. Только в XIX в. история и социальные науки получили *droit de cite**. Действительно, только тогда родилась большая часть нашей концептуальной терминологии, включая и сами названия так называемых научных дисциплин.

Следует отметить две вещи, связанные с возникновением того, что я называю историческими социальными науками. В значительной степени они являлись продолжающимся воплощением *идеологической* революции, вызванной Французской революцией как всемирно-историческим явлением. Они также разделяли фундаментальную двойственность Французской революции как феномена, естественно развившегося в рамках капиталистического мира-экономики, но также и как локуса первого серьезного антисистемного движения в истории современного капитализма.

Французская революция была тем моментом в историческом развитии капиталистического мира-экономики, когда формулировки на идеологической арене наконец изменились, чтобы начать вы-

* Права гражданства (*фр.*)

ражать к тому времени уже длительно существовавшие реалии капитализма как способа производства. Новая идеология приняла в расчет тот факт, что в капиталистическом мире-экономике политическая надстройка является не просто социальной конструкцией (как в независимых государствах, так и в межгосударственной системе), но постоянно исправляемой и перестраиваемой социальной конструкцией. Терминологией, которая облекла эту реальность, стало понятие «суверенитет народа», который стал способом легитимизации изменчивости, противостоящей застывшим политическим структурам. Для того чтобы мы могли иметь дело с этой изменчивостью, нам была передана по наследству антиномия общество-государство и вместе с ней предполагаемые взаимодействия и/или конфликты между обществом и государством, которые стали главным фокусом научной активности в исторических социальных науках.

Что касается политической двойственности Французской революции, мы можем сказать, что, с одной стороны, это было движение, в котором одна часть французских высших слоев/буржуазии стремилась осовременить и реконструировать французское государство для того, чтобы в их же интересах дать ему возможность играть более эффективную роль в мире-экономике. С другой стороны, она означала восстание французских непосредственных производителей против жизненных лишений, на которые их обрекла интенсификация капиталистических процессов.

Эта двойственность отразилась в продолжающейся борьбе за контроль над определением задач и области исторических социальных наук в XIX и XX вв. С одной стороны, исторические социальные науки представляли собой осовременивание идеологической надстройки капиталистического мира-экономики, предлагая то, что могло бы стать более эффективным механизмом легитимизации исторической системы, не столько для массы населения мира, сколько для мировых специалистов, которые, вместе с тонким слоем крупномасштабных агентов накопления капитала, получили основные выгоды от этой системы. С другой стороны, исторические социальные науки предложили антисистемным движениям язык, с помощью которого те смогли прояснить (разоблачить) действие этой

исторической системы, обрисовать ее противоречия и, следовательно, точно определить ее уязвимые места. Именно это, например, говорили Маркс и Энгельс, настаивая на том, что их теории и практику следует называть «научным социализмом».

Движения, о которых мы говорим, должны были принять стратегическое решение о переменах, осуществляемых посредством государственной власти. Подобным же образом те представители исторических социальных наук, которые видели свою роль в содействии социальному преобразованию мира, должны были сделать стратегический выбор. Им предстояло решить, куда направить научную энергию. Их принципиальный подход состоял в том, чтобы предложить аналитическую модель общественной жизни, решительно отличную от той, которую предлагали ученые, представляющие буржуазию или истеблишмент. Эта модель, доказывали они, будет правильнее или адекватнее объяснять реальность и позволит ускорить социальное преобразование мира. Одной из таких моделей, без сомнения важнейшей, и был марксизм.

Поскольку политическая стратегия, ориентированная на взятие государственной власти, была в высшей степени реалистичной, то и разработка «контрмодели» как интеллектуальной стратегии была не только разумной, но и эффективной. Это способствовало политической мобилизации, и это помогало выработать разумную тактику борьбы.

Однако, поскольку успешное по большому счету обретение государственной власти антисистемными общественными движениями не было свободно от двусмысленности, то же относилось и к успешной в основных чертах разработке контрмодели. Контрмодель настолько точно отражала действительность и обладала такой объясняющей силой, что соблазняла даже представителей истеблишмента. Многими путями мир исторических социальных наук приобщался к марксизму, даже отрицая это и стараясь скрыть использованием немарксистской терминологии для выражения марксистских идей. И эта «ползучая марксизация» основательно изменила Политическую жизнь миросистемы в период после 1945 г., так же, как изменил ее приход к власти столь многих антисистемных движений.

Обратная сторона медали, однако, в том, что марксизм в результате столь же часто служил оправданием статус-кво, как и способом его подрыва. Причем он выполнял «консервативную» функцию особенно хорошо именно потому, что провозглашался «антисистемной» идеологией. Почему это произошло? Все дело в принятой интеллектуальной стратегии. Сосредоточение на разработке контрмодели включало в себя два подчиненных решения: признание предпосылок современной науки и признание основных черт картины, нарисованной господствующей историографией, претендовавшей на изображение того, «что действительно произошло».

Но предпосылки современной науки и господствующей историографии были не более нейтральными, чем сами модели. И цыплята вернулись домой петушками в период после 1945 г., когда как социальная наука истеблишмента, так и марксистская социальная наука обнаружили возрастающие трудности в объяснении реального мира, то есть в определении подлинного направления исторического перехода, в котором мы начали жить. Сегодня это часто изображают как «кризис марксизма», но это слишком узкое определение. Скорее это «кризис исторических социальных наук», а сверх того еще и «кризис науки» как таковой.

Исходные посылки поставлены под вопрос не среди представителей исторических социальных наук, но и среди естествоиспытателей, считающихся высшим духовенством в религии современной науки. Нам говорят, что поиск неизменных законов и симметрии провалился и то, что мы действительно открыли — это «превращающиеся частицы» и «нарушение симметрии». Нам говорят, что «необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса», необратимость, а не обратимость. Нам говорят, «то, что первоначально было рискованной ставкой в духе господствовавшей аристотелевской традиции, со временем превратилось в догматическое утверждение». Нам говорят, что «необратимость, или стрела времени, влечет за собой случайность». И, говорят нам, это возвращает нас к центральной онтологической проблеме, отношению между бытием и становлением, с выводом, что «бытие и становление должны рассматриваться не как противоположности, противоречащие друг другу, а как два соотнесенных аспекта реальности»¹.

Но если все это верно, тогда мы должны отречься от основ методологии, которая сформировала большую часть исторической социальной науки, включая марксистскую социальную науку, поскольку та искала неизменные законы, симметрию, обратимость и, следовательно, предопределенность будущего. Возможно, мы должны вернуться в эту часть аристотелевской традиции, состоящую в поиске конечных причин. Возможно, мы даже должны допустить существование иного, и предшествующего научному, знания. Конечно, наука, какой мы ее знаем, следующая линии рассуждений, имманентной определенной «западной» философской традиции, была изобретением нашего современного мира. А поскольку кризис миросистемы находит свое отражение в «цивилизационных проекциях», мир заново открывает принадлежащее ему богатство альтернативных формулировок познания.

Это в равной мере справедливо для историографии. Нас долго предостерегали против «этноцентрической» истории. Нам много раз говорили, что писавшаяся в XIX в. история была историей правителей с точки зрения правителей и что она игнорировала тех, кем управляли, — трудящиеся классы, незападные части мира. Это было, конечно же, правдой, и сегодня это исправляется. Нам предлагают также историю тех, кем управляли, и с точки зрения тех, кем управляли, — трудящихся классов, незападных частей мира. Это, без сомнения, очень полезная поправка к невероятно узкому взгляду, существовавшему не более 30 или около того лет назад. Но поскольку эта «новая» история разделяет основные исторические мифы более старой истории, расширение охвата может только усугубить проблему.

Два основных мифа в рассказе об истории капиталистического мира-экономики состоят в том, что это история нового слоя, средних классов, уничтоживших старую феодальную аристократию; и что это история медленно расширяющихся кругов экономической активности, превращения локальных экономик в национальные экономики, которые затем «встречаются» на международной арене. Теперь предложены альтернативные мифы: что «новые» средние классы являются и всегда были аватарой (воплощением) старой феодальной аристократии и что развитие капиталистического мира-эконо-

мики включало в себя уплотнение и заполнение миросистемы скорее, чем ее разрастание из внутренней сердцевины.

Не постановка под вопрос научных предпосылок и господствующих исторических мифов стала причиной кризиса наук. Это было скорее выражение кризиса, вызванного тем фактом, что науки все в большей степени заходят в тупик, по мере того как перемены, происходящие в жизни, реальности становятся все менее доступными пониманию (хотя, исходя из внутренней логики принятых предпосылок, они должны становиться все более постижимыми).

Изменившаяся ситуация не привела нас к новой ясности, скорее мы пришли к еще большему замешательству и большим сомнениям. Замешательство и сомнения наблюдаются и в общественных движениях. На самом деле в обеих сферах они порождены кризисом миросистемы. Все эти «кризисы» одновременны, подразумевают друг друга и могут быть разрешены только в связи друг с другом.

Прогнозы

Ключевой вопрос заключается в том, куда мы идем отсюда, и первое, что можно сказать — мы не можем дать уверенного ответа. Некоторых это лишает присутствия духа, а других делает глубокими пессимистами. Я нахожу, что в долгосрочной перспективе этот факт приносит глубокую уверенность (даже если одновременно и пугает). Если человек не имеет выбора, то зачем играть в эту игру? Если выбор есть; то должна быть неопределенность исхода, или выбор осуществляется где-то и когда-то. Возможно, в этом принятии реальности, пусть редкой, фундаментального выбора и заключается последняя прометеевская *hybris** человечества. Но это, в конце концов, также и мировосприятие, включающее ответственность человека, санкционированное всеми религиями и философскими традициями. Мы можем нести ответственность только за то, воздействовать на что в нашей власти.

Прогресс в очень большой степени является вероятностью, он не предопределен. Мы можем с помощью этой социальной трансформации продвинуться к созданию социалистического миропоряд-

* Гордыня (*др.-гр.*).

ка, основанного одновременно на равенстве и демократии. Это мог бы быть порядок, обеспечивающий значительно расширившееся пространство для множественности культурных моделей, способность к созданию которых продемонстрировало человечество. Этот порядок, очевидно, мог бы быть основан на совершенно новых институциональных структурах, формы которых невозможно предсказать, потому что они еще должны быть изобретены.

Достигнем мы или нет такого миропорядка в следующем веке, по моему мнению, в значительной степени зависит от того, как будут разрешены два подчиненных «кризиса» — «кризис общественных движений» и «кризис наук». Иначе говоря, я считаю, что решающие сражения идут в этих областях, и их исход определит направление, в котором будет идти преобразование.

Существуют и мрачные альтернативы. Современная миросистема, капиталистическая мирозкономика, может быть преобразована во что-то еще — или в другую единую систему, или во множество отдельных систем, которые не будут основываться ни на равенстве, ни на демократии. Образовавшиеся в результате системы (или система) могут оказаться даже хуже существующей. Это, в конце концов, то, что уже произошло однажды в прошлом, когда мы (в Европе) осуществляли переход от феодализма к капитализму, который не только не был более прогрессивным, но во многих отношениях оказался регрессом.

Путь, на котором преобразование может завершиться не-прогрессом, очень прост. Защитники привилегий в период перехода могут захватить рычаги преобразований не для того, чтобы предотвратить перемены (то есть не для сохранения приходящей в упадок системы, которую уже невозможно сохранить), а для того, чтобы направить их к созданию другой системы, хотя и совершенно отличной по форме от современной, но равно сохраняющей привилегии.

Этот выбор доступен и реален так же, как и другой. Вот почему социальная борьба реальна и будет проходить преимущественно внутри общественных движений и в науках. Вот почему «возникновение новой социальной мысли» не абстрактная материя, но предмет глубокой экзистенциальной потребности. Вот почему вопрос не

в мировом кризисе или мировой трансформации, но в том, какое преобразование мы сможем реализовать как модальность, посредством которой будет разрешен кризис. То, как мы будем действовать, и определит фактически наш коллективный «цивилизационный поиск».

¹ Пригожин И., Стенгерс И. *Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой*. М: Прогресс, 1986, с. 363, 370, 373, 383.

НАЦИОНАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ: К ВОЗМОЖНА ЛИ ВСЕМИРНАЯ I КУЛЬТУРА?

Само понятие «культуры» ставит нас перед грандиозным парадоксом. С одной стороны, культура *по определению* есть нечто партикуляристское. Культура — это система ценностей или практических форм поведения, присущих некоей части, меньшей, чем целое. Это верно, используется ли термин «культура» в антропологическом смысле, имея в виду ценности или практические формы поведения одной группы, противопоставленной любой иной на том же уровне дискурса (французская культура против итальянской, пролетарская против буржуазной, христианская против мусульманской и т. д.), или в беллетристическом смысле, имея в виду «высшие» ценности или практические формы поведения по сравнению с более «элементарными» внутри какой-то группы, смысле, который обычно отождествляет культуру с представлением, с производством художественных форм¹. При любом употреблении слова, «культура» — это то, что некоторые люди чувствуют или делают, в отличие от других, которые чувствуют или делают иначе.

Но, с другой стороны, не может существовать обоснования культурных ценностей и/или практических форм поведения иного, чем некие подразумеваемые универсальные или универалистские критерии. Ценности хороши не потому, что их придерживается моя группа; практические формы поведения хороши не потому, что их использует моя группа. Доказывать обратное было бы безнадежным солипсизмом и толкало бы нас либо к совершенно парализующему культурному релятивизму (поскольку аргументы подходили бы в равной мере к ценностям и/или практическим формам поведения любой иной группы), либо к абсолютно убийственной ксенофобии (поскольку ценности и/или практические формы поведения любой иной группы не могли бы считаться хорошими, а значит, и терпимыми).

Если я выбрал тему «национальное и универсальное», иначе говоря, если я выбрал национальное как образец особого, партикулярного, то я сделал так потому, что в нашей современной миросистеме национализм является квинтэссенцией (хотя отнюдь не единственной формой) партикуляризма, его формой с наиболее широкой аудиторией, с наиболее устойчивой поддержкой, с наибольшей политической ударной силой, с наиболее основательным вооружением в свою защиту.

Мой вопрос заключается в следующем: можно ли представить себе такую вещь, как всемирная культура? Беря во внимание два факта, вопрос может показаться абсурдным. Во-первых, на протяжении уже тысяч лет по меньшей мере некоторые люди выдвигали идеи, которые они считали универсальными ценностями или истинами. И во-вторых, на протяжении вот уже 200 лет, и с еще большей интенсивностью в течение последних 50 лет, многие (даже большинство) национальные правительства, как и всемирные учреждения, утверждали обоснованность и даже проводимость в жизнь таких ценностей и истин, например, в дискуссии о правах человека, которым ООН посвятила в 1948 г. Всеобщую декларацию.

Если я настаиваю на громадности парадокса, это связано с тем, что он является не только логическим, но и историческим. Так называемые нации-государства, основные вместилища культуры (не только культуры, разумеется, но нас сейчас интересует именно этот аспект), конечно же, являются сравнительно недавним образованием. Мир, хотя бы частично состоящий из таких наций-государств, появился лишь в XVI в. Такой мир был теоретически осмыслен и стал фактом широкого осознания еще позже, только в XIX в. И необратимо всеобщим феноменом он стал еще позже, фактически только после 1945 г.

Бок о бок с возникновением таких наций-государств, каждое со своими границами, со своими изобретенными традициями, шло движение мира к, так сказать, всемирному сознанию, сознанию того, что называется человечеством — всеобщей личностью, возвышающейся даже над так называемыми мировыми религиями, которые

на практике стремятся к тому, чтобы включать в свою вселенскость лишь тех, кто принадлежит к соответствующей религии.

И в увенчание этого двойного пути — исторического создания обособленных наций бок о бок с историческим созданием вселенского человечества — мы находим очень любопытную аномалию. Со временем отдельные нации-государства стали все больше и больше походить друг на друга по своим культурным формам. В каком государстве сегодня нет определенных стандартных политических форм: законодательного органа, конституции, бюрократии, профсоюзов, национальной валюты, системы образования? В самом деле в очень немногих! Даже в отличающейся большим своеобразием сфере художественных форм, у какой страны нет своих песен, своих танцев, своих музеев, своей драматургии, своей живописи, а теперь и своих небоскребов? И разве не социальные структуры обеспечивают все большее сходство этих художественных форм? Дело обстоит чуть ли не так, что чем напряженнее в мире националистические страсти, тем более идентичными кажутся выражения этого национализма. В самом деле, разве не является одним из важнейших националистических требований приобщение к тем формам, которыми уже обладают наиболее привилегированные страны?

Отчасти это, несомненно, результат культурной диффузии. Средства транспорта и связи, находящиеся в нашем распоряжении, становятся все лучше. Мы знаем об отдаленных уголках нашей планеты больше, чем предшествующие поколения. Но это должно привести нас и к размышлениям о том, что же заставляет нас отстаивать наши культурные различия и исключительности способами, которые как будто клонированы?

Давайте рассмотрим две альтернативные модели, попеременно выдвигающиеся для объяснения подобной ситуации. Первая из них представлена тезисом о линейной тенденции к возникновению единого мира. Первоначально, доказывают его сторонники, на земном шаре жило очень большое количество особых и отличающихся друг от друга групп. С ходом времени мало-помалу размах деятельности увеличивался, группы сливались, и шаг за шагом, с помощью развития науки и технологии мы идём к единому

миру — единому политически, экономически и культурно. Мы еще не достигли такого состояния, но путь, простирающийся перед нами, ясен.

Второе объяснение предлагает иную картину пути, но предсказанный исход более или менее тот же. Доказывается, что исторические различия всех групп всегда были поверхностными. В определенных ключевых, структурных моментах все группы были одинаковы. Несомненно, что существовало несколько различных структур, но они шли в определенной, описываемой одной моделью последовательности. Это, конечно же, теория стадий развития человечества, столь популярная в современной общественной науке с самого ее зарождения. Поскольку, в соответствии с этим методом теоретизирования, все «общества» проходят через параллельные стадии, мы приходим к тому же результату, что и в теории долгосрочной тенденции к единому миру. Мы заканчиваем единым, а значит, с общемировой культурой, человеческим обществом.

Но я задал вопрос — а возможна ли всемирная культура? Не должна ли она быть — переформулирую вопрос, — а может ли она быть? Кажется совершенно ясным, что существует какое-то глубокое сопротивление самой этой идее. Оно принимает форму, с одной стороны, многочисленных проявлений политического шовинизма, которые, похоже, вновь и вновь выходят на поверхность по всему земному шару. С другой стороны, оно принимает форму многочисленных так называемых контркультур, которые тоже, похоже, возникают вновь и вновь, и боевым кличем, *cri de coeur** всегда является протест против единообразия.

Я не думаю, чтобы оба классических объяснения — долгосрочная тенденция к формированию единого мира или теория стадий развития человечества — были бы очень полезными моделями. Несомненно, обе ухватывают некоторые элементы эмпирической реальности, которые мы считаем известными, но обе также недооценивают некоторые весьма заметные явления. И обе считают последовательными шагами (шагами судьбы?) то, что кажется вполне случайным.

* Крик души ((pp.)).

Я бы скорее начал с модели последовательных исторических систем, в которой несомненным является лишь то, что существовала и будет существовать некоторая последовательность систем, при открытости вопроса, какими могли бы быть содержание и форма этих систем.

Основная причина моего изначального скептицизма относительно понятия всемирной культуры происходит из ощущения, что определение культуры — вопрос обозначения политических в основе своей границ, пределов угнетения и пределов защиты от угнетения. Такие границы необходимо должны быть произвольными в том смысле, что основания для проведения границ именно здесь, а не в ином месте, редко (пожалуй, никогда) не являются логически строгими. Кто такие арабы? Что такое хорошая музыка? Или вообще что такое музыка? Является ли конфуцианство религией? Ясно, что границы зависят от определений, а эти определения не являются всеобщими признанными или хотя бы неизменными во времени. Более того, конечно же, в любой данный момент времени не все арабы говорят по-арабски, не все англичане — индивидуалисты, некоторые евреи и представители мусульманских народов являются атеистами. Иначе говоря, ясно, что, как бы мы ни определили культуру, не все члены обозначенной группы придерживаются предполагаемых для нее ценностей или практического образа действий. Тогда в каком же смысле такая группа разделяет единую культуру? И почему границы проведены там, где они проведены?

Позвольте мне начать обсуждение примером из X века. В те времена в Западной Европе происходило изменение в производственных отношениях, которое историки называют *incastellamento* (от итальянского слова *castello* — замок). Оно заключалось в строительстве замка могущественным лицом, которое стремилось использовать этот замок как базу, чтобы силой принудить окружающее крестьянское население — как свободных держателей, так и арендаторов — к юридическому и экономическому подчинению сеньору замка. Эти сеньоры успешно утверждали свое право господствовать, принуждать и расправляться по отношению к этим крестьянам. Что интересно с точки зрения нашего обсуждения — как часть этого процесса социального преобразования изменилась и терминология.

Похоже, что к XI в. те права, которые сеньоры в основном узурпировали силой в X в., стали официально обозначаться терминами «обычай» и «предания»². Таким образом, мы видим, по крайней мере в этом случае, что слово «обычай», базовый термин культурного дискурса, использовался, чтобы описать то, что, как мы знаем, было совсем недавно узурпированной властью. По сути дела, название этой практики «обычаем» было способом ее легитимации, то есть снижения уровня насилия, требуемого в каждый данный момент для ее поддержания. Называя нечто «обычаем», старались преобразовать это явление в «право». Попытка, очевидно, более или менее удалась.

Несомненно, не каждый крестьянин полностью принимал внутри себя идею, что его повинности сеньору были «правом» последнего, но многие делали это, и большинство детей затем социализировалось в этой культуре, так же как они научались определенному языку, идентифицировали себя с определенной религиозной практикой и были воспитываемы воспринимать определенные объекты как красивые. Наблюдательный приезжий, путешествующий из одного региона в другой, мог бы описать, как различались культуры различных регионов. Тот же самый путешественник, несомненно, мог бы также заметить нечеткость границ, где поле действия одной культуры пересекается с соседней культурой. Из чем более далекой страны был приезжий, тем больше территория, которую он мог бы считать входящей в границы единой культуры. То, что могло казаться «китайской» культурной зоной для Марко Поло, воспринималось бы как совокупность меньших по размеру зон купцом, рожденным внутри «китайской» (по восприятию Марко Поло) культурной зоны.

То, что могло бы называться подвижностью культуры, всегда было социальной реальностью и может лишь усиливаться с растущей плотностью человеческого расселения. Наверное, 100 тысяч лет назад, когда человечество состояло из некоторого количества мелких групп, живущих на большом расстоянии друг от друга, каждая из таких групп была сравнительно однородна в культурном отношении. Но не имеет смысла сегодня, или даже для периода так называемой писаной истории, воспринимать нас как живущих в культурно однородных группах. Каждый индивид — место встречи большого числа культурных особенностей. Если представить себе серию групп,

состоящих из всех личностей, где каждая из групп была бы носителем одной из культурных особенностей, находимых в отдельном индивиде, все группы отличались бы друг от друга по составу, хотя, несомненно, были бы и существенные пересечения. Это, помимо прочего, означает, что каждый индивид в сущности является уникальным сочетанием культурных характеристик. Используя сравнение с живописью, итоговый культурный пейзаж — очень тонкая смесь большого количества цветов, даже если мы ограничиваемся рассмотрением относительно небольшой общности (небольшой в пространственном или географическом отношении).

В этом смысле история мира была совсем не такой, как ее изображают сторонники тенденции к культурной гомогенизации; она описывалась скорее тенденцией к культурной дифференциации, культурному усложнению, культурному разнообразию. Однако мы знаем, что этот центробежный процесс вовсе не был направлен к вавилонскому столпотворению, чистой культурной анархии. Дело выглядит так, что существовали гравитационные силы, сдерживающие и организующие центробежные тенденции. В нашей современной миросистеме наиболее мощной из таких гравитационных сил была нация-государство.

При разрывании капиталистического мира-экономики появившиеся нации-государства были очень специфическим типом государства. Это было связано с тем, что они самоопределялись по отношению к другим государствам, вместе с которыми составляли межгосударственную систему. Нация-государство имела границы, определенные не просто внутренним законодательством, но не в меньшей степени признанием со стороны других государств, что часто находило формальное выражение в международных договорах. Нация-государство не просто имела границы, но и существовала очень сильная тенденция к тому, чтобы строить государства таким образом, что все их части являются смежными, внешняя граница государства представляет собой непрерывную замкнутую линию, по возможности не содержащую внутри себя анклавов. Это, разумеется, чисто формальное рассмотрение политической географии, но было бы ошибкой не замечать, сколь сильным и постоянным было Давление в сторону формирования именно такой морфологии.

Существовали некоторые дополнительные фактические правила создания межгосударственной системы. Не должно быть ничейной земли, зон, не являющихся частью какого-то конкретного государства. И все появившиеся в результате процесса государства должны были быть юридически равны, то есть каждое из них должно было быть «суверенным». Предполагалось, что это означает не только полную, но и исключительную власть каждого из государств внутри своих границ, а так же невозможность ни для кого избежать власти какого-нибудь государства.

Конечно, потребовалось несколько сот лет, чтобы включить все части земного шара в эту систему, сделать все части разделяющими одинаковые формальные признаки, установить более или менее устойчивые границы. На самом деле мы еще не вполне этого достигли. Но по сравнению, скажем, с 1648 г., когда был подписан Вестфальский договор, консолидировавший тогдашнюю европейскую систему государств, миросистема эры после 1945 г. (эры ООН) является образцом юридической ясности и стабильности.

Система в том виде, как она развилась, не только структурировала государства — элементы системы, но и определяла отношения каждого индивида к нации-государству. К XIX в. понятие «гражданства» получило широкое распространение. Предполагалось, что каждый человек является членом какою-то суверенного образования, причем только одного. На самом деле мы до сих пор бьемся над проблемой «лиц без гражданства», равно как и с проблемой «двойного гражданства», но основная модель была очевидна.

Таким образом был создан ряд ясно определенных общностей, каждая с единой территорией и точно определенным списком принадлежащих к ней индивидов. Осталась проблема, как приобретает гражданство. И эта проблема может вставать как при рождении, так и потом, в процессе жизни человека. При рождении существуют лишь две не произвольные возможности определения гражданства — приобретение гражданства генетически (по гражданству родителей) или географически (по месту рождения). Хотя вопрос о том, какой из двух методов предпочесть, вызывал яростные политические споры, преобладающей тенденцией было продвижение от опоры на генетически наследуемое гражданство к опоре на географическое обо-

снование прав гражданства. В ходе жизни также существовали две возможности — либо разрешалось легально изменить гражданство, либо нет. Мы продвинулись от невозможности к возможности, причем в последнем случае речь может идти как о приобретении нового гражданства, так и об отказе от старого. Законодательное оформление всего этого было сложным, процесс еще не вполне закончен, но направление развития ясно.

Если мы берем эти политические процессы как данность, то ясно, что они ставят невероятные «культурные» проблемы. Каждый индивид юридически принадлежит лишь к одной политической единице, а каждая из таких единиц призвана принимать целый ряд решений культурного характера, большая часть из которых является законодательно обязательной. В современных государствах существуют официальные языки, системы образования с определенным набором изучаемых предметов, армии, где предписывается определенное поведение, законы о въезде и выезде, законодательство о структуре семьи и о собственности (включая вопросы наследования) и т. д. В каждой из этих сфер должны приниматься определенные решения, и легко понять, почему государства, как правило, должны предпочитать единообразные решения, если они политически возможны. Помимо сфер, где вообще нельзя обойтись без принятия решений, есть области, где государство теоретически может оставаться нейтральным, но на практике так же наталкивается на необходимость принимать политические решения. С тех пор как государство стало основным механизмом распределения общественного дохода, государствам приходится предлагать финансовую поддержку науке и искусству во всем многообразии их форм. А поскольку располагаемый объем денег по определению ограничен, государство должно делать выбор как в науке, так и в искусстве. Ясно, что в любом государстве, после того как такие решения принимаются в течение 100 лет, будет существовать «национальная» культура, даже если ее не было в начале процесса. Особое прошлое, наследие приобретает институционализированный характер.

Но существует и иная реальность, экономическая. Наша современная миросистема является капиталистической мироэкономикой. Она функционирует, ставя на первое место бесконечное накопление

капитала, и последнее оптимизируется созданием очень широкого географически разделения труда, которое в наши дни охватывает весь мир. Разделение труда предполагает потоки — потоки товаров, потоки капитала, потоки рабочей силы; потоки значительные, но все же ограниченные. Это означает, что государственные границы должны быть проницаемы, и они действительно являются такими. В тот самый момент, когда создавались отличные друг от друга национальные культуры, указанные потоки разбивали эти отличия, просто порождая диффузию. Мы говорим именно об этом, когда обсуждаем постепенную интернационализацию культуры, которая бросается в глаза даже в тех областях, где кажется наименее вероятной — в повседневной жизни (привычные формы питания, стиль одежды) и в искусстве.

Однако не все в этом процессе диффузии протекает гладко. Люди регулярно пересекают границы, и не только в качестве временных посетителей. Люди передвигаются с целью работы, но делают это двумя отличными способами, или на двух разных уровнях. На верхних уровнях иерархии квалификаций люди регулярно переезжают из богатых стран в бедные, и они обычно являются временными жителями, а не эмигрантами. Они не «ассимилируются» и не хотят ассимилироваться. И принимающие государства вовсе не ждут от них ассимиляции. С культурной точки зрения они имеют тенденцию создавать сравнительно обособленные анклав в стране пребывания. Они часто рассматривают себя как носителей всемирной культуры, что на самом деле означает носителей культуры господствующих групп миросистемы.

Более распространен другой тип миграции, людей, стоящих на более низких уровнях иерархии квалификаций, переезжающих из более бедных стран в более богатые. Они часто поселяются там постоянно, или пытаются остаться на постоянное жительство. Когда они хотят ассимилироваться в национальную культуру принимающей страны; часто оказываются отвергнуты. А когда они отказываются от ассимиляции, от них требуют, чтобы они ассимилировались. Они становятся, обычно вполне официально, «меньшинством».

«Меньшинства» сегодня — не редкость; совсем наоборот. В каждой стране есть одно или несколько меньшинств, и их становит-

ся все больше и больше. Таким образом, мы имеем как диалектический процесс одновременного создания однородного мира и отличающихся друг от друга национальных культурах в его рамках, так и диалектический процесс одновременного создания однородных национальных культур и различных этнических групп или «меньшинств» внутри наций-государств.

Но между этими диалектическими процессами есть одно решающее различие. В двух параллельно развивающихся противоречиях — тенденция к единому миру против тенденции к отличающимся нациям-государствам, и тенденция к единой нации против тенденции к различным этническим группам внутри каждого государства — именно государства в обоих случаях имели первенство. Государства имели первенство по одной простой причине — они контролировали большую часть физической силы. Но в этих двух противоречиях государствам принадлежали разные роли. В первом случае они использовали свою мощь для создания культурного разнообразия, а во втором — для создания культурного единообразия. Это сделало государства самой мощной культурной силой современного мира и одновременно самой шизофреничной. И это справедливо по отношению к государству, имеем ли мы в виду относительно мощные державы, такие как США, Франция или СССР, или относительно слабые государства, такие как Эквадор, Тунис или Таиланд.

II

Культура всегда была оружием власть имущих. Именно это я старался проиллюстрировать очень короткой отсылкой на пример средневековой Европы. Но культура всегда была обоюдоострым оружием. Если власть имущие могут оправдывать экспроприации, делая их результатом «обычая», то и слабые могут апеллировать к законности тех же самых «обычаев», чтобы сопротивляться новым и отличным от уже произведенных экспроприациям. Несомненно, это 'неравная битва, но вовсе не безрезультатная.

Что особенно потрясает в политической истории современной миросистемы по мере ее исторического развития, так это все более частое и все более эффективное использование угнетенными эле-

ментов того, что в общем виде можно назвать культурным сопротивлением. Конечно, культурное сопротивление — вечная тема. Издавна существовали относительно стабильные народные культуры, которые утверждали свои ценности и свои формы в противовес культуре элит. И столь же издавна существовали конъюнктурные, связанные с конкретным стечением обстоятельств контркультуры в смысле групп, которые сознательно стремились вырваться из систем контроля, которым они были подчинены. Они часто были связаны с художественным производством в форме богемы или с производством утопий в форме новых религий. Но конъюнктурные контркультуры регулярно рекуперировались, теряя свою остроту. А сама стабильность народных культур была в той же степени их слабостью, как и силой. Они гораздо чаще служили средством социальной анестезии, чем орудием социальной революции.

То, что является новым в современном культурном сопротивлении, стало результатом социологического изобретения антисистемных движений в XIX в., имеющего в качестве ключевой идею, что оппозиция должна быть организованность, если она хочет преуспеть в преобразовании мира. Сегодня культурное сопротивление часто является организованным сопротивлением — не стихийным сопротивлением, не исконным сопротивлением, но запланированным сопротивлением.

Планирование культурного сопротивления похоже на планирование сопротивления политического: его эффективность является и его фатальным пороком. Когда антисистемное движение организуется, чтобы свергнуть или сменить существующую в государстве власть, оно обретает очень сильное политическое оружие, предназначенное, чтобы особым образом изменить мир. Но, организуясь так, оно одновременно интегрируется само и интегрирует своих активистов в ту самую систему, которой противостоит. Использование структур системы для противостояния системе отчасти легитимизирует эти структуры. Оспаривание идеологии системы путем апелляции к прошлому, к более широким идеологиям (то есть к более «универсальным» ценностям) означает частичное принятие дискуссии в тех терминах, которые определяются господствующими силами. Это противоречие, которого движение политического со-

противления не может избежать и с которым оно должно стремиться справиться как можно лучше.

Те же самые вещи справедливы и для организованного культурного сопротивления. Это неудивительно, поскольку культурное сопротивление — часть, и при том неотъемлемая часть, политического сопротивления. Если мы сознательно принимаем (или восстанавливаем) определенные культурные ценности, которыми пренебрегали или в которых сомневались, делая это, чтобы протестовать против навязывания культурных ценностей сильными тем, кто слабее, то мы уверены, что мы усиливаем слабых в их политической борьбе в рамках данного государства и в рамках миросистемы в целом. Но затем мы оказываемся вынуждены доказывать общезначимость принятых (или восстановленных) нами ценностей в терминах критериев, установленных властью имущими. Обвиняемые в «нецивилизованности», провозгласители восстановленных ценностей выдвигают в ответ положение, что именно они являются подлинно «цивилизованными». «Цивилизованность» (либо какой-то эквивалентный термин) таким образом становится универсальным критерием, которым оцениваются конкретные культурные акты — будь то акты художественного выражения или акты эстетического использования пространства и времени. Те, кто планирует культурное сопротивление, планируя восприятие определенной культуры, в результате (ре)легитимизируют понятие универсальных ценностей.

Кооптация культурного сопротивления в систему осуществляется двумя противоположными способами, которые комбинируются, чтобы лишить культурное сопротивление его *raison d'être*, способности быть сопротивлением. С одной стороны, власть имущие стремятся превратить культурное сопротивление в предмет потребления, тем самым лишая практику культурного сопротивления ее подлинной природы. Они создают высокий рыночный спрос на формы авангардной (и/или экзотической) художественной продукции. Они создают высокотехнологичные рыночные сети для распространения продукции, прежде ремесленного характера или даже нелегальной, средств повседневной жизни; то есть они преобразуют сферу част-

*Смысл существования (*фр.*).

ной жизни в полуобщественную. Они предоставляют публичное пространство, четко очерченное публичное пространство, нестандартным лингвистическим, религиозным, даже правовым формам.

Но дело не сводится к простой кооптации, к разновидности культурной коррупции. В не меньшей мере является фактом, что любое движение культурного сопротивления, которое добивается успеха, хотя бы частичного, в мобилизации значимой поддержки, вынуждено иметь дело с последствиями явления, которое Вебер назвал «рутинизацией харизмы». Мне кажется, что с рутинизацией харизмы можно иметь дело только двумя способам. Можно свести разницу сущностей к разнице форм. Таким образом можно гарантировать выживание организации, которая изначально пропагандировала сопротивление, но принося в жертву качество «сопротивления». Или же можно подтвердить качество сопротивления, перейдя от политики самоутверждения к политике прозелитизма. Это также может помочь организации выжить, но лишь в качестве протагониста некоего универсального начала. Это сдвиг от провозглашения альтернативных художественных форм, альтернативной религии, альтернативной эпистемологии к провозглашению единственной истины, которую необходимо навязывать силой.

Таким образом, в случае культурного сопротивления мы имеем те же самые дилеммы, как при сопротивлении на уровне борьбы за политическую власть в узком смысле слова. Противоречия планируемого сопротивления непреодолимы, и движениям приходится справляться с ними в меру своих сил.

Конечно же, можно попытаться проложить иной курс. Можно двигаться в направлении к анархии или либертарианизму как стратегии. Можно доказывать, что единственным способом культурного сопротивления, единственным способом культурного утверждения, обладающим какой-то ценностью, являются действия в качестве *franc-tireur**, противостояния индивида массе (всем массам, любой массе). И это, разумеется, было испытано, и не раз — будь то в форме так называемого искусства ради искусства, или в форме ухода за жизнь маленьких общин, или в форме нигилизма, или в форме ши-

* Вольный стрелок (*фр.*).

зофрении. Мы не должны упускать из виду эти различные формы сопротивления.

У этих способов культурного сопротивления, на которые можно навесить ярлык «индивидуалистические», есть огромные преимущества. Их легко осуществлять в том смысле, что они не требуют усилий по организации, или по крайней мере требуют меньших усилий. Они относительно спонтанны и в меньшей степени нуждаются в учете господствующих ценностей. Поэтому они в меньшей степени подконтрольны властям, и тем труднее кооптировать такое сопротивление. Эти формы сопротивления не ищут *организационного* триумфа, и потому меньше опасность вскормить среди тех, кто их практикует, искушение оправдывать себя универсалистским языком господствующей культуры. Индивидуалистические способы сопротивления по всем этим причинам более тотальны в качестве сопротивления, чем планируемые социальные способы.

Хотя дело и обстоит так, эти способы в свою очередь сталкиваются с трудностями. Поскольку индивидуалистические способы требуют меньшей социальной организации, носители культурной власти могут (и действительно так поступают) относиться к ним либо с пренебрежением, как к чему-то не заслуживающему внимания, либо суровым подавлением, на которое трудно ответить именно из-за отсутствия социальной организации.

Таким образом, преимущества и недостатки индивидуалистических форм культурного сопротивления зеркально отражают недостатки и преимущества планируемых форм культурного сопротивления. Вовсе не ясно, является ли баланс в конечном счете более или менее положительным. Более того, может ли индивидуальное сопротивление называться *культурным* сопротивлением? Если некто практикует деятельность, доступную лишь его же внутреннему слуху, то в каком смысле он разделяет культуру с кем-то еще, хотя бы с другим представителем индивидуалистического сопротивления? А если ответ состоит в том, что внутренний слух выводит на верный путь, не является ли это в еще большей степени апелляцией к универсалистским ценностям, поскольку в этом случае призыв к Универсализму не требует никакого контроля в форме социального Диалога?

Я никогда не думал, и не думаю, что мы можем успешно избежать противоречий планируемого культурного сопротивления путем обращения внутрь себя. Может быть, дело обстоит как раз противоположным образом: пожалуй, единственным способом минимизировать эти противоречия (хотя, конечно, от них никогда нельзя избавиться полностью) планируемого культурного сопротивления является *fuite en avant**, еще большая социальность нашего подхода.

III

Все это подводит нас к вопросу о всемирной культуре. Всемирная культура, всечеловечность многих мудрецов, в течение долгого времени отстаивались на том основании, что лишь они позволяют преодолеть провинциализм — и ограничения морального роста, и обскурантизм — культурных партикуляризов.

Давайте устраним из нашей дискуссии наивные концептуализации всемирной культуры, а именно те, которые всего лишь прикрывают попытки навязать особенную культуру в обликах *mission civilisatrice*** . Такие наивные концептуализации, несомненно, являются общим местом, но они — слишком легкая цель для нашего анализа. Давайте возьмем их более утонченные версии, защиту того, что Леопольд-Седар Сенгор назвал в своей прославленной фразе *Je rendez-vous du donner et du recevoir**** . Может ли состояться такой *rendez-vous*, и как он может выглядеть?

В определенном смысле понятие университета само по себе предполагает место такого *rendez-vous*. В конце концов, слова «университет» и «универсализм» имеют одни и те же этимологические корни. И любопытно, что в европейском средневековом словоупотреблении *universitas***** было также именем, данным форме особой культурной общности. Означало ли это, что университет, в смысле

универсальности, предполагался как место встречи университетов в смысле особых общностей? Очевидно, что с исторической точки зрения это очень сомнительно, но вновь и вновь предполагается, что университеты должны стать таким местом сегодня и в будущем.

Обсуждение во многих университетах в период после 1968 г. концепции «культурного многообразия» (и ее приложения к формированию учебных программ) является еще одним примером такого призыва. Мы сегодня сталкиваемся с очень причудливой ситуацией в ходе главной дискуссии в университетах США между, с одной стороны, теми, кто защищает вселенную (универс) культуры путем пропаганды исследований «черных» или женских исследований или превращение в безразмерные (если не вовсе устранение) так называемых канонов в литературе, и, с другой стороны, теми, кто защищает всемирную культуру, пропагандируя курсы изучения западной цивилизации. Мир в самом деле перевернулся вверх тормашками. Кажется, что обе стороны доказывают необходимость прийти к универсальному через партикулярное (отличаясь в том, какое партикулярное брать за исходный пункт).

И все же, является ли этот призыв к культурному многообразию, как предположил в отношении негритюда Сартр, гегелевским отрицанием отрицания? Будут ли когда-то в будущем отмирать не только государства, но и национальные культуры? И если им предназначено отмереть, увидим ли мы наконец образ хорошего общества? Или же это будет новый ад роботоподобного единообразия? Будет ли это реализацией старой антисоциалистической шутки: (Оратор): «Грядет революция, и каждый будет есть клубнику со сливками!» (Рабочий в аудитории): «Но я не люблю клубнику со сливками...» (Оратор): «Грядет революция, вам придется полюбить клубнику со сливками!»?

Я полагаю, что мы слишком долго избегали серьезных размышлений о культурных проявлениях посткапиталистического будущего, даже принимая во внимание вполне объяснимую озабоченность трудностями капиталистического настоящего. Предположим, что я прав, считая, что не может быть свободы вне эгалитарного мира и равенства вне свободного мира, что следует из этой посылки в царстве культуры — в искусствах и в науках? Является ли свободный

* Бегство вперед (*фр.*).

" Цивилизаторская миссия (*фр.*).

** Встречей дающего и принимающего (*фр.*).

*** Целость, совокупность; коллектив, корпорация (в том числе университетская) (*лат.*).

мир таким, где каждый прислушивается лишь к своему внутреннему голосу? Является ли эгалитарный мир таким, где все разделяют одни и те же универсальные ценности?

А если, как я стремился здесь доказать, культура — это коллективное выражение, боевое по природе, требующее «другого», то будет ли существовать «культура» в этом предполагаемом свободно/эгалитарном мире?

В этом пункте я могу отступить и сказать, что я не знаю, какой ответ верен. Я могу отступить и в другом направлении, сказав, что необходимо решать проблемы настоящего, а гипотетические вопросы могут подождать, но на самом деле я не убежден, что это будет правильным. Мне кажется совершенно неслучайным, что за последние 10-15 лет было так много дискуссий по проблемам «культуры». Они последовали за разрушением унаследованной от XIX века веры, что области экономического и политического — те места, где происходит общественный прогресс и тем самым вершится личное спасение. Некоторые обратились к Богу, а другие смотрят на «культуру», или «идентичность», или тому подобные реалистические иллюзии, чтобы помочь себе вернуться к своей ноше.

Я скептически отношусь к возможности, что мы сможем отыскать наш путь, взыскав очищенной всемирной культуры. Но я столь же скептически отношусь к попыткам увидеть в приверженности национальной, или этнической, или любой иной партикуляристской культуре нечто большее, чем костыль. Костыли — вовсе не глупость. Они часто нужны нам, чтобы восстановить нашу целостность, но костыли — по определению переходный и преходящий феномен.

Мое собственное предчувствие состоит в том, что наши утопии необходимо основывать на присущем любому явлению — физическому, биологическому или социальному — отсутствии долговременного равновесия. Поэтому мы никогда не будем иметь стабильного свободно/эгалитарного мира. Мы можем, однако, прийти к миросистеме, построенной таким образом, чтобы стремиться в направлении к свободе и эгалитаризму. Я совершенно не знаю, на что такая структура может быть похожей. Но, какой бы она ни была, я предполагаю, что с ней будет связано движение к свободе и равенству.

При таком взгляде на лучшее будущее я могу предвидеть, что на самом деле там будет место, причем постоянно, для культурного сопротивления. Способ борьбы против ухода от свободы и равенства будет состоять в создании и воссоздании партикуляристских культурных общностей — в искусствах, науках, образе жизни. Они часто будут провозглашаться старыми. Они будут социальными (не индивидуальными) партикуляризмами, имеющими целью (прокламируемой или нет) восстановление универсальной реальности свободы и равенства.

Конечно, это не может быть описанием лишь гипотетического будущего; хотя бы отчасти это может быть описанием того настоящего, в котором мы живем.

¹Я подробно обосновал различие между двумя использованиями термина «культура» в предыдущем докладе: *Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System*. In: Mike Featherstone, ed. *Global Culture, Nationalism, Globalisation and Modernity* (London, Newbury Park and Delhi: Sage, 1990), p. 31-56..

²См.: Isaaq Iohsua. *Leface cachee du Moyen Age* (Paris: La Breche, 1988), p. 21.

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 1917-1989: ЭЛЕГИЯ И РЕКВИЕМ

Начиная по крайней мере с XVI в. европейские мыслители обсуждали вопрос, как увеличить богатство королевства, а правительства стремились (или же их обязывали предпринимать шаги в этом направлении) сохранять и приумножать это богатство. Все споры, связанные с меркантилизмом, вращались вокруг того, как гарантированно добиться, чтобы в государство ввозилось больше богатства, чем вывозится из него. Когда Адам Смит в 1776 г. писал свое «Богатство наций», он подверг критике утверждение, что правительства могут наилучшим образом увеличивать это богатство, вводя различные ограничения внешней торговли. Взамен он проповедовал тезис, что максимизация возможностей индивидуальных предпринимателей действовать на мировом рынке так, как они полагают наиболее разумным, на самом деле приведет к оптимальному увеличению национального богатства.

Это противоречие между в основном протекционистской установкой и установкой на свободную торговлю стало одной из главных тем политической жизни в различных государствах миросистемы XIX столетия. Часто это был наиболее значимый из вопросов, разделявших основные политические силы конкретных государств. К тому времени стало ясно, что центральная тема идеологии капиталистического мира-экономики состоит в том, что любое государство может достичь высокого уровня национального дохода и в конце концов с высокой степенью вероятности его достигнет; существовала вера, что сознательные рациональные действия привели бы к такому результату. Это очень хорошо сочеталось с подчеркиванием просвещенческого мотива неизбежного прогресса и воплощавшегося в нем телеологического взгляда на человеческую историю.

К началу Первой мировой войны стало так же очевидным, что ряд стран Западной Европы, а также страны, созданные белыми переселенцами в других частях света, действительно стали, как го-

ворят сегодня, «развитыми» или по крайней мере далеко продвинулись по этому пути. Разумеется, по стандартам 1990-х все эти страны (даже Великобритания) были куда менее «современны» и богаты, чем они стали в более поздние годы, но по стандартам своего времени их дела шли великолепно. Первая мировая война стала шоком именно потому, среди прочего, что она казалась прямой угрозой общему процветанию того, что сегодня мы зовем сердцевинной зоной мира-экономики.

1917 год часто берется как идеологический поворотный пункт в истории современной миросистемы. Я согласен, что он был таковым, но не совсем так, как обычно доказывают. 2 апреля 1917 г. президент Вудро Вильсон обратился к Конгрессу США и призвал объявить войну Германии. Он говорил: «Мир должен быть безопасен для демократии». В том же году 7 ноября большевики штурмовали Зимний дворец во имя рабочей революции. Можно сказать, что в 1917 г. родилась великая идеологическая антиномия XX в. — вильсонизм против ленинизма. Я докажу, что она прекратила свое существование в 1989 г. Далее я докажу, что ключевой проблемой, к которой обращались обе идеологии, являлась политическая интеграция периферии миросистемы. И, наконец, я докажу, что в качестве механизма такой интеграции как вильсонизм, так и ленинизм рассматривали «национальное развитие», а существенные разногласия между ними были лишь в вопросе о путях такого развития.

I

Вильсонизм основывался на классических либеральных предпосылках. Он носил универсалистский характер, заявляя, что может применяться в равной мере повсюду. Он подразумевал, что каждый действует на основе рационально осознанного интереса и что, следовательно, каждый в конечном счете разумен. Поэтому мирная и реформистская практика рассматривалась в качестве реализуемой. Он уделял очень большое внимание законности и формальным процедурам.

Разумеется, ни одна из этих предпосылок не была чем-то новым. На самом деле в 1917 г. они выглядели вполне старомодно. Новация Вильсона (новация, а не изобретение) состояло в том, что

эти предпосылки были применены не только к индивидам внутри государства, но и к нациям-государствам, созданным народами, на международной арене. Принцип самоопределения, центральный пункт вильсонизма, был не более чем принципом индивидуальной свободы, перенесенным на уровень межгосударственной системы.

Взять теорию, применявшуюся только на уровне индивидов, и применить ее на уровне групп — довольно хитрый ход. Суровый критик, Айвор Дженнингс, сказал о вильсоновской доктрине самоопределения: «На первый взгляд она кажется разумной: пусть народ решает. На самом деле она смешна, потому что народ не может решать, пока кто-то не решит, кто является народом»¹. Эй, а насмешка и вправду попадает в цель!

И все же было ясно, что когда Вильсон говорил о самоопределении, он волновался не о Франции или о Швеции. Он говорил о ликвидации Австро-Венгерской, Оттоманской и Российской империй. И когда Рузвельт поколением позже вновь поднял эту тему, он говорил о ликвидации британской, французской, голландской и других еще остававшихся имперских структур. Самоопределение, о котором они говорили, было самоопределением периферийных и полупериферийных зон миросистемы.

Ленин стремился к очень схожим политическим целям под совсем иными политическими лозунгами пролетарского интернационализма и антиимпериализма. Его взгляды, несомненно, основывались на иных предпосылках. Его универсализм был универсализмом мирового рабочего класса, которому вскорости предстояло стать единственным классом, который можно буквально отождествить с «народом». Нации или народы не были долговременными персонажами марксистского пантеона; предполагалось, что они в конце концов исчезнут, как и государства. Но нации или народы в краткосрочном и даже среднесрочном плане были реальностью, которую марксистские партии не только не могли игнорировать, но и которая была тактически полезна для их целей.

Русская революция теоретически отвергала Российскую империю и стремилась к тому же самоопределению наций/народов, что и провозглашенное в доктрине Вильсона. А если большая часть империи была все же сохранена, большевики тщательно доказыва-

ли, что она приобрела форму добровольной федерации республик — СССР — с достаточным простором для формальной автономии народов, в том числе и внутри каждой из республик. И когда полностью отказались от надежд на мифическую германскую революцию, Ленин в Баку совершил поворот, провозгласив необходимость обратить особое внимание на «Восток». В результате марксизм-ленинизм ушел от своих начал как теории пролетарского восстания против буржуазии к новой роли теории антиимпериализма. Этот сдвиг в расстановке акцентов со временем лишь увеличивался. В последовавшие десятилетия, вероятно, больше людей читали ленинский «Империализм как высшую стадию капитализма», чем «Манифест коммунистической партии».

Вильсонизм и ленинизм возникли, таким образом, как соперничающие учения, рассчитывающие привлечь народы зон периферии. Поскольку доктрины соперничали, в пропаганде каждой из них ударение делалось на то, что отличало одну от другой. Конечно, в них были реальные различия. Но мы не должны закрывать глаза и на глубинное сходство. Обе идеологии не только поднимали общую тему самоопределения наций; они также верили, что она непосредственно (если и не всегда в срочном порядке) отвечает потребностям политической жизни зон периферии. То есть обе доктрины благоприятствовали тому, что позже стало называться «деколонизацией». Более того, сторонники обеих доктрин, когда дело доходило до детального определения, каковы же те конкретные народы, имеющие гипотетическое право на самоопределение, в основном давали очень сходные списки. На самом деле случались незначительные тактические стычки, связанные с преходящими соображениями мирового соотношения сил, но не было значимых примеров фундаментальных эмпирических разногласий. Израиль фигурировал в обоих списках, ни в одном не значился Курдистан. Ни тот, ни другой не признавали теоретическую легитимность бантустанов. Сторонники обоих не находили теоретических оснований возражать против возобновления Пакистана и Бангладеш. Нельзя было бы сказать, что применявшиеся способы оценки легитимности различались в основе.

Чтобы быть точным, различия существовали в вопросе о пути к самоопределению. Вильсонологи выступали за того, что называ-

лось «конституционным» путем, то есть за постепенную, упорядоченную передачу власти, достигнутую путем переговоров между имперской державой и полномочными представителями народа, судьба которого решается. Деколонизация должна была быть, как назвали это позже французы, *octroyee* (дарованной). Ленинизм исходил из «революционной» традиции и рисовал более повстанческий путь к «национальному освобождению». Независимость должна была быть не *octroyee*, а *arrachee* (вырванной). Этой позиции предстояло воплотиться в позднейший маоистский рецепт «затяжной борьбы», который неоднократно повторялся и стал частью фундаментальной стратегии антисистемных движений.

Но не следует преувеличивать даже это различие. Мирная деколонизация не была в ленинском учении чем-то неприемлемым — она оценивалась лишь как маловероятная. А революционный национализм не был изначально несовместим с вильсонскими идеями — он просто оценивался как опасный и потому его следовало повсюду, где возможно, избегать. И все же спор был вполне реальным, поскольку за ним скрывался другой спор: Кто должен возглавлять борьбу за самоопределение. А это, в свою очередь, было важно, поскольку, как предполагалось, предопределяет политику «после достижения независимости». Вильсонцы видели естественных руководителей национального движения в интеллигенции и буржуазии — образованных, респектабельных и благоразумных. Они предвидели местное движение, которое убедит более «умеренные» секторы традиционных руководящих групп присоединиться к политическим реформам и принять разумный, парламентский способ организации нового независимого государства. Ленинисты видели в качестве руководителя партию/движение, построенные по образцу большевистской партии, даже если национальное движение и не принимает ленинский канон целиком. Лидеры могут быть «мелкобуржуазны», если только окажется, что это революционные «мелкие буржуа». После прихода к власти партия/движение, как предполагалось, превратится в партию/государство. Здесь также не надо преувеличивать различий. Часто уважаемая интеллигенция/буржуазия и так называемые революционные мелкие буржуа на самом деле оказывались одними и теми же людьми, или по меньшей мере кузенами. А партия/движение оказывалось

формулой «вильсонских» движений почти столь же часто, как и «ленинистских». Что же касается политики после достижения независимости, ни вильсонцы, ни ленинисты не слишком-то озабочивались этим вопросом, пока шла борьба за независимость.

II

Как же, в таком случае, обстояло дело с постдеколониационной практикой? Здесь вильсонско-ленинистская дихотомия, несомненно, показала свою значимость. По крайней мере в одном важном аспекте не вызывает вопросов, что два пути к независимости коррелировали в тенденции с противоположными политическими линиями в период после получения независимости. Это происходило во внешней политике. Во всех вопросах мировой политики, по которым США и СССР сцепились в «холодной войне», государства вне зоны сердцевины склонялись либо в одном, либо в другом направлении. Некоторые государства считались и сами себя считали «прозападными», а другие рассматривали себя как часть всемирного прогрессивного лагеря, включавшего СССР.

Конечно же, существовал широкий континуум позиций, и не все государства сохраняли свою позицию неизменной. Неприсоединение само по себе было крупным явлением. И тем не менее, когда кости были брошены, в не очень важных делах, например при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН, голосование многих стран было легко предсказуемым. США и их союзники с одной стороны, СССР и так называемый социалистический блок на другой тратили много энергии в дипломатических усилиях, пытаясь подтолкнуть колеблющиеся государства на ту или другую сторону. Борьба вильсонской пропаганды против ленинистской велась беспрестанно, прямо через государственные СМИ и косвенно посредством ученых дискуссий.

Пристальный взгляд на внутреннюю ситуацию различных государств показывает, однако, что как в политической, так и в экономической сфере существовало меньше различий, чем это пытались представить теория или пропаганда. В терминах функционирующих политических структур большинство государств были либо однопартийными (*de jure* или *de facto*) государствами, либо военны-

ми диктатурами. Даже если в государстве была формальная многопартийная система, существовала тенденция одной партии господствовать в государственных учреждениях и не допускать смены режима иначе, как с помощью военного переворота.

Не больше различий можно было обнаружить и в сфере экономики. Частное предпринимательство могло допускаться в большей или меньшей степени, но почти во всех государствах третьего мира был мощный государственный сектор, а с другой стороны, практически нигде государственная собственность не была единственно допустимой. Несомненно, в большей мере варьировался уровень допустимости иностранных капиталовложений. В более «прозападных» государствах они поощрялись, их на самом деле домогались, хотя очень часто в форме совместных предприятий с государственными корпорациями. В более радикальных или «прогрессивных» государствах к иностранным инвестициям относились более подозрительно, хотя очень редко отвергали их полностью. Скорее инвесторы из стран ОЭСР с трудом соглашались делать капиталовложения в эти страны, поскольку здесь был выше политический риск.

Наконец, не были совершенно различны и картины с оказанием помощи. На самом деле все страны третьего мира активно стремились получить помощь в форме как прямых грантов, так и займов. Строго говоря, оказывавшие помощь доноры стремились увязывать свою поддержку с внешнеполитическими позициями потенциальных получателей. Длинный список стран получал помощь главным образом из стран ОЭСР. Менее длинный список — в основном из стран социалистического блока. Несколько стран вполне сознательно сосредоточивали свое внимание на скандинавских странах (плюс Нидерланды и Канада) как источниках предоставления помощи. Большое количество государств было готово принимать помощь из разных источников. В конечном счете большая часть помощи приобретала одну и ту же форму: гранты на обучение персонала и связанные с этим задачи, ориентированные на поддержку военных структур, а также финансирование так называемых проектов развития.

Что было самым похожим во всех этих странах, так это вера в возможность и настоящую важность «национального развития». Национальное развитие операционально понималось повсюду как

задача «догнать» передовые страны. Конечно, каждый, имевший дело с проблематикой, понимал, что это требующая длительного решения и сложная задача. Но вместе с тем предполагалось, что она выполнима, лишь бы правильной и последовательной была *государственная* политика. В это представление вмещалась вся идеологическая гамма — от облегчения неограниченного движения капиталов, товаров и труда через национальные границы (одна крайность) до тотального государственного контроля за операциями производства и контроля внутри закрытых в основном государственных границ (другая крайность). И, разумеется, большое разнообразие промежуточных позиций.

Что, однако, было общим для программ всех не принадлежащих к сердцевине государств-членов ООН — от СССР до Аргентины, от Индии до Нигерии, от Албании до Сент-Люсии — это всеобъемлющая государственная цель подъема национального богатства и «модернизации» экономической инфраструктуры. Что еще было общим — подчеркнутый оптимизм в вопросе достижимости этой цели. Что еще было общим — ощущение, что цель может быть наилучшим образом достигнута полным участием межгосударственной системы. Когда государство было исключено из нее, хотя бы частично, как Китайская Народная Республика в течение многих лет, оно напряженно работало по восстановлению своего бесспорного статуса полного члена такой системы.

Коротко говоря, вильсонско-ленинская идеология самоопределения наций, их абстрактного равенства и девелопменталистская парадигма, воплощенная в обоих вариантах идеологии, безраздельно и на самом деле безоговорочно принимались в качестве программы действий политическими движениями периферийной и полупериферийной зон миросистемы.

В этом смысле сам СССР был первым проверочным примером пригодности и применимости рекомендаций. Постреволюционное государство было формально структурировано как федерация государств, каждое из которых включало в себя автономные единицы более низкого уровня — это должно было точно соответствовать юридической формуле самоопределения. Когда Ленин выдвинул лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация», он тем

самым выдвинул национальное (экономическое) развитие как приоритетную цель государственной политики. А когда Хрущев, спустя несколько десятилетий, заявил, что Советский Союз «похоронит» США к 2000 г., он дал выход высшему проявлению оптимизма относительно возможности «догнать».

Все эти темы стали звучать громче в межвоенный период — в Восточной и Центральной Европе, в Латинской Америке, Индии и повсюду². Изначальным предметом великой гордости СССР было то, что в 1930-е гг., в период мировой экономической депрессии, в СССР не только не было безработицы, но и осуществлялась программа ускоренной индустриализации.

После 1945 г. всемирный хор голосов о возможностях национального развития зазвучал еще громче. Казалось, сравнительно быстрое восстановление Западной Европы и Японии (после массовых разрушений военного периода) демонстрирует, что при наличии воли и капиталовложений возможно быстро осовременить технологию и тем самым поднять общий уровень жизни. Обсуждение темы экономического развития — среди политиков, журналистов, ученых — вдруг обрело характер пандемии. Забытые уголки уже индустриализованных стран (юг США, юг Италии и т. д.) стали целью политики «развития». Развитие было необходимо и в третьем мире — частично через самопомощь, частично при поддержке более передовых «развитых» стран. ООН официально провозгласила 1970-е гг. «декадой развития».

В университетских кругах мира «развитие» стало новой темой, организующей интеллектуальную жизнь. В 1950-х гг. была выработана либеральная парадигма — «теория модернизации», с тем чтобы встретить противовес себе в виде контрпарадигмы — марксистствующей «теории зависимости», выработанной в 1960-х гг. Конечно же, по сути это было осовремениванием вильсонско-ленинистской антиномии. Вновь на практике специфические рекомендации для государственной политики могли быть противоположно направлены, но обе теоретические системы включали в себя специфические рекомендации для государственной политики. Стороники обеих систем, выступавшие консультантами правительств, были убеждены, что если бы их рекомендации были применены, и в самом деле последовало

бы национальное развитие и те страны, о которых шла речь, действительно бы сравнялись с более передовыми.

Мы знаем, что случилось в действительности. Примерно между 1945 и 1970 гг. были предприняты значительные практические усилия по распространению средств производства и подъему его уровня по всему миру. Именно в этот период ВВП и ВВП на душу населения стали основным орудием измерения экономического роста, который, в свою очередь, стал рассматриваться как основной индикатор экономического развития.

Это был период фазы А кондратьевского цикла с необычной амплитудой. Объем роста весьма сильно разнился в разных частях мира, но в целом везде показатели шли вверх, в том числе далеко не на последних местах были так называемые социалистические страны. Тот же период был временем политического триумфа большого количества движений в третьем мире, которые использовали стратегию борьбы за государственную власть с целью тем самым осуществлять политику, которая обеспечила бы национальное развитие. Все, казалось, движется в одном и том же позитивном направлении: общемировое расширение экономики; осуществление в одном государстве за другим вильсонско-ленинистских предвидений; почти повсеместные прогрессирующие темпы роста. Девелопментализм стоял в повестке дня; существовал общемировой консенсус по поводу его законности и неизбежности.

Этот консенсус, однако, получил два удара, от которых он не оправился и, как я убежден, уже не оправится. Первым ударом была общемировая революция 1968 г. Вторым — общемировая экономическая стагнация периода 1970-1990 гг., экономический провал почти всех правительств периферийной и полупериферийной зон и коллапс режимов в так называемых социалистических государствах. Идеологическая скорлупа была взломана мировой революцией 1968 г. 1970-е и 1980-е сорвали остатки идеологических покровов. Открылась и была выставлена напоказ зияющая рана поляризации между Севером и Югом. В этот момент мир в отчаянии тихонечко мычит песнопения о рынке как всеисцеляющем средстве, как будто он может исцелить хоть что-нибудь. Но рыночное лекарство ядовито, как хромовые соли ртути, и не предотвратит дальнейшего ухудшения. Мало-

вероятно, что большая часть государств, отвергающих сейчас «социалистические» лозунги во имя «рыночных», увидит в 1990-е гг. существенное улучшение уровня жизни. В конце концов подавляющее большинство не принадлежащих к сердцевине государств, которые были привержены рыночным лозунгам в 1980-х гг., чувствуют себя неважно. Ссылаются всегда на редкие истории «успеха» (сейчас героем дня является Южная Корея), пренебрегая куда большим количеством случаев провала, не говоря уже о тех случаях, когда широко разрекламированный «успех» как-то незаметно «увял» — достаточно вспомнить Бразилию.

* Но главная проблема, однако, не в том, привела ли политика конкретного государства к экономическому развитию или нет. Главная проблема — продолжит ли существовать широко распространенная вера в возможность экономического развития как результата какой-то особой государственной политики.

III

Общемировая революция 1968 г. выросла из ощущения, что национальное развитие не состоялось; она еще не была следствием осознания того, что сама цель была иллюзорной. Для всех восстаний (на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге) общими были две темы, какими бы разнообразными ни были местные детали. Первой темой был протест против гегемонии США в миросистеме (и тайного соучастия СССР в осуществлении этой гегемонии). Второй — протест против неэффективности движений так называемых «старых левых», которые пришли к власти в различных вариантах по всему миру — социал-демократия на Западе, коммунизм на Востоке, национально-освободительные движения на Юге. На эти движения нападали за то, что они не совершили действительного преобразования мира, как они обещали в те дни, когда переживали период мобилизации. На них нападали за то, что они в слишком большой степени стали частью господствующей миросистемы и слишком мало проявляли себя как антисистемные³.

Смысл того, что участники различных восстаний говорили «старым левым» политическим движениям, состоял в том, что их организационная деятельность привела к достижению формальных по-

литических целей, которые они себе исторически поставили — прежде всего получение государственной власти, — но они совершенно точно не достигли большего равенства людей, которое полагалось главной целью получения государственной власти. С другой стороны, общемировая привлекательность «маоизма» в этот период была связана с тем, что тот максимально энергично и решительно выражал это двойное отрицание: гегемонии США (и тайного сговора с ними СССР) и общей неэффективности «старых левых» движений. Однако маоизм выдвигал аргументы, что причины ошибок лежат в плохом руководстве «старых левых» движений, что их руководители, говоря маоистским языком, являются «каппутистами». Отсюда следовало, что как только движения отвергнут «каппутистов», как только они проведут «культурную революцию», тогда наконец и конечная цель национального развития будет достигнута.

Значение общемировой революции 1968 г. было не в тех политических изменениях, которые она принесла. К 1970 г. восстания были повсюду подавлены либо выдохлись. Значение состояло и не в новых идеях, которые выдвинула революция. Маоизм имел короткий успех в 1970-е гг., но распался к середине десятилетия, и прежде всего в самом Китае. Темы новых социальных движений — культурный национализм «меньшинств», феминизм, экология — оказались более устойчивы, чем маоизм, но им еще предстоит обрести прочную идеологическую основу. Значение 1968-го скорее в том, что он пробил брешь в консенсусе по поводу вильсонизма-ленинизма, поставив под вопрос, действительно ли идеология девелопментализма добилась чего-нибудь, имеющего долгосрочное значение. Он посеял идеологические сомнения и подорвал веру.

Как только вера пошатнулась, как только общепризнанная теория стала лишь одной из возможных версий (хотя и пользующейся наиболее широкой поддержкой), появилась возможность того, что жизнь сама приведет к стиранию этого барьера. Так и случилось в 1970-1980-х гг. Переход к мировой экономической стагнации, фазе Б кондратьевского цикла, выразился в двух драмах. Первой было повышение ОПЕК цен на нефть в 1970-х, второй — кризис задолженности 1980-х.

Повышение ОПЕК цен на нефть первоначально осмысливалось как явление, дающее обновленные доказательства возможностей национального развития. Казалось, оно демонстрирует, что производители сырья на Юге могут согласованными усилиями существенно повлиять на условия торговли. Первоначальная истерия в западном общественном мнении питалась именно такой интерпретацией. Но прошло немного времени, и возобладал более трезвый подход. Что же произошло на самом деле? Страны ОПЕК, руководимые шахом Ирана и саудовским монархом (ведущими друзьями США среди стран ОПЕК, заметим), драматичным образом подняли цены на нефть, направив тем самым значительную часть мирового прибавочного продукта в свои руки. Это означало очень существенную утечку средств из всех стран третьего мира и социалистических стран, которые не являлись нефтепроизводителями, в то время как мировой рынок для их экспорта сужался. Утечка средств из основных индустриально развитых стран также была важна, но значительно менее существенна в относительном выражении, и была более кратковременной, поскольку эти страны имели больше возможностей предпринять шаги по реструктурированию своего энергопотребления.

Что случилось с прибавочным продуктом, проходившим через нефтепроизводящие страны? Часть его, конечно, пошла на программы «национально развития» нефтепроизводящих стран, таких как Нигерия, Алжир, Ирак, Иран, Мексика, Венесуэла и СССР. Часть пошла в массированное потребление предметов роскоши, что означало его перевод в страны ОЭСР — через покупку товаров, капиталовложения или индивидуальную утечку капитала. А остальные деньги были размещены в банках США и Европы. Эти деньги, размещенные в банках, были затем вновь направлены в третий мир и социалистические страны (даже нефтепроизводящие) в виде государственных займов. Эти займы разрешали текущие проблемы платежного баланса этих государств, который был в плохом состоянии именно из-за повышения цен на нефть. Благодаря займам правительства могли отеснить на время политическую оппозицию, используя деньги на поддержание импорта (даже в условиях падающего экспорта). Это, в свою очередь, поддерживало мировой спрос на промышленные товары стран ОЭСР и та-

ким образом уменьшало влияние на них всемирной экономической стагнации.

Уже в 1970-е гг. значительное число государств третьего мира начало ощущать влияние падения темпов роста в сочетании с истощением финансовых и социальных резервов. К 1980-м это влияние стало ощущаться повсеместно (за исключением Восточной Азии). Первым значительным общественным выражением кризиса задолженности стали события в Польше в 1980 г. Правительство Терека играло в 1970-х, как и все прочие, в игру «займи и потрать». Но пришло время платить по счетам, и польское правительство, стремясь сократить расходы, решило повысить внутренние цены, перекладывая бремя на польский рабочий класс. Результатом стали забастовка в Гданьске и возникновение «Солидарности».

В 1980-е гг. мы стали свидетелями каскада экономических трудностей в странах периферии и полупериферии. Практически повсюду присутствовали два идентичных элемента. Первым было недовольство народа режимом, стоящим у власти, с последующим политическим разочарованием. Даже когда режимы свергались — насильем и в результате собственной гнилости, были ли то военные диктатуры, или власть компартий, или однопартийные африканские режимы, — давление в пользу политических изменений носило в большей мере негативный, чем утверждающий характер. Изменения порождались не столько надеждами, сколько отчаянием. Вторым, элементом было жестокое финансовое лицо, которым повернулись страны ОЭСР. Сталкивающиеся с собственными экономическими трудностями, они демонстрировали весьма мало готовности с пониманием и терпением отнестись к финансовым дилеммам третьего мира и социалистических правительств. Последним были предъявлены жесткие условия МВФ, которые необходимо было выполнить для получения смехотворной по объемам помощи, их стали поучать о добродетелях рынка и приватизации. Кейнсианская снисходительность 1950-1960-х гг. ушла в прошлое.

В начале 1980-х гг. страны Латинской Америки увидели волну Разрушения военных девелопменталистских диктатур; они открыли для себя «демократию». В арабском мире девелопменталистские светские режимы подверглись ожесточенным атакам исламистов. В

Черной Африке, где когда-то однопартийность была несущей конструкцией общества и надеждой на развитие, миф развеялся. И большим сюрпризом для мира оказались драматические преобразования 1989 г. в Восточной и Центральной Европе, хотя их черты были четко прописаны уже в польских событиях 1980 г.

В Советском Союзе, где в известном смысле и начался великий путь к развитию, мы стали свидетелями распада КПСС и самого СССР. Когда девелопменталисты потерпели поражение в Бразилии или Алжире, можно было доказывать, что это случилось потому, что они не шли по пути СССР. Но когда они потерпели поражение в СССР?..

IV

История 1917-1989 гг. достойна быть воспетой в элегии и в реквиеме. Элегия — о торжестве вильсоновско-ленинских идей самоопределения наций. В эти 70 лет мир в основном стал деколонизованным. Мир вне Европы интегрировался в формальные политические институты межгосударственной системы.

Эта деколонизация была отчасти *octroyee*, отчасти *arrachee*. В ходе этого процесса по всему миру понадобилась невероятная политическая мобилизация, которая повсюду пробудила политическое сознание. Очень трудно будет вновь загнать джинна в бутылку. На самом деле, главная проблема — как сдерживать распространяющийся вирус микронационализма, когда все меньшие общности стремятся провозгласить себя народами, имеющими право на самоопределение.

С самого начала, однако, было ясно, что каждый хотел самоопределения с целью проложить свой путь к процветанию. И с самого начала путь к процветанию признавался очень сложным. Как мы уже доказывали, он оформился как стремление к национальному развитию. И это стремление в долгосрочном плане было в большей мере совместимо с ленинской, а не вильсоновской риторикой, так же как борьба за деколонизацию лучше сочеталась с вильсоновской риторикой.

Поскольку процесс состоял из двух стадий — сначала деколонизация (или сопоставимое политическое изменение), затем экономи-

ческое развитие — это означало, что вильсоновская часть пакета всегда поджидала своего ленинского выполнения. Перспектива национального развития служила легитимизации общей структуры миросистемы. В этом смысле судьба вильсоновской идеологии зависела от судьбы ленинской идеологии. Говоря более грубо и менее добрыми словами, ленинская идеология была фиговым листком вильсоновской идеологии.

Сегодня фиговый листок отпал, и король — голый. Все вопли о торжестве демократии в мире в 1989 г. не надолго скроют отсутствие серьезных перспектив экономической трансформации периферии в рамках капиталистического мира-экономики. Таким образом, не ленинцы будут петь реквием по ленинизму, но вильсоновцы. Это они в затруднительном положении и не имеют убедительных политических альтернатив. Это было остро схвачено дилеммой невозможности победы президента Буша в кризисе в Персидском заливе. Но этот кризис — лишь начало истории.

По мере того как конфронтация Север-Юг будет приобретать в грядущие десятилетия все более драматичные (и насильственные) формы, мы начнем понимать, как много потерял мир в идеологическом цементе вильсоновско-ленинской идеологической антиномии. Она представляла собой славное, но исторически преходящее облачение идей, надежд и человеческой энергии. Ее непросто будет заменить. И тем не менее, лишь найдя новое и гораздо солиднее обоснованное утопическое видение, сможем мы преодолеть надвигающееся время потрясений.

¹ Sir W. Ivor Jennings. *The Approach to Self-Government* (Cambridge: At the University Press, 1956), p. 56.

² Литература по этому вопросу изобильна. См. обзоры в: Joseph L. Love. *Theorizing Underdevelopment: Latin America and Romania, 1860-1950*, *Review* 11, no. 4 (Fall 1988), p. 453-496; Bipan Chandra. *Colonial India: British versus Indian Views of Development*, *Review* 14, no. 1 (Winter 1991), p. 81-167.

"Я более подробно обсуждаю значение 1968 года в работе: *1968, Revolution in the World-System, Geopolitics and Geoculture: Essays in the Changing World-System* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991), p. 65-83. (См. в настоящем издании очерк «1968-й — революция в миросистеме».)

КОНЕЦ КАКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ?

Когда я учился конце 1940-х в колледже, нас учили о достоинствах «современности» и правилах существования в ней. Сегодня, почти полвека спустя, нам говорят о достоинствах и правилах постсовременного (постмодернистского) существования. Что же случилось с современностью, что превратило ее из нашего спасителя в нашего демона? Одно ли и то же — та современность, о которой мы говорили тогда и говорим теперь? При конце какой современности мы присутствуем?

Оксфордский словарь английского языка (ОСАЯ), первая книга, в которую надо заглянуть, если что-то неясно, дает нам историографическое толкование смысла слова «современный»: «обычно применяется (в противопоставлении древнему и средневековому) ко времени, наступившему после Средних веков». ОСАЯ цитирует автора, использовавшего слово «современный» в этом смысле еще в 1585 г. Далее ОСАЯ сообщает нам, что «современный» означает также «относящийся к или появившийся в текущую эпоху или в текущий период»; исходя из этого толкования слова «постсовременный», «постмодернизм» являются оксюморонами и должны быть подвергнуты, как я полагаю, деконструкции.

Около 50 лет тому назад у слова «современность» было два четких оттенка значения. Один был позитивным и ориентированным вперед. Современное означало самые передовые технологии. Термин рассматривался в контекстуальных рамках предположения о бесконечности технологического прогресса и, следовательно, непрерывного обновления. Так понимаемая современность была текучей современностью — то, что современно сегодня, устареет завтра. Эта современность была вполне материальная по форме — самолеты, кондиционеры, телевизоры, компьютеры. Апелляции к этому типу современности не истощились еще и сегодня. Несомненно, существуют миллионы детей нового поколения, утверждающих, что они отвергают это вечное стремление к скорости и господству над окружающей средой как нечто нездоровое, по сути мерзкое. Но есть мил-

лиарды — миллиарды, а не миллионы — людей в Азии и Африке, Восточной Европе и Латинской Америке, в трущобах и гетто Западной Европы и Северной Америки, которые хотели бы наслаждаться всей полнотой такого рода современности.

Существовал, однако, и второй основной оттенок значения понятия «современный», более оппозиционный, чем утверждающий. Этот оттенок можно было бы охарактеризовать не столько как ориентированный вперед (и самодовольный), сколько как воинствующий, не столько как материальный, сколько идеологический. Быть современным означало быть антисредневековым, в антиномии, где понятие *средневековый* воплощало в себе узость мысли, догматизм и, в прежде всего, власть авторитета. Таким был Вольтер, восклицающий «Ecrasez l'infame»*. Таким был Мильтон, прямо-таки превозносящий Люцифера в своем «Потерянном рае». Таковы все классические революции — разумеется, английская, американская, французская, но так же и русская с китайской. В США таковыми были доктрина отделения церкви от государства, десять первых поправок к Конституции США, провозглашение освобождения рабов, Клэрнс Дарроу на «обезьяннем процессе», дела «Браун против Управления образования» и «Роу против Уэйда».

Коротко говоря, это был предполагаемый триумф человеческой свободы над силами зла и невежества. Это был путь неизбежного прогресса как технологического развития. Но это не был триумф человека над природой; скорее это была победа человечества над самим собой или над теми, кто обладал привилегиями. Эта современность шла не дорогой интеллектуальных открытий, а дорогой социальных конфликтов. Эта современность была не современностью технологии, раскованного Прометея, беспредельного богатства; скорее это была современность освобождения, сущностной демократии (власть народа в противовес власти аристократии, или правлению «лучших»), самореализации человека и — о да! — модернизации. Эта современность освобождения была не текучей, но вечной современностью. Однажды достигнутая, она не может быть Уступлена.

Раздавить гадину (*фр.*).

Две истории, два дискурса, два стремления, две современности совершенно отличались друг от друга, даже противостояли друг другу. Они были, однако, также исторически тесно переплетены друг с другом, так что это приводило к глубоким заблуждениям, неопределенным результатам, многочисленным разочарованиям и краху иллюзий. Эта символическая пара создала центральное культурное противоречие нашей современной миросистемы, системы исторического капитализма. И это противоречие никогда еще не было столь острым, как сегодня, когда оно ведет к моральному, равно как и к институциональному, кризису.

Давайте проследим историю этого сбивающего с толку симбиоза двух современностей — современности технологии и современности освобождения — в течение всей истории нашей современной миросистемы. Я разделю свой рассказ на три части: 300–350 лет, которые прошли от возникновения нашей современной миросистемы в середине XV до конца XVIII в.; XIX и большая часть XX в., или, если использовать для определения этого второго периода символические даты, эра от 1789 до 1968 г.; период после 1968 г.

Современная миросистема никогда не совмещалась полностью с идеей современности, но в каждый из трех периодов по разным причинам. В течение первого периода лишь часть земного шара (главным образом, большая часть Европы и обеих Америк) составляли эту историческую систему, которую мы можем называть капиталистическим миром-экономикой. Это обозначение, которое мы действительно вправе использовать для системы этой эпохи, прежде всего потому, что в системе уже присутствовали три определяющие черты капиталистической мирэкономике. В ее рамках существовало единое осевое разделение труда с поляризацией свойственных центру и периферийных видов экономической деятельности. Основные политические структуры, государства, были связаны друг с другом внутри межгосударственной системы и ограничены ею; границы межгосударственной системы соответствовали границам осевого разделения труда. Те, кто преследовал цель бесконечного накопления капитала, в среднесрочном плане получали преимущество над теми, кто не делал этого.

Тем не менее геокультура этого капиталистического мира-экономики в первый период еще не утвердилась. На самом деле это

был период, когда у различных частей мира, включенных в капиталистический мир-экономику, отсутствовали ясные геокультурные нормы. Не существовало хотя бы минимального социального консенсуса по таким основополагающим проблемам, как: должно ли государство быть светским; кто является источником суверенитета; насколько законна частичная корпоративная автономия интеллектуалов; допустима ли в обществе множественность религий. Все это хорошо знакомо из истории. Она выглядит историей того, как обладающие властью и привилегиями пытаются сдерживать силы прогресса в ситуации, когда первые все еще контролируют основные политические и общественные институты.

Принципиальная вещь, которую следует отметить, — в течение этого долгого периода те, кто защищал современность технологии, и те, кто защищал современность освобождения, имели в основном одних и тех же могущественных врагов. Две современности, казалось, выступали в тандеме, и мало кто мог бы найти язык, которым возможно описать различия между ними. Галилей, принужденный покориться церкви, но тихо бормочущий (вероятнее всего, это апокриф) «*Errur si muove*»*, рассматривался как борец и за технологический прогресс, и за освобождение человека. Можно было бы резюмировать мысль Просвещения, сказав, что ее суть состояла в вере в идентичность современности технологии и современности освобождения.

Если культурное противоречие и существовало, то оно состояло в том, что капиталистический мир-экономика экономически и политически функционировал в системе, где отсутствовала геокультура, необходимая, чтобы поддерживать и усиливать эту систему. Последняя, таким образом, оказывалась плохо приспособленной к своим собственным динамическим нагрузкам. Ее можно было бы осмыслить как нескоординированную или борющуюся против самой себя. Постоянная дилемма системы носила геокультурный характер. Это требовало серьезных изменений, если капиталистический мир-экономика собирался процветать и расширяться, как того требовала его внутренняя логика.

И все-таки она вертится (ни.)

Французская революция с особой силой обострила проблему, не только для Франции, но и для современной миросистемы в целом. Французская революция не была изолированным явлением. Ее следует осмысливать скорее как глаз урагана. Она была связана (как с предшественниками или как с последствиями) с деколонизацией Америк — британской Северной Америки, испанской Америки и Бразилии; революцией рабов на Гаити; с неудачными восстаниями коренных американцев, такими, как восстание Тупака Амару в Перу. Французская революция была связана с и служила стимулом для борьбы за освобождение разного рода и зарождения различных видов национализма повсюду в Европе и на ее границах — от Ирландии до России, от Испании до Египта. Она делала это не только вызывая отзвук симпатий к французским революционным доктринам, но и провоцируя реакцию против французского (конкретно наполеоновского) империализма, реакцию, провозглашаемую во имя тех же самых французских революционных доктрин.

Прежде всего Французская революция сделала очевидным, некоторым образом впервые, что современность технологии и современность освобождения не идентичны. На самом деле можно было бы сказать, что те, кто хотел в первую очередь современности технологии, внезапно оказались напуганы силой защитников современности освобождения.

В 1815 г. Наполеон потерпел поражение. Во Франции произошла реставрация. Европейские державы создали Священный союз, который, по крайней мере для некоторых участников, полагался гарантией реакционного статус кво. Но в реальности цель оказалась недостижимой. И в годы между 1815 и 1848 была выработана геокультура, которая, напротив, была предназначена для продвижения современности технологии, при одновременном сдерживании современности освобождения.

Имея в виду символическую связь между двумя современностями, добиться этого частичного разделения их было нелегкой задачей. Тем не менее она была решена, и тем самым была создана прочная геокультурная основа, оправдывавшая функционирование капиталистического мира-экономики. По крайней мере, так продолжалось в

течение 150 или около того лет. Ключевым моментом операции была выработка идеологии либерализма и ее принятие в качестве идеологии-эмблемы капиталистического мира-экономики.

Сами по себе идеологии тоже были нововведением, порожденным новой культурной ситуацией, созданной Французской революцией¹. Те, кто в 1815 г. думали, что восстанавливают порядок и традицию, обнаружили, что на самом деле было уже слишком поздно: произошли глубинные изменения в умонастроениях, и они были необратимы. Были широко восприняты и стали почти самоочевидными две идеи. Первая, что политические изменения — это скорее нормальное, чем исключительное, явление. Вторая, что суверенитет коренится в некоей общности, именуемой «народом».

Обе концепции обладали взрывчатой силой. На самом деле Священный союз полностью отвергал обе. Однако британское правительство тори, правительство новой державы-гегемона миросистемы, было столь же двусмысленным, как и реставрированная монархия Людовика XVIII во Франции. Консервативные по инстинкту, но умные в осуществлении власти, оба эти правительства носили двусмысленный характер, потому что они признавали за общественным мнением силу тайфуна и решили приспособливаться к ней, а не рисковать в прямом столкновении.

Так появились идеологии, которые являлись просто-напросто долгосрочными политическими стратегиями, построенными так, чтобы отвечать новым верованиям в нормальность политических изменений и в моральный суверенитет народа. Появились три основные идеологии. Первой был консерватизм, идеология тех, кто был сильнее всего напуган новыми идеями и считал их морально вредными, то есть тех, кто воспринимал сложившуюся ситуацию как нечто нечестивое.

Ответом консерватизму стал либерализм, учение тех, кто стремился к полному расцвету современности, происходящему размеренно и упорядоченно, при минимуме острых потрясений и при максимально возможной управляемости. Как заявил в 1954 г. Верховный Суд США, принимая решение о незаконности сегрегации, либералы верили, что изменения должны происходить «с возможно неспешной скоростью», что, как мы знаем, означает «не слишком

быстро, но и не чересчур медленно». Либералы были в полном объеме привержены современности технологии, но они скорее с опаской относились к современности освобождения. Освобождение для специалистов, полагали они, — блестящая идея; освобождение для простых людей, однако, считалось опасным.

Третья великая идеология XIX столетия, социализм, появился последним. Как и либералы, социалисты принимали неизбежность и желательность прогресса. В отличие от либералов, они подозрительно относились к реформам, направленным сверху вниз. Они не хотели долго ожидать полных благ современности — разумеется, современности технологии, но также и современности освобождения. Они подозревали — и были в этом совершенно правы, — что либералы стремились ограничить «либерализм» как в размахе его применения, так и по кругу людей, на которых он распространялся.

В возникшей триаде идеологий либералы располагались в политическом центре. Либералы, стремясь убрать государство, особенно монархическое государство, из многих сфер принятия решений, вместе с тем всегда настаивали на необходимости поставить государство в центр рационального реформирования. В Великобритании, например, отмена хлебных законов несомненно была кульминацией длительных усилий по устранению государства от дел защиты внутреннего рынка против иностранной конкуренции. Но в то же самое десятилетие тот же самый парламент провел фабричные законы, что было началом (а вовсе не завершением) длительных усилий по вовлечению государства в дела регулирования условий труда и найма.

Либерализм, далекий от того, чтобы быть антигосударственной по сути своей доктриной, стал основным оправданием для усиления дееспособности государственной машины². Так происходило, так как либералы видели в государстве существенное условие для достижения своей центральной цели — продвижения современности технологии при одновременном благоразумном умиротворении «опасных классов». Они надеялись таким образом сдержать преждевременное применение концепции суверенитета «народа», которая следовала из современности освобождения.

В зонах сердцевины капиталистического мира-экономики XIX в. либеральная идеология выражалась в трех основных политических целях: всеобщее избирательное право, государство всеобщего благосостояния, единство национального самосознания. Либералы на — ались, что комбинация всех трех умиротворит «опасные классы», гарантируя одновременно современность технологии.

Дебаты о всеобщем избирательном праве длились более века. Его развитие на практике можно изобразить плавно повышающейся кривой, показывающей расширение круга лиц, пользующихся правом голоса, как правило в следующей последовательности: сначала мелкие собственники, затем неимущие мужчины, затем молодежь и, наконец, женщины. Либералы делали ставку на то, что прежде исключенные из политической жизни люди, получив право голоса, воспримут идею, что периодическое голосование представляет полное удовлетворение их претензий на политические права и что поэтому они отбросят более радикальные идеи об эффективном участии в коллективном принятии решений.

Дебаты о государстве всеобщего благосостояния (по сути споры о перераспределении прибавочного продукта) также были длительными и также изображаются плавно повышающейся кривой уступок — по крайней мере до 1980-х, когда кривая впервые пошла вниз. Существенной характеристикой государства всеобщего благосостояния было появление социальных выплат, когда часть (растущая часть) дохода наемных работников получается не непосредственно из денег работодателя, а опосредованно через государственные учреждения. Такая система отчасти отделила доход от занятости; она сделала возможным некоторое небольшое выравнивание заработной платы между работниками с разным уровнем квалификации; и она передвинула часть переговоров между трудом и капиталом на политический уровень, где, благодаря всеобщему избирательному праву, у рабочих есть определенный перевес. Однако государство всеобщего благосостояния сделало для рабочих внизу шкалы зарплат меньше, чем для среднего слоя, который расширился и чья склонность к политическому центризму становилась сильной опорой центристских правительств, приверженных активному усилению либеральной идеологии.

Ни всеобщее избирательное право, ни государство всеобщего благосостояния (и даже оба вместе) не были бы достаточны для приручения опасных классов без третьей переменной, которая гарантировала, что эти опасные классы не будут слишком пристально изучать, насколько большими уступками являются всеобщее избирательное право и государство всеобщего благосостояния. Этой третьей переменной стало создание единого национального самосознания. В 1845 г. Бенджамин Дизраэли, первый граф Биконсфилд, будущий «просвещенно-консервативный» премьер-министр Великобритании, опубликовал роман под заглавием «Сибила, или Две нации». В «Предупреждении» к нему Дизраэли говорит, что тема романа — «положение народа», в те годы столь очевидно ужасное, что он «счел совершенно необходимым отказаться от показа многого, что является истинным», дабы не быть обвиненным читателями в преувеличениях. Это роман, включивший в свой сюжет мощное в то время чартистское движение. Роман о «двух нациях Англии, богачах и бедняках», которые, предполагалось, происходят от двух этнических групп — норманнов и саксов³.

Дизраэли в заключительных строках романа очень резко говорит о весьма ограниченном касании формальной политической реформы, то есть классического либерализма, к интересам «народа». Его текст гласит:

«Писаная история нашей страны на протяжении последних десяти царствований была сушей иллюзией, придававшей происхождению и последствиям общественных деяний облик и окраску, в каждой детали расходящиеся с их естественными формой и обликом. В этой великой мистерии все мысли и вещи приобрели внешний вид и наименование, противоположные их реальным качествам и стилю: Олигархию наименовали Свободой; исключительные права священников окрестили Национальной Церковью; Суверенитетом называлось нечто, само по себе не существующее, в то время как абсолютная власть принадлежала тем, кто выставял себя слугами народа. В эгоистическом соперничестве фракций из истории Англии были вымараны два великих существа — Монарх и Большинство Народа; по мере того как уменьшалась власть Короны, исчезали и привилегии Народа; пока

наконец скипетр не превратился в карнавальную игрушку, а его подданные не деградировали вновь до положения сервов.

Но Время, которое приносит и уносит все, внесло в умы Англии подозрение, что идолы, которые столь долго боготворили, оракулы, которыми обманывались, неистинны. В стране подымается шепот, что Верность — не просто фраза, Вера — не иллюзия, а Народная Свобода — нечто более сложное и существенное, чем нечестивое использование священных прав суверенитета политическими классами⁴.

Если Великобритания (и Франция тоже, а на самом деле все страны) состояла из «двух наций», богачей и бедняков, ясно, что решение Дизраэли состояло в превращении их в одну нацию — с едиными чувствами, единой лояльностью, единой самоотверженностью. Такое «единство» мы и называем национальным самосознанием. Великая программа либерализма состояла не в том, чтобы сделать нации государствами, а в том, чтобы создать нации на основе государств. Иначе говоря, стратегия состояла в том, чтобы взять тех, кто живет в границах государства — бывших «подданных» короля-суверена, а ныне суверенный «народ», — и превратить их в «граждан», отождествляющих себя со своим государством.

На практике этого достигли применением различных институциональных требований. Первое состояло в установлении четких юридических определений членства в политике. Правила варьировали, но всегда отражали тенденцию к исключению (более или менее строгому) из нее новоприбывших («мигрантов») при включении всех, кто считался «в норме» постоянными жителями. Единство этой последней группы затем обычно укреплялось движением к языковому единству: единый язык в стране, и очень часто, что не менее важно, язык, отличный от языков соседних государств. Это достигалось требованием, чтобы вся государственная деятельность велась на одном языке, поддержкой школьной унификации языка (например, контроль национальной академии над словарем), насильственным навязыванием этого языка языковым меньшинствам.

Великими институтами, объединяющими народ, были система образования и вооруженные силы. По крайней мере во всех странах

сердцевины начальное образование стало обязательным; во многих из них обязательной стала и военная подготовка. Школа и армия учили языку, гражданским обязанностям и национальной лояльности. В течение века государства, состоявшие из двух «наций» — богатых и бедных, норманнов и саксов, — стали в самооценке одной нацией, в данном конкретном случае «английской».

Не следует забывать об одном чрезвычайно важном элементе в решении задачи формирования национального самосознания — о расизме. Расизм объединяет расу, которая считает себя высшей. Он объединяет ее внутри государства за счет меньшинств, полностью или частично исключаемых из прав гражданства. Но он также объединяет «нацию» нации-государства по отношению к остальному миру; не только к соседям, но в еще большей мере — по отношению к периферийным зонам. В XIX в. государства сердцевин стали нациями-государствами одновременно с превращением в имперские государства, приобретающие колонии во имя «цивилизаторской миссии».

Надежду — вот что в первую очередь предлагал опасным классам государств сердцевин этот либеральный пакет из всеобщего избирательного права, государства всеобщего благосостояния и национального самосознания, надежду, что постепенные, но непрекращающиеся реформы, обещанные либеральными политиками и технократами, *в конечном итоге* означают улучшение положения опасных классов, выравнивание вознаграждений, исчезновение «двух наций», о которых говорил Дизраэли. Такая надежда предлагалась прямо, но она предлагалась и более утонченными способами. Она была предложена в виде теории истории, которая исходила из неизбежности этого улучшения условий, направляемого неудержимым стремлением к человеческой свободе. Это была так называемая виговская интерпретация истории. Хотя культурно-политическая борьба наблюдалась весь период с XVI по XIX в., две борьбы — за современность технологии и освобождения — были окончательно определены в XIX в. с ретроспективной точки зрения как единая борьба со стоящим в центре ее социальным героем — индивидом. Это было сердце виговской интерпретации истории. Сама эта ретроспективная интерпретация была лишь частью, хотя и важнейшей

частью, навязывания господствующей геокультуры XIX в. капиталистической мироэкономике.

Таким образом, в тот самый исторический момент, когда в глазах господствующего слоя две современности казались более, чем когда-либо, разошедшимися и даже конфликтующими между собой, официальная идеология (господствующая геокультура) провозгласила их идентичными. Господствующий слой предпринимал грандиозные воспитательные усилия (через систему образования и через вооруженные силы), чтобы убедить свои внутренние опасные классы в этой идентичности цели. Намерение состояло в том, чтобы убедить опасные классы приглушить свои требования современности освобождения и взамен вложить свою энергию в современность технологии.

Именно по этому вопросу развертывалась классовая борьба XIX в. на идеологическом уровне. И в той мере, в которой рабочее и социалистическое движение приходило к принятию центрального положения и даже приоритетности современности технологии, они терпели поражение в классовой борьбе. Они обменивали свою лояльность государствам на очень скромные (хотя и реальные) уступки в достижении современности освобождения. И ко времени, когда началась Первая мировая война, весь смысл приоритетности борьбы за современность освобождения и в самом деле был не слышен, так как рабочие каждой из европейских стран сплотились вокруг священного флага и национальной гордости.

Первая мировая война отметила триумф либеральной идеологии в европейско-североамериканской сердцевине миросистемы. Но она также отметила тот пункт, где явственно проявился политический раскол миросистемы на центр и периферию. Европейские державы только-только осуществили свои последние мировые завоевания последней трети XIX в., как начался откат Запада.

В восточной и южной Азии, на Ближнем Востоке (позже к ним присоединилась Африка и откликнулась номинально независимая Латинская Америка) начало зарождаться национально-освободительное движение — в различных обликах и с разной степенью успеха. В период 1900-1917 гг. разного рода националистические восстания и революции произошли в Мексике и Китае, Ирландии и

Индии, на Балканах и в Турции, в Афганистане, Персии и в арабском мире. Поднимали головы новые «опасные классы», развертывавшие знамя современности освобождения. Они вовсе не были против современности технологии. Просто они думали, что их собственные надежды на технологическую современность будут функцией от достижения прежде всего освобождения.

Годы от 1914 до 1945 были отмечены длительной борьбой в сердцевине, прежде всего между Германией и США, за гегемонию в миросистеме, борьбой, как мы знаем, завершившейся победой США. Но те же самые годы, да и последующий период, были временем куда более глубинной борьбы между Севером и Югом. Вновь господствующий слой (обитавший на Севере) пытался убедить новые опасные классы в идентичности двух современностей. Вудро Вильсон предложил концепцию самоопределения наций, а президенты Рузвельт, Трумэн и Кеннеди предложили концепцию экономического развития слаборазвитых наций, структурный эквивалент на всемирном уровне всеобщего избирательного права и государства всеобщего благосостояния на национальном уровне в странах сердцевины.

На самом деле уступки были невелики. Господствующие слои предложили также аналог «самосознания» в форме единства свободного мира против коммунистического мира. Но эта форма самосознания была весьма подозрительно встречена в так называемом третьем мире (то есть в периферийных и полупериферийных зонах *минус* так называемый советский блок). Третий мир считал так называемый второй мир фактически частью своей зоны и таким образом находящимся в одном лагере. Сталкиваясь, однако, с реальностью мощи США в сочетании с символической (по большей части только символической) оппонирующей ролью СССР, третий мир в большинстве своем сделал выбор в пользу неприсоединения, что означало, что он никогда не придет к «идентификации» с зоной сердцевины таким образом, как рабочий класс сердцевины идентифицировал себя с господствующими слоями, разделив их национализм и расизм. Либеральная геокультура на мировом уровне в XX в. работала куда менее успешно, чем на национальном уровне в странах сердцевины XIX в.

Но либерализм еще не был в положении загнанного зверя. Вильсоновский либерализм был способен соблазнить и приручить ленинский социализм примерно теми же способами, как европейский либерализм обольстил и приручил социал-демократию в XIX в.⁵ Программой ленинизма стала не мировая революция, а антиимпериализм плюс социалистическое строительство, что при ближайшем рассмотрении оказалось всего лишь риторическим вариантом вильсоновско-рузвельтовской концепции самоопределения наций и экономического развития слаборазвитых наций. В реальности ленинизма современность технологии вновь взяла верх над современностью освобождения. И точно так же, как господствующие либералы, якобы оппозиционные ленинисты доказывали, что обе современности по сути совпадают. И с помощью ленинистов либералы Севера начали добиваться успеха, убеждая национально-освободительные движения Юга в такой идентичности двух современностей.

В 1968 г. всемирная революция, которая приняла форму главным образом, но не исключительно, студенческих восстаний, громко и энергично бросила вызов этому удобному концептуальному смешению двух современностей. В США и во Франции, в Чехословакии и Китае, в Мексике и Тунисе, в Германии и Японии произошли восстания (иногда даже с жертвами), которые, различаясь в зависимости от места, в сущности, разделяли одни и те же основные темы: современность освобождения — это все, и она пока еще не достигнута. Современность технологии — ловушка и обман. Либералы во всех вариантах — либеральные либералы, консервативные либералы, и прежде всего социалистические либералы (то есть «старые левые») — не заслуживают доверия, являются на самом деле первым препятствием на пути к освобождению⁶.

Я сам был захвачен событиями в самом центре борьбы в США — Колумбийском университете⁷, — и у меня остались два основных воспоминания от этой «революции». Первое — подлинный восторг студентов: в практике коллективного освобождения они открывали, что переживают и процесс личного освобождения. Второе — глубокий страх, который был пробужден этим выплеском освободительных чувств, среди большинства профессуры и администрации, осо-

бенно и больше всего у тех, кто считал себя апостолами либерализма и современности, кто видел в этом подъеме иррациональное отвержение очевидных благ современности технологии.

Всемирная революция 1968 г. полыхнула и затем утасла, или, скорее, была подавлена. К 1970 г. она более или менее закончилась повсюду. И тем не менее она наложила основательный отпечаток на геокультуру. Потому что 1968 год потряс господство либеральной идеологии в геокультуре миросистемы. Тем самым он вновь открыл вопросы, закрытые или отодвинутые на обочину общественного обсуждения триумфом либерализма в XIX в. И «мировая правая», и «мировая левая» вновь повернулись против «либерального центра». Так называемый неоконсерватизм был во многом восставшим из могилы старым консерватизмом первой половины XIX в. И «новые левые» так же во многих отношениях была возрождением радикализма начала прошлого столетия, который, напомним, в те времена символизировался термином «демократия», который впоследствии был присвоен центристскими идеологами.

Либерализм не исчез в 1968 г.; он, однако, утратил роль определяющей идеологии геокультуры. 1970-е стали свидетелями возвращения идеологического спектра к реальной триаде, ликвидации того слияния, которое произошло, когда три основные идеологии в период между приблизительно 1850-ми и 1960-ми стали фактически лишь вариациями либерализма. Казалось, что вернулись споры 150-летней или около того давности. За тем исключением, что мир стал другим в двух смыслах. Современность технологии преобразовала мировую социальную структуру таким образом, что под угрозой оказались основы капиталистического мира-экономики. А идеологическая история миросистемы стала памятью, которая воздействовала на текущие способности господствующих слоев поддерживать в миросистеме политическую стабильность.

Давайте сначала рассмотрим второе изменение. Некоторые из вас могут удивиться, что я уделяю такое внимание 1968 году в качестве поворотного момента. Вы можете думать: разве не 1989-й, символический год краха коммунизма, является более существенной датой в истории современной миросистемы? Разве не в 1989 г. в самом деле провалился социалистический вызов капитализму, и тем

самым была наконец достигнута цель либеральной идеологии, приручение опасных классов, всеобщее принятие достоинств современности технологии? Нет, вовсе нет! Я собираюсь сказать вам, что 1989 год был продолжением 1968-го, и 1989-й означал не триумф либерализма и тем самым вечность капитализма, но совсем наоборот — крах либерализма и грандиозное политическое поражение тех, кто поддерживает капиталистический мир-экономику.

Если говорить об экономическом развитии в 1970-1980-х гг., в результате понижающейся фазы Б кондратьевского цикла государственные бюджеты почти повсеместно были жестко урезаны, и негативные последствия этого для социальных расходов были особенно болезненны в периферийных и полупериферийных зонах мира-экономики. Это не относилось к широко понимаемой восточноазиатской зоне 1980-х, но во время таких спадов всегда существует сравнительно небольшая зона, где дела идут хорошо именно из-за общего спада, и восточноазиатский рост 1980-х совсем не опровергает общей модели.

Такие спады несколько раз повторялись в истории современной миросистемы. Однако политические последствия этой конкретной Б-фазы кондратьевского цикла были более тяжелы, чем любой прежней, именно потому, что предшествовавшая ей А-фаза 1945-1970 гг. была ознаменована политическим триумфом национально-освободительных и других антисистемных движений. Другими словами, именно потому, что либерализм казался таким «платежеспособным» во всемирном масштабе в 1945-1970 гг. (самоопределение плюс экономическое развитие), падение 1970-х и 1980-х было особенно болезненным. Это было предательство надежды и крах иллюзий, особенно, хотя и не только, в периферийных и полупериферийных зонах. Лозунги 1968 г. вдруг стали казаться весьма правдоподобными. Рассудительный реформизм (*a fortiori** когда он был облачен «революционной» риторикой) казался горьким заблуждением.

В одной за другой странах третьего мира массы отворачивались от движения «старых левых» и обвиняли их в обмане. Массы не могли знать, что предложить взамен — заговор здесь, религиозный

Тем более (*лат.*).

фундаментализм там, настроения против политики как таковой в третьем месте — но они были уверены, что псевдорадикализм «старых левых» на самом деле был притворно замаскированным либерализмом, который был выгоден лишь узкой элите. Тем или другим образом массы этих стран стремились изгнать такие элиты. Они утратили веру в свои государства как агентов современности освобождения. Давайте четко поясним: они потеряли не желание освобождения, а лишь веру в старую стратегию его достижения.

Коллапс коммунизма в 1989-1991 гг. был просто последним в долгой серии открытий, приведших к пониманию того, что даже самая радикальная риторика не гарантирует современности освобождения, и даже для современности технологии является весьма слабым гарантом⁸. Конечно, в растерянности и под влиянием момента широкие слои населения коммунистических стран приняли лозунги реанимированной «мировой правой», мифологию «свободного рынка» (в виде, следует сказать, в котором их не найдешь даже в США или Западной Европе), но это было быстро проходящим миражем. Мы уже наблюдаем политическую отдачу в Литве, Польше, Венгрии и повсюду.

Справедливо, однако, что ни в Восточной Европе, ни где-либо еще в мире маловероятно, чтобы народы вновь поверили в ленинскую версию обещаний рассудительного реформизма (нареченную социалистической революцией). Это, разумеется, катастрофа для мирового капитализма, так как вера в ленинизм служила в течение по меньшей мере 50 лет основной силой, *сдерживающей* опасные классы миросистемы. Ленинизм на практике оказывал очень консервативное влияние, проповедуя неизбежную победу народа (тем самым неявно проповедуя терпение). Комуфляж ленинизма теперь потерян для господствующих слоев современной миросистемы⁹. Опасные классы теперь вновь могут стать действительно опасными. Политически миросистема утратила свою устойчивость.

В то же самое время существенно ослабли и социально-экономические опоры миросистемы. Позвольте мне лишь упомянуть четыре из таких тенденций, которые не исчерпывают длинного списка структурных трансформаций. Во-первых, произошло серьезное истощение мирового резервуара доступной дешевой рабочей силы.

Вот уже в течение четырех веков городские наемные работники были способны вновь и вновь использовать свою силу в переговорах, чтобы увеличить долю прибавочного продукта, получаемого ими за свой труд. Капиталисты, однако, были способны противостоять негативным последствиям, которые этот процесс оказывал на норму прибыли, расширяя, так-же вновь и вновь, резервуар рабочей силы, приводя на рынок труда новые группы прежде не наемных работников, которые на первых порах были готовы соглашаться на очень низкую оплату. Окончательное географическое расширение капиталистического мира-экономики в конце XIX в., когда он охватил весь земной шар, привело к ускорению процесса вывода мировой рабочей силы из деревни, процесса, который зашел уже очень далеко и может быть в сущности завершен в обозримом будущем¹⁰. Это неизбежно будет означать резкий рост мировых издержек на труд как доли общих издержек мирового производства.

Второй структурной проблемой является сжатие средних слоев. Они совершенно правильно воспринимались как политическая опора существующей миросистемы. Но их требования, как к работодателям, так и к государству, постоянно росли, и общемировые издержки по содержанию широко разросшихся средних слоев на все более высоком уровне, исчисляемом *per personam**, стали все более невыносимым бременем как для предприятий, так и для государственной казны. Вот что стоит за многочисленными попытками последних десятилетий свернуть государство всеобщего благосостояния. Но что-нибудь одно. Либо эти расходы не будут свернуты, и в случае как государства, так и предприятия столкнутся с серьезными трудностями и угрозой банкротства. Или же они будут свернуты, и в этом, случае возникнет значительное политическое недовольство среди именно тех слоев, которые наиболее сильно поддерживали существующую миросистему.

Третьей структурной проблемой является кризисная ситуация в экологии, что ставит перед миросистемой острые экономические проблемы. Накопление капитала в течение вот уже пятисот лет основывалось на возможности для предприятий выносить свои из-

На душу (лат.).

держки вовне. Это в первую очередь означало сверхиспользование мировых ресурсов, представлявших большую коллективную ценность, но почти ничего не стоивших предприятиям. Но в какой-то определенный момент ресурсы израсходованы, а отравление окружающей среды достигает уровня, который невозможно выносить. Сегодня мы обнаруживаем необходимость огромных капиталовложений в очистку окружающей среды и резкого сокращения использования ресурсов, иначе нам придется столкнуться повторно с той же проблемой. Но совершенно верно, как и вопят предприятия, что эти действия приведут к снижению глобальной нормы прибыли.

Наконец, демографический разрыв, удваивающийся экономический разрыв между Севером и Югом, скорее увеличивается, чем уменьшается. Это создает невероятно сильное давление миграционных потоков с Юга на Север, что в свою очередь порождает не менее сильную антилиберальную политическую реакцию на Севере. Нетрудно предсказать, что случится. Несмотря на воздвигаемые барьеры, повсюду на Севере будет расти нелегальная иммиграция и Бог знает какие движения. Внутренний демографический баланс государств Севера радикально изменится, и можно ожидать острых социальных конфликтов.

Таким образом, сегодня и в течение следующих 40-50 лет миросистема находится в остром моральном и институциональном кризисе. Возвращаясь к нашим рассуждениям о двух современностях, которыми начинался очерк, происходит то, что наконец-то ясно и открыто обнаружилось напряжение между современностью технологии и современностью освобождения. Между 1500 и 1800 гг. обе современности, казалось, идут в тандеме. Между 1789 и 1968 гг. их латентный конфликт сдерживался успешными попытками либеральной идеологии представить обе современности идентичными. Но начиная с 1968 маска сброшена. Они находятся в открытой борьбе друг с другом.

Существуют два главных культурных признака этого признания конфликта двух современностей. Один — это «новая наука», наука сложности. Вдруг, в последние десять лет, большое число ученых — физиков и математиков — повернулись против ньютоновско-бэковско-картезианской идеологии, которая на протяжении по край-

ней мере последних 500 лет провозглашалась единственно возможным выражением науки. С триумфом либеральной идеологии в XIX в. ньютоновская наука была канонизирована как универсальная истина.

Новые ученые поставили под вопрос не верность ньютоновской науки, а ее универсальность. В сущности, они доказывают, что законы ньютоновской науки — это законы ограниченного специального случая действительности, и чтобы понять действительность научно, необходимо сильно раздвинуть рамки нашего рассмотрения и расширить набор наших орудий анализа. Таким образом, сегодня мы слышим новые ученые словечки о хаосе, бифуркации, размытой логике, фракталах, и — самое фундаментальное — о стреле времени. Мир природы во всех своих проявлениях стал восприниматься исторично¹¹. Новая наука совершенно определенно *нелинейна*. Но современность технологии была воздвигнута на опоре линейности. Тем самым новая наука поднимает наиболее фундаментальные вопросы о современности технологии, по крайней мере о форме, в которой она нашла свое классическое выражение.

Другой культурный признак признания конфликта двух современностей — движение постмодернизма, прежде всего в гуманитарных дисциплинах и социальных науках. Постмодернизм (надеюсь, что я показал это достаточно ясно) — вовсе не /*после*-современность. Это способ отрицания современности технологии во имя современности освобождения. Если он был изложен в столь причудливой лингвистической форме, то это связано с тем, что постмодернисты стремились найти способ оторваться от лингвистических путей, которыми либеральная идеология связала наш дискурс. Постмодернизм как концепция, претендующая на объяснение, лишь запутывает. Постмодернизм как доктрина возвещения, несомненно, наделена даром предвидения. Потому что мы и в самом деле движемся к другой исторической системе. Современная миросистема подходит к концу. Понадобится по меньшей мере еще 50 лет окончательного кризиса, то есть «хаоса», прежде чем мы можем надеяться обнаружить себя при новом общественном строе.

Сегодня и на следующие 50 лет наша задача состоит в построении утопий. Это задача измышлять этот новый общественный строй

и бороться за его сотворение. Ведь никоим образом не гарантировано, что конец неэгалитарной исторической системы приведет к появлению лучшей. Борьба открыта. Сегодня нам нужно определить конкретные институты, через которые наконец сможет найти свое выражение освобождение человека. Мы пережили в существующей миросистеме претензии на такое выражение, когда либеральная идеология пыталась убедить нас в существовании реальности растущего равенства и демократии, реальности, с которой либералы на самом деле боролись. И мы пережили разочарование потерпевших поражение антисистемных движений, движений, которые сами были частью проблемы, равно как и частью ее решения.

Мы должны вступить в грандиозный всемирный мультидиалог, потому что решения ни в коем случае не являются очевидными. И те, кто хотел бы продлить существование того, что есть сейчас, в другом облики, очень сильны. Конец какой современности? Пусть это будет концом ложной современности и началом, впервые, подлинной современности освобождения.

¹ Более подробную аргументацию см. в моей статье: *The French Revolution as a World-Historical Event*. In: *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigm* (Cambridge: Polity Press, 1991), p. 7-22.

² Доказательства этому развернуты в: *Liberalism and the Legitimation of Nation-States: An Historical Interpretation*, *Social Justice* 19, no. 1 (Spring 1992), p. 22-33.

³ Benjamin Disraeli. Earl of Beaconsfield, *Sybil, or Two Nations* (1845; переиздание London: John Lane, The Bodley Head, 1927).

⁴ *Ibid.*, p. 641.

⁵ См. очерк «Концепция национального развития, 1917-1989» в настоящем сборнике.

⁶ Более полный анализ всемирной революции 1968 г. см. в моем очерке «1968-й — революция в миросистеме» в настоящем сборнике.

⁷ См. превосходное описание событий в: Jerry I. Avorn et al. *Up Against the Ivy Wall: A History of the Columbia Crisis* (New York: Atheneum, 1968).

* Эти проблемы рассмотрены в: G. Arrighi, T. K. Hopkins and I. Wallerstein. 1989: The Continuation of 1968, *Review* 15, no. 2 (Spring 1992), p. 221-242.

⁹ См. дальнейшую аргументацию в очерке «Коллапс либерализма» в настоящем сборнике.

¹⁰ См.: R. Kasaba and F. Tabak. *The Restructuring of World Agriculture, 1873-1990*. In: *Food and Agricultural Systems in the World-Economy*, ed. P. McMichae (Westport, CT: Greenwood Press, 1994), p. 79-93.

¹¹ О применениях всего этого для социального анализа см. специальный номер «The 'New Science' and the Historical Social Sciences», *Review* 15, no. 1 (Winter 1992).

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА НАРОДОВ В ГЕОКУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЫ

26 августа 1789 г. французское Национальное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина¹. С тех пор и донныне она остается символическим утверждением того, что мы теперь называем правами человека. Она была подкреплена и обновлена во Всеобщей декларации прав человека, принятой без единого голоса против и лишь при нескольких воздержавшихся Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.² Никогда, однако, не существовало параллельного символического утверждения прав «народов», по крайней мере до того, как ООН 14 декабря 1960 г. приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам³.

Преамбула к Декларации 1789 г. предлагает в качестве исходного рассуждения, что «неведение, забвение или презрение прав человека являются единственными причинами общественных бедствий и порчи правительств». Мы начинаем, таким образом, с проблемы невежества, как и приличествует документу Просвещения, и непосредственный вывод из этой идеи — как только с невежеством будет покончено, не будет и общественных бедствий.

Почему Французская революция не издала подобной декларации о правах народов? На самом деле аббат Грегуар предложил в 1793 г. Конвенту, чтобы тот предпринял усилия по кодификации законов, относящихся к «правам и соответствующим обязанностям наций, правам народов (*gens*)». Но Мерлен де Дюари возразил, что «это предложение следовало бы адресовать не Конвенту французского Народа, но скорее общему конгрессу народов Европы»⁴, и предложение было отклонено.

Наблюдение было уместно, но, разумеется, в то время не существовало такого общего конгресса. И когда он возник (более или

менее), сначала в форме Лиги наций, затем Организации Объединенных Наций, такая декларация была принята далеко не сразу. В 1945 г. колониальные державы, одержавшие победу в борьбе за свою собственную свободу, все еще не допускали мысли о незаконности колониализма. Лишь в декларации 1960 г., после того как значительная часть колониального мира уже завоевала свою независимость, ООН подтвердила свою «веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство больших и малых наций» и потому «торжественно провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях».

Я не хотел бы обсуждать, вписаны ли права человека или права народов в естественное право, не хотел бы я и рассматривать историю этих идей как интеллектуальных конструкций. Скорее, я хотел бы проанализировать их роль как ключевых элементов либеральной идеологии, в той мере в которой, она стала геокультурой современной миросистемы в XIX и XX вв. Я хотел бы также доказать, что интеллектуальное построение геокультуры не только внутренне противоречиво в логических терминах, что непреодолимое противоречие, представленное им, само по себе является существенной частью геокультуры.

Все миросистемы имеют геокультуры, хотя может потребоваться некоторое время, чтобы такая геокультура утвердилась в данной исторической системе. Я использую здесь слово «культура» в смысле, традиционно применяемом антропологами, как систему ценностей и основных правил, которые, сознательно и бессознательно, управляют поощрениями и наказаниями в обществе и создают систему иллюзий, которые должны убеждать членов общества в его легитимности. В любой миросистеме всегда есть люди и группы, которые полностью или частично отвергают геокультурные ценности, и даже те, кто борется против них. Но покуда большинство «кадров» системы активно принимают эти ценности, а большинство простых людей не относятся к ним с активным скептицизмом, можно говорить, что геокультура существует, а ее ценности преобладают.

Более того, важно различать основополагающие ценности, космологию и телеологию с одной стороны, и политику их применения, с другой. Тот факт, что какие-то группы активно политически бунтуют, вовсе не обязательно означает, что они не подписываются хотя бы подсознательно, под основополагающими ценностями, космологией и телеологией системы. Это может просто означать, что они полагают эти ценности неправильно применяемыми. И, наконец, мы должны помнить об историческом процессе. Геокультуры в какой-то момент складываются, а позже могут перестать властвовать над умами. Конкретно говоря о современной миросистеме, я собираюсь показать, что ее геокультура родилась с Французской революцией и начала терять широкое признание с всемирной революцией 1968 г.

Современная миросистема — капиталистический мир-экономика — начал свое существование в «долгом XVI веке». Однако в течение трех столетий он функционировал без какой-либо твердо установившейся геокультуры. Иначе говоря, в период XVI-XVIII вв. в капиталистическом мире-экономике не существовало системы ценностей и правил, о которых можно было бы сказать, что большинство «кадров» активно их принимает, а большинство людей соглашается с ними хотя бы пассивно. Французская революция качественно изменила положение. Она установила два новых принципа: естественность и нормальность политических изменений и суверенитет народа⁵. Эти принципы так быстро и так глубоко укоренились в народном сознании, что ни Термидор, ни Ватерлоо не могли выкорчевать их. В результате так называемая Реставрация во Франции (и на самом деле во всей миросистеме) ни в одном пункте и ни в каком смысле не была подлинным восстановлением «старого режима».

Главное, что следует заметить относительно этих двух принципов, это то, что они сами по себе были вполне революционны применительно к миросистеме. Вовсе не гарантируя легитимации капиталистического мира-экономики, в долгосрочной перспективе они угрожали подрывом ее легитимности. Именно в этом смысле я уже доказывал, что «Французская революция представляла собой первую из антисистемных революций в капиталистическом мире-эко-

номике — в меньшей степени успешную, в большей — потерпевшую поражение»⁶. Именно для того, чтобы сдержать эти идеи, вписав их в нечто более общее, «кадры» миросистемы ощутили срочную необходимость выработать и навязать более широкую геокультуру.

Выработка такой геокультуры приняла форму дебатов между идеологиями. Я использую здесь термин «идеология» в специфическом значении. Я уверен, что триида идеологий, разработанных в XIX в. — консерватизм, либерализм и социализм, — на самом деле была ответами на единственный вопрос: исходя из широкого согласия с двумя идеями, о нормальности изменений и о суверенитете народа, какая политическая программа наиболее успешно гарантирует хорошее общество?

Ответы были чрезвычайно просты. Консерваторы, бывшие в ужасе от этих концепций и, в сущности, питавшие отвращение к ним, отстаивали предельную осторожность в общественных действиях. Политические изменения, говорили они, должны предприниматься лишь тогда, когда призывы к ним будут поддержаны подавляющим большинством, но даже и в этом случае изменения должны осуществляться при минимально возможных разрывах с прошлым. Что же до суверенитета народа, они доказывали, что он будет использован наиболее мудрым образом, если реальная власть будет фактически передана в руки тех, кто традиционно отправляет ее и кто представляет мудрость непрерывной традиции.

Противоположный взгляд принадлежал социалистам (или радикалам). Они приветствовали изменение и призывали народ полностью и прямо осуществить свой суверенитет в интересах обеспечения максимальной скорости, с которой могли бы быть проведены изменения в направлении к более эгалитарному обществу.

Консервативная и социалистическая позиции были четко очерчены и просты для понимания: как можно медленнее или быстрее! Из всех сил сопротивляться уравнивающим тенденциям или, напротив, решительно разрушать структуры, построенные на неравенстве! Вера, что возможны лишь очень незначительные изменения против веры, что все может быть сделано, если только будут преодолены существующие изощренные социальные препятствия! Это зна-

комые контуры «правая против левой», пара терминов, которые сами были рождены Французской революцией.

Но что же в таком случае либерализм, заявляющий, что он противостоит консерватизму с одной стороны и социализму с другой? Ответ был формально ясным, но содержательно двусмысленным. В формальном выражении либерализм представлял собой «средний путь», «жизненный центр» (если использовать самоназвание, данное в XX в.)⁷. Не слишком быстрые и не слишком медленные изменения, а как раз с правильной скоростью! Но что же это значило в содержательных терминах? Здесь на самом деле либералы редко находили общий язык между собой, даже находясь в пределах конкретного места и времени, и уж точно не могли договориться применительно к разным местам и разным периодам времени.

Следовательно, вовсе не четкость программ определяла либерализм как идеологию, а скорее его особое внимание к процессу. Строго говоря, либералы верили, что политические изменения неизбежны, но они верили также, что к хорошему обществу они ведут лишь постольку, поскольку процесс является рациональным, то есть общественные решения являются результатом тщательного интеллектуального анализа. Отсюда особая важность принадлежала тому, чтобы текущая политика вырабатывалась бы и осуществлялась теми, кто обладает наибольшими возможностями осуществлять такие рациональные решения, то есть экспертами и специалистами. Именно они могли наилучшим образом разработать реформы, которые могли бы (и действительно это делали) усовершенствовать систему, где они живут. Ведь либералы по определению не были радикалами. Они стремились усовершенствовать систему, а не преобразовать ее, потому что с их точки зрения мир XIX столетия уже был кульминацией человеческого прогресса или, если употребить недавно возрожденную фразу, «концом истории». Если мы живем в последнюю эпоху человеческой истории, естественно, наша первоочередная (на самом деле единственно возможная) задача состоит в совершенствовании системы, то есть в занятии рациональным реформизмом.

Три идеологии современности были, затем, тремя политическими стратегиями, призванными ответить на народные верования,

господствовавшие в нашем современном мире после 1789 г. В этой троице идеологий особенно интересны две вещи. Во-первых, хотя все три идеологии формально были антигосударственными, на практике все три работали на укрепление государственных структур. Во-вторых, из всех трех постепенно и очевидно восторжествовал либерализм, что может быть наблюдаемо в двух политических процессах: со временем как консерваторы, так и социалисты сдвигали свои действующие программы скорее в направлении к либеральному центру, чем от него; и на самом деле именно консерваторы и социалисты, действуя отдельно, но взаимодополняясь, несут ответственность за реализацию либеральной политической программы в гораздо большей мере, чем сами либералы с заглавной буквы «Л». Вот почему по мере того, как либеральная идеология торжествовала, либеральные политические партии имели тенденцию к исчезновению⁸.

Что представляют собой права человека в рамках торжествующей либеральной идеологии, и откуда, как предполагается, они приходят? На самом деле на этот вопрос давались разные ответы. Но в целом либералам свойственно отвечать, что права человека коренятся в естественном праве. Такой ответ придает нравам человека "мощную основу, позволяющую давать отпор оппонентам. Однако когда это предположение озвучено и перечислен конкретный список прав человека, большая часть вопросов по-прежнему остается открытой: у кого есть моральное (и юридическое) право давать перечень таких прав? Если одна группа прав приходит в противоречие с другой, какая из них имеет приоритет, и кто это решает? Являются ли права абсолютными, или же они ограничены некими рациональными оценками последствий их применения? (Эта последняя дилемма отражена в известном заявлении судьи Оливера Уэнделла Холмса, что свобода слова не предполагает права заорать «Пожар!» в переполненном театре.) И, самое главное, кто имеет право пользоваться правами человека?

Последний вопрос может показаться неожиданным. Разве не очевидно, что верный ответ — «все»? Вовсе нет! На самом деле такого никто и никогда не заявлял. Например, почти повсеместно признано, что такими правами не обладают несовершеннолетние, или по крайней мере не все несовершеннолетние, с очевидным основа-

нием, что умственные способности несовершеннолетних не позволяют им пользоваться этими правами разумно и безопасно для себя и для других. Но если исключены несовершеннолетние, то как насчет впавших в маразм стариков, грудных младенцев, социопатов, преступников? А потом список можно будет продолжать до бесконечности: как насчет подростков, невротиков, военнослужащих, неграмотных, бедных, женщин? Где та очевидная линия, которая отделяет способность от неспособности? Такой линии, конечно же, не существует, и уж точно не существует такой линии, которая определялась бы естественным правом. Таким образом, оказывается, что определение лиц, на которых распространяется действие этих прав человека, неизбежно является текучим, зависящим от политики.

Определение того, кто имеет права человека, в свою очередь тесно связано с вопросом, кто может претендовать на осуществление прав человека. И здесь появляется еще одно понятие, рожденное Французской революцией, — «гражданин». Потому что людьми, которые наиболее явно были уполномочены осуществлять народный суверенитет, были именно «граждане». Но кто такие граждане? Подразумевается, что это группа более широкая, чем «король», или «знать», или даже «собственники», но одновременно это группа более узкая, чем «все», или даже чем «все, проживающие в географических границах данного суверенного государства».

И вот тут-то и начинается главная история. Где лежит власть суверена? В феодальной системе власть была парцелизована. Человек мог быть подданным нескольких стоящих выше него повелителей, и часто так и было в действительности. Вышестоящий повелитель в связи с этим не мог рассчитывать на бесспорную власть над своими подданными. Современная миросистема создала радикально иную правовую и моральную структуру, в которой суверенные государства, действующие в межгосударственной системе и ограниченные ею, претендуют на *исключительную* юрисдикцию над всеми лицами, обитающими на их территории. Более того, все эти территории были связаны географически, то есть были связаны пограничным и таможенным режимом и тем самым отделены от других территорий. Кроме того, в рамках межгосударственной системы не осталось не принадлежащих никому территорий.

Таким образом, когда «подданные» превратились в «граждан», все проживающие в государстве оказались разделены на «граждан» и «неграждан» (или иностранцев). Иностранцы также подразделялись на множество категорий; эти категории ранжировались от долгосрочных (даже пожизненных) мигрантов, с одной стороны, до транзитных пассажиров, с другой. Но в любом случае такие иностранцы не были гражданами. С другой стороны, поскольку государства были соединением «регионов» и «местностей», в начале XIX в. сами граждане, как бы их ни определять, обычно были людьми весьма разнообразного происхождения — говорящими на разных языках, придерживающимися разных обычаев, хранящими разную историческую память. Когда подданные стали гражданами, гражданам, в свою очередь, предстояло превратиться в представителей нации, то есть людей, у которых лояльность к своему государству стоит на первом месте по отношению к любой иной социальной лояльности. Это было нелегко, но это имело существенное значение, если осуществление народного суверенитета не должно было стать результатом возможных иррациональных межгрупповых конфликтов.

Поэтому, в то время как такие государства, как Великобритания, Франция и США, вскармливали чувство национализма среди своих граждан⁹, в других местах, подобных Германии и Италии, предгосударственные националисты боролись за создание государств, которые, в свою очередь, воспитали бы такой же национализм. В большинстве государств XIX в. первостепенное значение в развитии такого чувства национального самосознания придавалось двум общественным институтам: начальной школе и армии. Те государства, которые лучше всего решали эти задачи, и процветали успешнее всего. Как замечает Уиллиам Мак-Нейл:

«В таких обстоятельствах фикция этнического единообразия в рамках особой национальной юрисдикции находит свои корни в последних столетиях, когда некоторые ведущие нации Европы обратились к подходящим образом идеализированным и произвольно выбранным варварским предшественникам. (Несомненно любопытно заметить, что французы и британцы выбрали в качестве своих предполагаемых предков соответственно галлов и бриттов, беспечно не учи-

тывая последующих завоевателей, от которых они и унаследовали свои национальные языки). Фикция этнического единобразия особенно расцвела после 1789 г., когда были продемонстрированы практические преимущества и мощь неоварварской политики (объединившей взрослых мужчин, способных владеть оружием, спаенных национальным чувством и добровольно подчиняющихся выборным вождям) перед правительствами, ограничивавшими мобилизацию для войны узкими группами населения»¹⁰.

Если подумать, ни начальная школа, ни армия не прославлены своей практикой соблюдения прав человека. И первая, и вторая являются вполне авторитарными, построенными сверху вниз, структурами. Превращение простых людей в граждан-избирателей и в граждан-солдат, может быть, и очень полезно, если вы хотите обеспечить единство государства как перед лицом других государств, так и в смысле уменьшения насилия или классовой борьбы внутри государства, но дает ли это что-нибудь реальное для развития и реализации прав человека?

Политический проект либерализма XIX в. для стран сердцевины капиталистического мира-экономики состоял в том, чтобы приручить опасные классы, предложив тройную программу рациональной реформы: всеобщее избирательное право, политика благосостояния и национальное самосознание. Программа строилась на надежде и предположении, что простой народ будет умиротворен этой ограниченной передачей благ и потому не будет оказывать давления ради осуществления полноты своих «прав человека». Пропаганда лозунгов прав человека, свободы, демократии сама по себе была частью приручения опасных классов. Незначительность социальных уступок, дарованных опасным классам, еще сильнее бросится в глаза, если принять во внимание хотя бы два факта. Первый — на общий уровень жизни в странах сердцевины благотворно влиял перевод прибавочного продукта из периферийных зон. А локальный национализм каждого из этих государств дополнялся коллективным национализмом «цивилизованных» наций по отношению к «варварам». Сегодня мы называем это явление расизмом, доктрина которого была в явном виде кодифицирована именно в

тот период именно в этих государствах, и который глубоко проник во все общественные институты и в общественную мысль. По крайней мере, это было так до тех пор, когда нацисты довели расизм до его логического завершения, его *nec plus ultra** версии, и таким образом принудили пристыженный западный мир к формальному, хотя лишь частичному, теоретическому отвержению расизма.

Кто же были эти «варвары»? Несомненно, колониальные народы. Черные и желтые по отношению к белым. «Восток» для «Запада». «Неисторические» нации Восточной Европы для «исторических наций» Западной. Евреи для христиан. Изначально права человека «цивилизованных» наций утверждались на том основании, что они «цивилизованные». Логика империализма была аверсом этой монеты. Долгом тех стран, которые полагали, что они уважают права человека, было, тем самым, «цивилизовать» тех, кто не уважал их, кто имел «варварские» обычаи и кого вследствие этого следовало брать на буксир и учить, как учат детей.

Отсюда следовало, что любые «права народов» были зарезервированы для немногих конкретных народов и вовсе не были правами всех остальных народов. Ведь и вправду полагалось, что предоставление «варварам» их прав как народам вело бы к отрицанию индивидуальных «прав человека» у этих народов. Таким образом две системы прав в XIX в. были поставлены в ситуацию прямого конфликта между собой. Не было способа, каким мир мог бы совместить их.

Либерализм XIX в. решил те проблемы, которые поставил для решения. В условиях миросистемы, где стали господствовать доктрины нормальности изменений и суверенитета народа, как верхний слой разумных, компетентных и имущих людей доброй воли мог удержать «опасные классы» от попыток опрокинуть тележку с яблоками? Ответ гласил: этого можно было бы достичь использованием необходимой дозы рациональных реформ. Этот ответ означал на практике ограничение той группы, которая могла пользоваться своими правами человека, лишь *некоторыми* людьми, при одновре-

Буквально «и не далее», «дальше нельзя», здесь — «предельный, крайний» (*лат.*).

менном *еще более строгом ограничении* числа тех народов, которые вообще могли реализовать свой суверенитет. Однако, поскольку в логике либерализма права теоретически имели всеобщий характер, ограничения должны были быть оправданы запутанными и благовидными основаниями. В теории, таким образом, права понимались как универсальные, но вещью, которой меньше всего хотели бы либералы, было буквальное восприятие либеральных принципов, то есть их действительно всеобщее применение. Чтобы эти принципы не воспринимались буквально, либералам нужна была сдерживающая сила. Такой сдерживающей силой был расизм в сочетании с сексизмом. Конечно, это никогда не могло быть открыто признано либералами, ведь и расизм, и сексизм по определению антиуниверсальны и антилиберальны. Эдуард Саид очень хорошо ухватил дух этой второй фазы либерализма и его последствия:

«Вместе с другими народами, определяемыми различным образом как отсталые, выродившиеся, нецивилизованные или запоздавшие в развитии, народы Востока рассматривались в рамках концепции, построенной на биологическом детерминизме и морально-политической предубежденности. Таким образом, восточное связывалось с теми элементами в западных обществах (люди с отклоняющимся поведением, душевнобольные, женщины, бедные), которые обобщенно определялись как вызывающие сожаление отщепенцы. Представителей Востока редко рассматривали как таковых, смотрели скорее сквозь них, анализируя не как граждан, даже не как людей, а как проблемы, которые следует решить или удержать или — но мере того как колониальные державы открыто захватывали их территории — подчинить...»

Моя точка зрения состоит в том, что метаморфоза относительно невинной филологической специализации (ориентализма, востоковедения) в средство управления политическими движениями, администрирования в колониях, производства почти апокалиптических заявлений о трудной цивилизаторской миссии Белого Человека — произошла в предположительно либеральной культуре, полной заботы о восхваляемых ею нормах всеобщности, плюрализма, открытости мысли. На самом деле то, что происходило, было про-

тивоположно либеральным принципам: окостенение доктрины и значения, данных "наукой", в "истину". Потому что если такая истина, закреплявшая за собой право судить Восток как неизменно "восточный", в описанном мной понимании, то либеральность оказывалась не более чем формой подавления и интеллектуального предрассудка»¹¹.

В XX в. случилось так, что угнетенные расизмом и сексизмом стали настаивать на пользовании правами, которые, как говорили либералы, теоретически им принадлежали. Пользовании и правами человека, и правами народов. Первая мировая война обозначила эту политическую цезуру. Разрушение порядка в отношениях между государствами центра, «тридцатилетняя война», длившаяся с 1914 по 1945 г., открыла пространство для новых движений.

Поскольку наиболее горячей проблемой на мировой сцене был колониализм/империализм, то есть юридический контроль над большей частью Азии, Африки и Карибского бассейна со стороны европейских государств (а также США и Японии), прежде всего проявилось требование прав народов, а не прав человека. Законность этого требования наиболее ярко была продемонстрирована Вудро Вильсоном, когда он сделал центральной темой глобального либерализма «самоопределение наций». Конечно, Вильсон настаивал на предоставлении самоопределения в строгих юридических формах, методически, рационально, когда нации будут готовы к нему. Пока такие условия не созреют, эти нации могут существовать в режиме «опеки» (используя язык Устава ООН 1945 г.).

Консерваторы имели тенденцию быть еще осторожней, как и можно было ожидать, и считать, что «готовность» к самоопределению вызреет через очень длительный срок времени, если это вообще когда-нибудь случится. В первой половине XX в. консерваторы часто обращались к теме прав человека, чтобы оспорить права народов. Они доказывали, что население колоний — это не подлинные «народы», а просто совокупность индивидов, чьи личные права человека могут быть признаны, когда индивид имеет достаточный уровень образования и освоил в достаточной мере западный стиль жизни, доказывая, что он — очень редко она — достиг статуса «цивилизованной личности». Это была логика доктрины фор-

мальной ассимиляции, которой пользовался ряд колониальных держав (например, Франция, Бельгия и Португалия), но и другие державы практиковали сходный, хотя и не формализованный подход к определению и предоставлению прав человека.

Те социалисты, которые в годы Первой мировой войны были настроены радикально антисистемно и антилиберально. иначе говоря, большевики (или ленинисты) и Третий Интернационал, поначалу очень подозрительно относились ко всем разговорам о правах народов, которые они ассоциировали с националистическим движением европейского среднего класса. В течение длительного времени они были открыто враждебны этой концепции. Затем, в 1920 г., они довольно внезапно радикально изменили курс. На бакинском Съезде народов Востока¹² тактический приоритет классово-борьбы в Европе-Северной Америке был тихонечко положен под сукно в пользу тактического приоритета антиимпериализма, темы, вокруг которой Третий Интернационал надеялся построить политический союз между европейскими в основном коммунистическими партиями и но крайней мере наиболее радикальными национально-освободительными движениями Азии и других частей периферийных зон. Но, сделав это, ленинисты по сути присоединились к вильсоновской программе самоопределения наций. А когда, после Второй мировой войны, СССР активно проводил политику поощрения «социалистического строительства» в ряде стран, более или менее тесно привязанных политически к Советскому Союзу, он де-факто присоединился к выполнению программы мирового либерализма по экономическому развитию слаборазвитых стран.

Таким образом, в 1945-1970 г. либерализм пережил второй апофеоз. Если в десятилетия перед 1914 г. он, казалось, торжествовал в Европе, в 1945-1970 г. он, казалось, торжествовал по всему миру-США, всемирный выразитель либерализма, были державой-гегемоном. Их теоретический лишь оппонент, СССР, осуществлял тактическую программу, которая, если говорить о правах народов, по сути ничем не отличалась от либеральной. Тем самым он фактически содействовал США в приручении опасных классов миросистемы. Более того, казалось, что эта либеральная политика на самом деле

приносит плоды тем самым опасным классам. Национально-освободительные движения пришли или приходили к власти по всему третьему миру. И эти классы, казалось, приходят к власти (по крайней мере частично) повсюду, не только в виде коммунистических режимов в Советском блоке, но и через большую роль социал-демократических партий в Западной Европе и других странах белого сообщества. И, как часть невероятного глобального расширения экономики 1945-1970 гг., темпы экономического роста почти во всех периферийных странах были весьма велики. Это были годы оптимизма, даже там, где (как во Вьетнаме) борьба оказалась весьма жестокой и разрушительной.

Оглядываясь на то, что ретроспективно выглядит почти золотым веком, поражаешься, насколько отсутствовала какая-либо озабоченность правами человека. Повсюду бросалось в глаза отсутствие прав человека или пренебрежение ими. От чисток и фальсифицированных процессов в Восточной Европе до различных форм диктатуры в странах третьего мира (и не забудем маккартизм в США и *Berufsverbot** в Федеративной Республике Германии), это вряд ли была эпоха триумфа прав человека. Но, что еще более существенно, это был период, когда политические движения мира проявляли очень большую риторическую озабоченность правами человека. Доводы защитников прав человека повсюду рассматривались как угроза национальному единению в битвах «холодной войны». И в странах третьего мира, наиболее тесно связанных с Западом, уважение к правам человека было ничуть не большим, чем в государствах, максимально тесно связанных с советским блоком. Более того, открыто высказываемая озабоченность США/СССР положением с правами человека в сфере влияния оппонента была ограничена пропагандистским радиовещанием и не оказывала серьезного влияния на реальную политику.

Что произошло с тех пор? Главным образом, две вещи: провозвестническая и разоблачительная всемирная революция 1968 года, бросившая вызов либеральной геокультуре; и последующее проявление того, что либеральный пакет уступок опустошен. В 1968 г.

Запрет на профессию (нем.)

студенты и их союзники говорили повсюду — в странах Запада, в коммунистическом блоке и в зонах периферии, — что либеральная идеология (включая отличный на словах, но сходный по сути советский вариант) представляет собой систему обманных обещаний, реальное содержание которых на самом деле в основном негативно для громадного большинства населения мира. Разумеется, революционеры стремились повсюду говорить на языке понятий, отражающих специфику своих стран — в США иначе, чем в Германии, Чехословакии и Китае, Мексике и Португалии, Индии или Японии, — но всюду возвращались одни и те же темы¹³.

Всемирная революция 1968 г. не разрушила миросистему. Она и не приблизилась к достижению этой цели. Но она вытеснила либерализм с его места определяющей идеологии миросистемы. И консерватизм, и радикализм отодвинулись от либерального центра более или менее на те места, которые они занимали в первой половине XIX в. И тем самым нарушили тот тонкий баланс, который либерализм стремился установить для ограничения революционного воздействия как прав человека, так и прав народов.

Как нарушился этот баланс, можно увидеть на примере влияния второго главного изменения, произошедшего уже в социально-экономической структуре миросистемы. Примерно с 1968–1973 гг., мироэкономика находилась в Б-фазе кондратьевского цикла, в периоде стагнации. Стагнация фактически аннулировала экономические достижения большинства периферийных зон, за исключением уголка Восточной Азии, который стал местом своего рода перемещения ограниченной части производства в мире-экономике, что является нормальной характеристикой Б-фазы кондратьевского цикла. Она привела также (с разной скоростью) к падению реальных доходов трудящихся классов Севера. С розы облетели лепестки. Обман оказался громаден. Надежда на последовательное, устойчивое, упорядоченное улучшение перспектив жизни, поддерживавшаяся силами мирового либерализма (и их фактическим союзником — мировым коммунистическим движением), потерпела крах. И как только крах наступил, сами предположительно выигравшие от прежнего развития поставили под вопрос, насколько в самом деле были обеспечены права народов.

Когда под сомнение было поставлено то, что прежде считалось успешной реализацией прав народов в эпоху после 1945 г., это имело два политических последствия. С одной стороны, многие занялись отстаиванием прав «новых народов». Может быть, полагали они, дело именно в том, что не признавались права их «народов». Отсюда новые и более воинственные этнические движения, движения за отделение, требования «меньшинств» в существующих государствах, которые развивались одновременно с выдвиганием требований других групп или квазинародов, таких как женщины, геи и лесбиянки, инвалиды, престарелые. С другой стороны, если права народов не принесли плодов, почему тогда подавлять стремление к правам человека, оправдывая это стремлением обеспечить права народов? Вот почему в однопартийных государствах и военных диктатурах советского блока и третьего мира внезапно поднялись требования немедленной реализации прав человека. Это было движение так называемой демократизации. Но и в западном мире это было время распада структур, которые прежде серьезно ограничивали выражение прав человека, и время создания новых прав, например «права на невмешательство в частную жизнь» в США.

Более того, казалось, что не просто все заговорили о правах человека в своих собственных странах, но говорить начали и о правах человека в других странах: заявление Картера о правах человека как главной заботе внешней политики США, Хельсинкские соглашения, распространение движений типа «Международной амнистии» и *Medians du Monde**, желание интеллектуалов Третьего мира обсуждать права человека как главную и приоритетную проблему.

Два движения последних 10–20 лет — поиск новых «народов», права которых должны быть утверждены, и более интенсивные требования, касающиеся «прав человека» — были реакцией на разочарования и обманы эпохи 1945–1970 гг., которые привели к революции 1968 г. — революции, которая разворачивалась вокруг темы ложности надежд глобального либерализма и тех гнусных намерений, которые стояли за предлагаемой либерализмом программой рацио-

* Врачи без границ (*фр.*)-

нального реформизма. Поначалу два ответа казались одним. Те же люди, что утверждали права «новых» народов, требовали и больших прав человека.

Однако к концу 1980-х гг. и особенно с геополитическими потрясениями прежней системы гегемонии США, отмеченными крахом коммунизма, два движения пошли раздельными, часто противоположными, путями. К 1990-м гг. появились целые движения, использующие (вновь) тему прав человека, чтобы противопоставить ее правам «новых народов». Это можно наблюдать в неоконсервативной кампании против политкорректности в США. Но то же самое просматривается в заявлении *Medecins du Monde* и союзными им французскими интеллектуалами *droit d'ingerance*¹⁴ (права на вмешательство) — вмешательства в Боснии и Сомали сегодня, в Китае и Иране завтра; и (почему же нет) в находящиеся под властью черных муниципальные управления в США послезавтра.

Сегодня либерализм загнан в угол своей собственной логикой. Он продолжает утверждать законность прав человека и, чуть менее громко, прав народов. Он все еще не имеет в виду того, что есть на самом деле. Он утверждает права с целью, чтобы они *не* были применены в полном объеме. Но это все труднее сделать. И либералы, зажатые, как говорится, между Сциллой и Харибдой, показывают свою подлинную суть, превращаясь в большинстве в консерваторов и лишь в редких случаях в радикалов.

Давайте возьмем простой, очень важный и очень насущный вопрос, относящийся к делу: миграцию. Политическая экономия проблемы миграции чрезвычайно проста. Мир-экономика более, чем когда-либо, поляризован в двух отношениях: социально-экономически и демографически. Между Севером и Югом зияет разрыв, и есть все признаки, что в ближайшие десятилетия он станет еще шире. Последствия очевидны. Существует громадное давление миграционного потока с Юга на Север.

Посмотрим на него с точки зрения либеральной идеологии. Понятие прав человека очевидно включает в себя право на свободу передвижений. По логике либерализма не должно быть ни паспортов, ни виз. Каждому должно быть позволено работать и селиться повсюду, как, например, происходит сегодня в США и в большин-

стве суверенных государств — уж точно в тех государствах, которые претендуют на то, что являются либеральными.

На практике, разумеется, большинство людей на Севере буквально приходит в ужас от идеи открытых границ. Но и политики в последнюю четверть века идут вовсе не в этом направлении. Соединенное Королевство было первым государством, которое воздвигло новые барьеры, чтобы отгородиться от подданных своих прежних колоний. В одном только 1993 г. произошли три важных события. Парламент Германии жестко свернул гостеприимство для «беженцев», боясь того, что такими могут стать жители Восточной Европы. (Разоблачать злобных коммунистов, которые не выпускают народ из своих стран, было хорошим шоу, но теперь мы увидели, что происходит, когда больше нет злобных коммунистов у власти, способных ограничить эмиграцию.) Во Франции правительство провело законы, которые не только ограничили миграцию из бывших колоний, но даже усложнили получение гражданства детьми мигрантов, родившимися во Франции. А в США в 1993 г. губернатор крупнейшего штата, Калифорнии — и нельзя сказать, что факт скорого превращения ее в штат с небелым большинством не имеет отношения к делу, — призвал к принятию поправки к Конституции США, кладущей конец одной из наших наиболее чтимых традиций — *jus soli*^{*}, делающего любого рожденного в США их гражданином по праву рождения.

Каковы аргументы, выдвигаемые в Великобритании, Германии, Франции, США? То, что мы (Север) не можем принимать на себя бремя (экономическое бремя) всего мира. А почему, собственно говоря, нет? Лишь столетием раньше тот же самый Север брал на себя «бремя белого человека», бремя «цивилизаторской миссии» среди варваров. Теперь варвары, опасные классы говорят: «Спасибо вам большое! Забудьте о том, чтобы цивилизовать нас; просто дайте нам возможность пользоваться некоторыми правами человека, скажем, правом на свободу передвижения и поиск работы всюду, где мы можем найти ее».

* Право почвы (*лат.*), приобретение права на гражданство фактом рождения на территории государства.

Внутренние противоречия либеральной идеологии носят тотальный характер. Если у всех людей равные права и у всех народов равные права, мы не можем сохранять такую неэгалитарную систему, какой всегда был и всегда будет капиталистический мир-экономика. Но если это открыто признать, то капиталистический мир-экономика потеряет легитимность в глазах опасных (то есть обездоленных) классов. А если система лишена легитимности, она не выживет.

Кризис тотален, дилемма тотальна. Мы будем переживать ее следствия в ближайшие полвека. Как бы мы ни разрешили коллективными усилиями этот кризис, какого бы рода новую историческую систему мы ни построили, будет ли она хуже или лучше, будет ли у нас больше или меньше прав человека и прав народов, одно несомненно: это не будет система, основанная на либеральной идеологии, какой мы ее знаем на протяжении вот уже двух веков.

¹ Обзор дискуссий в связи с принятием этого текста можно найти в: Marcel Gauchet. Rights of Man. In: *Critical Dictionary of the French Revolution*, ed. F. Furet and M. Ozouf (Cambridge: Harvard Univ. Press, Belknap Press, 1989), p. 818-828. Текст оригинала см.: J. Tulard et al. *Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799* (Paris: Robert Laffont, 1987), p. 770-771. Английский перевод напечатан (но без Преамбулы) в: I. Brownlie, ed. *Basic Documents on Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1971), p. 8-10.

² Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 А (III)

³ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (XV). О развитии «норм о деколонизации» в миросистеме после 1945 г. см. короткие комментарии: G. Goertz and P. F. Diehl. Towards a Theory of International Norms, *Journal of Conflict Resolution* 26, no. 4 (Dec. 1992), p. 648-651.

⁴ Статья «Droit des gens» в: J. Tulard et al. *Op. cit.*, p. 770.

⁵ Я уже излагал аргументацию по этому поводу и не буду ее здесь повторять. О нормальности политических изменений см.: The French Revolution as a World-Historical Event. In: *Unthinking Social Science* (Cambridge: Polity Press, 1991), p. 7-22. О суверенитете народа см.: Liberalism and the Legitimation of Nation-States: An Historical Interpretation, *Social Justice* 19, no. 1 (Spring 1992), p. 22-33.

⁶ *The Modern World-System*, vol. 3, *The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s* (San Diego: Academic Press, 1989), p. 52.

⁷ См.: Arthur Schlesinger, Jr. *The Vital Center: The Politics of Freedom* (Boston: Houghton Mifflin, 1949).

⁸ Эти две темы я также развивал более подробно в нескольких работах. См. в особенности «Three Ideologies or One? The Pseudobattle of Modernity». Здесь я коротко резюмировал эти работы, чтобы далее обсудить тему данного очерка — роль идей прав человека и прав народов в политическом развитии современного мира.

⁹ Литература по этой теме насчитывает многие тома. В качестве образца см.: Raphael Samuel, ed. *Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity*, 3 vols. (London: Routledge, 1989); Euger Weber. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914* (Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1976); Seymour Martin Lipset. *The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective* (New York: Basic Books, 1963).

¹⁰ William McNeil. Introductory Historical Commentary. In: *The Fall of Great Powers: Peace, Stability and Legitimacy*, ed. Geir Lundestad (Oslo: Scandinavian Univ. Press, 1994), p. 6-7.

¹¹ Edward Said. *Orientalism* (New York: Pantheon, 1978), p. 207, 254.

¹² См.: *The Congress of the Peoples of the East*, перевод и комментарии Бриана Пирса (London: New Park Publishers, 1977).

¹⁵ Более детально эти проблемы рассмотрены в очерке «1968-й — революция в миросистеме» в настоящем сборнике.

¹⁴ В самом деле, с 1993 г. *Medicins du Monde* издают политический журнал, называемый *Ingerances: le Desir d'Humanitaire* («Вмешательство: Желание человечности»)

ГЕОКУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАШЕЙ ГЕОКУЛЬТУРЫ?*

I

Развитие — это термин, который получил широкое распространение в области социальных наук и публичной политики начиная с 1950-х гг. Культура — термин, вновь введенный в употребление в этих сферах с большой шумихой и новыми акцентами в 1970-е гг.

Не так трудно дать объяснение этой истории терминов. Возникновение термина «развитие» было прямым последствием политического появления так называемого третьего мира в период после 1945 г. Народы периферийных зон миросистемы эффективно организовывались для достижения двух главных целей: большей политической автономии внутри миросистемы и повышения благосостояния. Достижение автономии означало политическую независимость для народов, которые были прежде -колонизованы, и более националистически ориентированные правительства в государствах, которые уже были суверенными. Вообще говоря, эта задача была в той или иной форме решена почти во всех периферийных зонах в период 1945-1970 гг. Легитимность этих целей и задач была подтверждена не только структурой Объединенных Наций, но также и широко распространенным признанием концепции «самоопределения наций» и параллельной делегитимизацией «империализма».

Цель повышения благосостояния была признана в равной мере легитимной. Однако ее обеспечить было гораздо труднее, даже на поверхностном уровне, чем достичь большей политической автономии. Однако, и в этом отношении 1945-1970 гг. казалось, были благополучными. Произошла удивительная экспансия мироэкономики, и почти все части света, похоже, стали жить лучше, чем в пери-

од 1920-1945 гг. Широкое распространение получил оптимизм по поводу перспектив дальнейшего повышения благосостояния. Хотя было признано наличие серьезного разрыва между «промышленными» и «аграрными» странами (или между «развитыми» и «слаборазвитыми» странами, или — в терминах более позднего периода — между «Севером» и «Югом») — а некоторые уже в 1950-х гг. замечали, что разрыв рос — все еще верилось, что так или иначе абсолютная (и относительная) нищета периферийных зон может быть преодолена. Процесс преодоления этого разрыва как раз и стал называться «развитием».

Возможность (экономического) развития всех стран стала универсальным убеждением, разделяемым в равной мере консерваторами, либералами и марксистами. Предметом ожесточенных споров были рецепты, предлагаемые для достижения подобного развития, но не сама его возможность. В этом смысле концепция развития стала основным элементом геокультурной опоры миросистемы. Это воплотилось в единодушном решении Объединенных Наций объявить 1970-е гг. «десятилетием развития».

Трудно было выбрать менее удачное время. Экспансия мироэкономики, фаза А кондратьевского цикла прошла свой пик. Мироэкономика вступала в фазу Б кондратьевского цикла — фазу стагнации. Стагнация не означает, что в упадок приходит абсолютное благополучие каждого. Фаза Б — это скорее время, когда это верно для *большинства* людей, но определенно не для *всех*. Для некоторых людей и некоторых географических районов фаза Б оказывается периодом большого личного или местного успеха.

Однако для *большинства*, страдающего экономически в период 1970-1990 гг. (и эти страдания продолжаются), фаза Б стала периодом огромного разочарования. Это объясняется тем, что, искренне разделяя геокультурную веру в возможность развития, большинство людей находилось в состоянии социально-психологического ожидания. Развитие было путеводной звездой, а теперь казалось иллюзией¹.

Тут-то на сцену вышло понятие «культуры». Чтобы быть точным, культура уже обсуждалась раньше, в ходе дискуссий 1945—1970 гг., посвященных развитию, но обсуждалась прежде всего как

* Эта статья была представлена на Международном и межведомственном форуме по проблеме «Культура и Развитие», организованном IFES и ЮНЕСКО, Сеул, 22-23 сентября 1993 г.

«препятствие». С точки зрения многих теоретиков, особенно, хотя и не только, либеральной направленности, культура представляла собой явление «традиционное», то есть понятие, противопоставлявшееся «современному». О народах периферийной зоны говорилось, что они продолжают верить во многие так называемые традиционные ценности, а это якобы мешает заниматься такими видами деятельности, которые дали бы им возможность наиболее быстро развиваться. Следовательно, им нужно было «модернизироваться». Это считалось непростой задачей. Тем не менее просвещенные местные правительства при помощи международных агентств и правительств уже «развитых» государств могли предпринять реформы, которые ускорили бы процесс модернизации. Главные формы внешней поддержки местных реформ получили название «технической помощи». Слово «техническая» употреблялось, чтобы подчеркнуть две существенные черты: предполагалось, что помощь самоочевидна с научной точки зрения, заявлялось, что она не основана на частных интересах. «Техническая» подразумевало «только техническая» и, тем самым, «аполитичная».

Что касается 1970-х гг., ни техническая помощь, ни проводимые в рамках государств реформы, казалось, не оправдали себя. Экономическая ситуация в большинстве этих стран очевидно ухудшалась. Концепция, заключавшаяся в том, что «помощь» — это только передача научных знаний, не оправдалась. Идея, что помощь не основана на частных интересах, приобрела горький привкус, поскольку множество стран попали в порочный круг очень высокой внешней задолженности, бегства капиталов и «отрицательного инвестирования».

Одним из результатов стало то, что многие из тех, кто прежде был среди самых «верных» сторонников концепции развития, начали обращаться против ее идеологов. Они сказали в конце концов следующее: вы (вы — политологи, вы — социологи) говорили нам, что экономическое развитие возможно во всем мире и что путь к нему идет через обдуманые политические перемены (или либеральный реформизм, или через революционные преобразования). Но это оказалось очевидно неверным. Для бывших правозащитников было характерно ощущение утраты, неподтвердившихся надежд. Найдите

новую надежду! Если перемены в политической экономике более не считаются многообещающим или хотя бы внушающим доверие путем, которым следовало бы идти, если (а это так и есть) развитие, как оно проповедовалось в период 1945-1970 гг., в действительности было иллюзией, тогда, возможно, спасение может быть найдено в обращении к культуре. «Культура», которая в 1945-1970 гг. обсуждалась как «препятствие», которое следует убрать как можно быстрее, теперь стала восприниматься как оплот, без которого невозможно противостоять вырождению, распаду, упадку экономики и политической жизни, являющихся следствием расширяющегося процесса превращения всего в товар. «Культура» перестала быть главным злом, она стала добром.

И вот получилось так, что мы участвуем в конференции, ко-спонсором которой является ЮНЕСКО, под названием «Культура и развитие», причем не просто «развитие», а «устойчивое развитие». Это же самое ЮНЕСКО в 1953 г. опубликовало исследование Маргарет Мид, выполненное для Всемирной Федерации психического здоровья и основанное на совершенно иных подходах к теме. Тогда исследование было предпринято во исполнение двух резолюций ЮНЕСКО², и эти резолюции заслуживают того, чтобы их процитировать. Первая, № 3.231 от 1951 г., предлагает ЮНЕСКО «изучать возможные методы, ослабляющие напряжение, вызванное введением современной техники в неиндустриализованных странах и в странах, находящихся в процессе индустриализации». И вторая, резолюция №3.24 от 1952 г., призывает ЮНЕСКО «для обеспечения социального прогресса народов поощрять изучение методов гармонизации введения современной технологии в страны, находящиеся в процессе индустриализации, при уважении к культурным Ценностям этих стран».

Резолюции говорят сами за себя. В сущности ЮНЕСКО говорит следующее: современная техника вводится на периферии. Это, конечно, хорошо, но это создает напряжение — культурное и индивидуальное (исследование держит в центре внимания индивидуальное психическое здоровье). Кому-то нужно это «гармонизировать», Грамматика резолюции ужасна, потому что после этого слова нет Предлога «с», остается неясным, с чем же необходимо гармонизиро-

вать современную технологию. Можно, однако, предположить, что преследовалась просто цель успокоить людей. «Культурные ценности» вызвали подозрение, хотя и заслуживали «уважения». Больше всего ЮНЕСКО хотело обеспечить «социальный прогресс народам», что бы ни означало это добродетельное намерение.

Сегодня, однако, «культура» — уже не только предмет почитания, к которому воззвали, чтобы затем игнорировать. Она стала боевым кличем, провозглашаемым с целью обвинения. Что это такое — «культура», используемая как боевой клич? Почему мы добавляем к «развитию» определение «устойчивое»? Разве можно развиваться неустойчивым образом? Ответы на эти вопросы не самоочевидны с научной точки зрения. Сегодня, конечно же, по этой проблеме нет всеобщего консенсуса. Ответы сегодняшнего дня существенным образом различаются в зависимости от того, откуда вы прибыли.

Первая проблема заключается в том, о чьей «культуре» или «культурах» мы говорим? Слово *культура* употребляется в двух диаметрально противоположных смыслах. Она обозначает нечто общее, присущее двум или более индивидов, но она обозначает так же и то, что *не* является общим для двух или более индивидуумов*. Иначе говоря, культура — это то, что объединяет людей, но также и то, что их разделяет³. Когда мы поднимаем сегодня проблему «культуры» в ее отношении к «развитию», мы используем слово *культура* в смысле, разделяющем народы. Мы говорим о том, что «культура» Кореи отличается от китайской «культуры» и от британской «культуры».

Проблема в том, что же такое культура Кореи, Китая или Британии? Является ли она системой ценностей и обычаев, проповедуемых и каким-то образом соблюдаемых большинством людей в Корее, или в Китае, или в Великобритании в 1993 г.? Или же это та часть этих ценностей и обычаев, которая проповедовалась и соблю-

далась большинством людей в Корее, Китае или Великобритании как в 1993 г., так и в 1793 г.? Или как в 1993 г., так и в 993 г.? По меньшей мере не самоочевидно, что мы подразумеваем под выражением корейская, или китайская, или английская культура. Более того, совсем не самоочевидно, что существует единая культура, соответствующая этим определениям. Культура меняется в зависимости от времени, от региона внутри названных границ и, конечно же, от класса. Так что, когда мы говорим, как Маргарет Мид, что мы должны уважать культурные ценности, необходимо знать, о чьих или о каких культурных ценностях мы говорим. В противном случае отсылка слишком неопределенна.

Точно так же, когда мы говорим «устойчивое развитие», не ясно, что мы имеем в виду. Если говорится, что Корея, или Китай, или Великобритания должны «развиваться», идет ли речь на самом деле о Южной Корее, южном Китае, южных графствах Великобритании или действительно о стране в целом? Ведь в каждом из этих специфических случаев в 1993 г. положение дел в экономике лучше обстояло в «южной» зоне, чем в «северной»; И хотя причины в каждом из этих случаев были разными, разница между «южной» и «северной» зонами не только росла в последние 25 лет, но, похоже, будет продолжать расти в течение по крайней мере следующих 25 лет.

II

Основу геокультуры развития составляют три убеждения: (а) что государства, являющиеся настоящими или будущими членами Организации Объединенных Наций, политически суверенны и, по крайней мере потенциально, экономически автономны; (б) что каждое из этих государств имеет фактически только одну, по крайней мере одну преобладающую и исконную, национальную «культуру»; (с) что каждое из этих государств с течением времени может отдельно «развиться» (что на практике, видимо, означает достижение уровня жизни нынешних членов ОЭСР).

Я считаю, что первые два утверждения не совсем верны, или верны лишь в том случае, если учитывать их многозначность, а третье — совершенно ошибочно. Политический суверенитет независимых государств, на котором основывается первое утвержде-

* *Индивид* — человек как вид *Homo sapiens*, в данном случае все представители человечества являются носителями культуры; *индивидуум* — отдельный представитель человечества (личность — *соц.-псих.*), вобравший в себя отдельные, специфические для его среды элементы общечеловеческой культуры. К сожалению, данные понятия часто путают (*отв. ред.*).

ние, по большей частью является фикцией даже для тех стран, которые достаточно сильны в военном отношении, а концепция экономической автономии — полная мистификация. Что касается второго утверждения — о существовании национальной «культуры», одной в каждой стране — несомненно, существует нечто, что можно определить подобным образом. Но такие национальные «культуры» — вовсе не последовательная, не определенная и относительно не изменяемая модель поведения, а скорее сконструированные и постоянно перестраиваемые мифологии. С уверенностью можно сказать, что различия между тем, во что люди верят и как они в среднем ведут себя между, скажем, Кореей, Китаем и Великобританией, огромны. Но гораздо труднее доказать, что в каждом из этих государств существует единая национальная культура с относительно непрерывной исторической преемственностью или что внутригосударственные культурные различия можно безболезненно игнорировать.

Что касается возможностей национального развития в рамках капиталистической мирэкономки, просто невозможно, чтобы оно реализовалось для *всех* государств. Процесс накопления капитала требует существования иерархической системы, в которой прибавочная стоимость распределена неравномерно как в пространстве, так и между классами. Более того, развитие капиталистического производства в историческом времени фактически вело к постоянно возрастающей социально-экономической поляризации населения мира (а на самом деле даже ее требовало). Это дополнялось демографической поляризацией. Таким образом, верно, что, с одной стороны, так называемое национальное развитие в определенной мере всегда возможно, но оно является циклическим процессом в системе. Не менее верно и то, что, поскольку неравное распределение преимуществ как исторически, так и теоретически, постоянно, всякое «развитие» в одной части мирэкономки на самом деле имеет своей оборотной стороной «упадок» или «регресс», либо «слаборазвитость» какого-то другого. Это было не менее справедливо для 1893 г., чем для 1993 г.; более того, про 1593 г. можно сказать то же самое. Таким образом, я не говорю, что страна X не может «развиваться» (сегодня, вчера или завтра). Я утверж-

даю лишь, что в рамках существующей системы не существует пути, двигаясь по которому могли бы одновременно развиваться все (или хотя бы многие) страны.

Отсюда не следует, что какие-либо страны не могут вводить новые формы механизированного производства или развивать информационные технологии, или строить высотные здания, или создавать какие-то другие внешние символы модернизации. Вообще-то это могут все. Но это не обязательно означает, что страна или, по крайней мере, большинство ее населения будут жить лучше. Состояние страны или населения может фактически ухудшиться, несмотря на видимое «развитие». Вот почему мы говорим теперь об «устойчивом развитии», подразумевая нечто реальное и прочное, а не статистический мираж. Без сомнения, именно в этой связи мы говорим о культуре. Она предполагает, что не всякое «развитие» благо, а только то, которое как-то поддерживает, возможно, даже насильственно возобновляет определенные местные культурные ценности, которые мы считаем позитивными и чье сохранение является большим плюсом не только для местного населения, но и для мира в целом.

Вот почему я написал заглавие в форме вопроса: «Геокультура развития, или трансформация геокультуры?» Потому что геокультура развития — историческая форма культурного давления во всех государствах с целью обеспечения программы «модернизации» или «развития», программы, которая оказалась бесполезной для этих стран — привела нас в нынешний тупик. Мы разочаровались в иллюзиях, связанных с «развитием» в том виде, в каком оно проповедовалось в 1945-1970 гг. Мы теперь знаем, что оно может привести в никуда.

Итак, мы ищем альтернативы, которые, однако, все еще часто формулируются как альтернативные пути к «национальному развитию». Вчера государственное планирование и замещение импорта, сегодня структурная перестройка (или шоковая терапия) и экспортно-ориентированная рыночная специализация. А кое-где — какой-то невнятный третий путь. Мы движемся от заклинания к заклинанию, безумно, отчаянно, иногда цинично. В ходе этого процесса у немногих дела идут хорошо и еще лучше, но у большинства — нет. Проведем ли мы следующие 30 лет в том же беличьем колесе? Я

надеюсь, что нет, иначе мы точно сойдем с ума и истощимся вспышками гнева. На самом деле, определенным образом мы уже взрываемся безумным гневом — от Сараево до Могадишо, от Лос-Анджелеса до Ростока, от Алжира до Пхеньяна.

Вместо бесплодных поисков неубедительных альтернативных решений невозможных дилемм, поставленных геокультурой развития, мы должны переключить наше внимание на трансформацию геокультуры, которая происходит на наших глазах и ставит перед нами вопрос о том, куда мы направляемся и куда хотим прийти.

Разочарование в геокультуре развития означало утрату веры в государство, как проводник реформ и оплот личной безопасности. Это запустило самоподдерживающийся цикл. Чем меньше легитимности признается за государствами, тем труднее им навязывать порядок или гарантировать минимальный уровень социального благополучия. И чем труднее становилось государству выполнять эти функции, которые для большинства людей являются *raison d'être** существования государства, тем меньше легитимности за ним признавалось.

Перспективы пугают людей. После 500 лет последовательного роста силы и легитимности государственных структур, к тому моменту, когда большинство людей отказались от альтернативных гарантий безопасности или благополучия, государство внезапно начало терять свою ауру. (Конечно, эти 500 лет можно было насчитать не во всех частях света, множество зон были введены в современную миросистему совсем недавно; но для подобных регионов это справедливо в отношении того периода, когда они уже вошли в миросистему.) Испуганные люди ищут защиты. Они обратились за защитой к «группам» — к этническим группам, к религиозным группам, к расовым группам, к группам, воплощающим «традиционные» ценности.

В то же самое время и в тесной связи с общим разочарованием в реформизме, основанном на действиях или поддержке государ'

* Смысл, разумное основание (*фр.*).

ства, возникла идея «демократизации» — требование политического равенства, идущего много дальше одного лишь избирательного права. Требование «демократизации» выдвигалось не только по отношению к авторитарным государствам, но также и по отношению к либеральным, поскольку либеральные государства были созданы не для развития демократизации, но фактически для ее предотвращения.

Формой, которую приняло требование «демократизации» в последние 25 лет, стало требование больших прав для «групп»: для «большинства» внутри любого государства, не являющегося либеральным, и в еще более жесткой форме — для «меньшинств» внутри любых государств, которые провозгласили себя либеральными. Конечно, понятие «меньшинства» очень условно. Численность «меньшинств» может составлять более 50% всего населения. Черные в Южной Африке, индейцы в Гватемале, женщины в любом государстве мира являются такими «меньшинствами», потому что, какова бы ни была статистика, в политическом и социальном отношении они являются угнетаемыми группами. Но, конечно, негры в США, турки в Германии, курды в Турции, корейцы в Японии также являются примерами подобных меньшинств (в этом случае как с социальной, так и со статистической точек зрения).

Таким образом, новый поворот к «группам» имеет два совершенно различных, почти противоположных, источника. С одной стороны, он питается страхом, дезинтеграцией, и прежде всего боязнью дезинтеграции в будущем. А с другой стороны, он питается самоутверждением угнетенных, их позитивными требованиями мира, действительно основанного на равенстве. Эта двойственность источника новой надежды на «группы» может привести к огромным беспорядкам. Ничто не может быть лучшей иллюстрацией этого, чем распад Югославии. Не надо забывать, что еще недавно Югославия считалась образцом благоразумного решения национального вопроса. Сегодня кажется, что мир и все народы прежней Югославии с ощущением обреченности стоят перед фактом непрерывно распространяющейся и усиливающейся кровавой резни.

Не являются ли эти «группы», с которыми люди связывали свою веру, теми же сущностями, которые мы имели в виду, говоря о «куль-

туре»? Мы освобождаемся, отстаивая отличительные черты нашей культуры. Мы используем это, чтобы защитить себя, обеспечить наши права, потребовать равного отношения. Но в то же самое время каждый раз, когда мы отстаиваем нашу особость, мы покушаемся на самоутверждение других. В прежней Югославии, если вернуться к нашему ужасающему примеру, политический распад государства начался несколько лет назад, когда Сербия отменила автономный статус Косово. В том, что касается Косово, очевидны два факта. Первый — огромное большинство населения сегодня исповедует ислам и говорит преимущественно по-албански. Второй — большинство сербов считают Косово историческим сердцем сербской культуры. Сербия без Косово — это Сербия, лишенная своей культурной истории. Не просто одновременно удовлетворить требования, вытекающие из этих двух фактов.

Для сербов Сербия без Косово все равно как Израиль без Иерусалима. А! кстати, это еще один хороший пример. И отличаются ли эти требования, относящиеся к «культуре», от претензий Ирака к Кувейту? И если да, то в чем отличие? Как можно вытащить самих себя из засасывающей трясины требований и контртребований, которые находят выражение в бесконечном насилии и контрнасилии? Конечно, будет бесполезно и, более того лицемерно отделяться проповедью пацифизма, основанного на показном универсализме, за которым фактически спрятан призыв оставить все как есть, в соответствии со сложившимся в данный момент в мире распределением огневой мощи.

Действительность такова, что мы живем в мире глубокого неравенства, и у нас нет морального права просить кого-то воздержаться от попыток уменьшить это неравенство. Следовательно, мы должны желать «устойчивого развития» для всех, и мы должны признавать требования «культурной» целостности, предъявленные любой группой, любой страной. Если эти требования создают для нас сегодня проблемы, это происходит не потому, что выдвигаются требования, а потому, что ослабевают репрессивные механизмы миросистемы. Великий всемирный беспорядок, в который мы вступили, вызван не борьбой угнетенных, но кризисом структур, которые их угнетают.

В данный период великого всемирного беспорядка, кризиса нашей современной миросистемы, исторического капитализма мы пойдем вперед только в том случае, если будем в состоянии ясно рассмотреть всю картину. Это будет период двойной борьбы — борьбы за сиюминутное выживание и борьбы за оформление грядущей исторической системы, которая в конце концов возникнет из нынешнего системного хаоса. Те, кто пытаются создать новую структуру, повторяя ключевую черту существующей системы — иерархическое неравенство, сделают все для сосредоточения нашего внимания на проблеме сиюминутного выживания, чтобы мы не смогли выдвинуть исторические альтернативы их проекту поддельной трансформации, поверхностной трансформации, оставляющей в неприкосновенности существующее неравенство.

Тот факт, что историческая система находится в кризисе, не означает, что люди не продолжают день за днем делать или пытаться делать то же самое (или, по крайней мере, многое из того), что они делали прежде. Всемирное производство товаров на рынок будет продолжаться. Государства по-прежнему будут иметь армии и вести войны. Правительства по-прежнему будут использовать полицейскую силу для подкрепления своей политики. Накопление капитала будет продолжаться, хотя и с возрастающими трудностями, социальная и экономическая поляризация миросистемы будет углубляться. Как государства, так и люди будут по-прежнему искать способы, обеспечивающие им вертикальную мобильность, направленную вверх в иерархии системы, или предохраняющие их от движения вниз.

С одним, однако, существенным отличием от того, как все это происходило 500 последних лет! Флуктуации внутри системы будут все более бурными и болезненными. Между тем, если во времена, когда историческая система была относительно стабильной, крупномасштабные действия (так называемые революции) оказывали относительно небольшое воздействие на функционирование системы, теперь даже незначительные действия могут оказать относительно большое влияние — в меньшей степени на реформирование сегодняшней системы, чем на определение возможных очертаний системы или систем, идущих ей на смену. Таким образом, вознаг-

раждение вмешательству человека может быть очень велико, но и наказание за невмешательство или неправильно направленные действия тоже велико.

IV

Давайте, в связи со сказанным, рассмотрим антисистемную культурную критику существующей системы и ее геокультуры за 500 лет, в последние 25 лет эта критика с большим шумом сосредоточила свое внимание на четырех центральных положениях: материализме, понимаемом как стремление исключительно к материальным благам, индивидуализме, этноцентризме и деструктивности «пути Прометея». Каждое из направлений этой критики было очень сильным, глубоким, но порой ему не доставало убедительности.

1) Критика материализма была очень тривиальной. Она заключалась в том, что стремление к благополучию, комфорту и материальным выгодам обычно вело (на самом деле вынужденно) к отрицанию других ценностей, иногда называемых духовными. Это было следствием непрерывного движения к секуляризации государства и всех основных социальных институтов. А эта секуляризация была важной опорой системы государств, которая обеспечивала внутренние рамки для бесконечного накопления капитала. Действительно, бесконечное накопление капитала, определяющее черты нашей исторической системы, есть квинтэссенция материалистических ценностей.

Исторически с этой критикой были две проблемы. Во-первых, была тенденция вести ее в интересах прежних привилегированных слоев, на место которых пришли новые привилегированные слои. Поэтому часто эту критику вряд ли можно было бы назвать честной. Она на самом деле была не антиматериалистичной, вопрос преимущественно сводился к тому, чье быка забьют. Или же она использовалась не как критика сильных, но как критика слабых, чьи протесты принимали несколько анархичные формы. И это была, следовательно, форма обвинения жертвы.

Во-вторых, антиматериалистическая критика приобретает смысл только тогда, когда материализм преувеличен. Удовлетворение того,

что называют «основными потребностями» (и еще некоторых потребностей), не есть что-то материалистическое, но является вопросом выживания и человеческого достоинства. Антиматериализм никогда не был слишком убедителен для неимущих. А в иерархической системе, основанной на индивидуальных различиях в доступе к капиталу, антиматериализм был не очень убедителен также и для средних классов, имеющих возможности вблизи увидеть, что происходит на самом верху.

2) Критика индивидуализма является производной от критики материализма. Система, ставящая на первое место материальные ценности, открывает дорогу крысиным гонкам, войне всех против всех. Возникает абсолютно эгоцентрическое мировоззрение, смягченное в лучшем случае определенной приверженностью к нуклеарной семье (ведь все-таки человек смертен). Критики вместо этого превозносили «общество», «группу», «общину», часто «семью». А некоторые критики говорили о первенстве всего человечества.

Здесь критики добились несколько большего успеха, ибо им удалось убедить большие группы людей подчинить свои индивидуальные устремления неким групповым целям. Но эта преданность коллективному оказывалась непрочной. Как только такие общности создавались, они начинали стремиться к тому, чтобы институционализировать свою способность к достижению коллективных интересов через приобретение того или другого вида политической власти. В итоге они вновь втягивались в процесс функционирования современной миросистемы. Система показала себя слишком мощной, чтобы быть сломленной индивидуальной решимостью, в частности индивидуальной решимостью лидеров групп. Власть «развратила» их, как говорил лорд Эктон. Но это была не просто власть, а власть внутри данной специфической исторической системы с ее огромными возможностями для определения путей накопления капитала.

Неизбежным следствием «развращения», «коррупцирования» стало разочарование в коллективизме. Те, кто пожертвовал своими личными целями, обнаружили, что выгоду от этого получили другие, а сами они в долгосрочной перспективе жить лучше не стали (на самом деле часто стали жить хуже).

3) Третье направление критики касалось этноцентризма, особенно его господствующей и наиболее заразной в рамках исторического капитализма формы — европоцентризма, оборачивавшегося на поверхности расизмом. Критики указали, что грубой версией европоцентризма стал расизм, ведущий к социальной дискриминации и сегрегации групп, отмеченных знаком «низшие». Но критики шли дальше. Европоцентризм, говорили они, имеет и уточненное, более либеральное лицо — универсализм.

Европейцы навязывали свои частные ценности остальному миру выдавая их за ценности универсальные. И таким образом защищали свое господство и богатство. Действительно, последней, наиболее изощренной формой этноцентрического универсализма стала концепция меритократии, требующая, чтобы «крысиные гонки» велись по честным правилам, но игнорирующая, что бегуны начинали гонку с разных стартовых позиций, которые обусловлены социальными, а не генетическими.

Эта критика была очень мощной, но была ослаблена последствиями элементарной тактики *divide et impera** со стороны власти имущих. Нападки на этноцентризм выпустили пар, разделяющая линия между высшими и низшими постоянно сдвигалась, вводя внутрь высшего слоя некоторых наиболее энергичных борцов. После этого борцы быстро пересматривали свои взгляды. Поскольку в миросистеме существует постоянная демографическая поляризация, двигать разделяющую линию было просто, эти подвижки просто служили для поддержания более менее постоянного процента тех, кто находится наверху. Но в политическом отношении это означало, что каждое поколение протестующих должно было фактически начинать с нуля.

4) Наконец, критика «пути Прометея» была самой последней по времени, но во многих отношениях наиболее эффективной. Необходимость накопления капитала привела не только к технологическому прогрессу (вероятно, нейтральному в худшем случае, благотворному в лучшем), но и к огромным разрушениям. Беспокойство по

поводу подверженности исторического капитализма социально-психологической коррозии, выражаемое в терминах концепций «отчуждения» и «аномии», соединилось с беспокойством по поводу подверженности исторического капитализма геофизической коррозии, что выражается в экологических концепциях.

Сегодня признается, что склонность исторического капитализма к саморазрушению громадна и увеличивается быстрыми темпами. Но и это направление критики имеет свои пределы в смысле удовлетворяемости жалоб. Отчуждение и аномия породили товар — психотерапию. Экология породила товары очистки и использования вторичных ресурсов. Вместо искоренения причин деструкции мы пытаемся заштопать порванную ткань.

V

Мы сегодня стоим перед вызовом — в эпоху перехода к новой исторической системе надо взять четыре направления критики исторического капитализма (глубокой критики, которая, однако, была сформулирована недостаточно убедительно) и преобразовать их в позитивную модель альтернативного социального устройства, которая не попала бы в ту же ловушку, в какую попала предыдущая (частичная) критика. Мы должны быть радикальными, то есть мы должны добраться до корней дела. И мы должны предложить действительно фундаментальную перестройку. Это проект по крайней мере на 50 лет. И это проект общемирового охвата, он не может быть осуществлен только в некоторых местах или частично, хотя действия на местах должны сыграть главную роль в этом преобразовании. И для него требуется на полную мощь использовать человеческое воображение. Но это возможно.

Подобное возможно, но ничто не гарантировано. Триумфализм сведет на нет наши усилия. То, что мы должны отыскать — скорее правильное сочетание трезвости и фантазии. И мы можем обнаружить это в самых неожиданных местах, в каждом уголке мира.

¹ Wallerstein. *Unthinking Social Science* (Cambridge: Polity Press, 1991), P. 104-124, Sec. II.

* Разделяй и властвуй (*лат.*).

² Mead, Margaret, ed. *Cultural Patterns and Technical Change* (Paris: UNESCO 1953), p. 5. Стоит походя заметить, что были созданы редакционная группа из 7 человек и Наблюдательный Комитет из 18 человек (отчасти они совпадали), насколько я могу судить, исключительно из американцев. Иллюстрация состояния социальной науки в 1953 г.

³ См. очерк «Национальное и универсальное: возможна ли всемирная культура?» в настоящем сборнике.

II. Дилеммы мирового политического развития и общественные науки

1968-й - РЕВОЛЮЦИЯ В МИРОСИСТЕМЕ: ТЕЗИСЫ И ВОПРОСЫ

Тезис 1: 1968 был революцией в миросистеме и революцией миросистемы.

Революция 1968 г. была именно революцией; это была единая революция. Она была ознаменована демонстрациями, беспорядками и насилием во многих частях мира на протяжении по крайней мере трех лет. Ее происхождение, последствия и уроки не могут быть правильно проанализированы при обращении лишь к особым обстоятельствам местных проявлений этого глобального феномена, сколь бы сильно ни обуславливали местные факторы детали политической и социальной борьбы в каждой из стран.

Как событие, 1968 год давно закончился. Однако это было одно из великих, формирующих историю нашей современной миросистемы событий, событие, которое мы называем историческим водоразделом. Это значит, что культурно-идеологические реалии данной миросистемы были решительно изменены событием, которое само по себе было кристаллизацией определенных долговременных структурных тенденций функционирования системы.

Происхождение

Тезис 2: Протест в 1968 г. был направлен прежде всего против гегемонии США в миросистеме (и против советского согласия с этой гегемонией).

В 1968 г. мир все еще жил в том, что во Франции называлось «славным тридцатилетием» — периодом невероятного расширения капиталистической мирэкономки, последовавшем за окончанием Второй мировой войны. Или, скорее, 1968 последовал непосредственно после того, как стали заметны первые признаки начала длительной стагнации мирэкономки, то есть после серьезных трудностей, которые стал испытывать доллар США в 1967 г. (трудностей, которые с тех пор не кончались).

Период 1945-1967 гг. был периодом неоспоримой гегемонии США в миросистеме, основой которой (гегемонии) было невероятное превосходство производственной эффективности США во всех областях вследствие Второй мировой войны. США конвертировали это экономическое преимущество во всемирное политическое и культурное господство, предприняв в период после 1945 г. четыре основные политические инициативы. Они построили вокруг себя «систему союзов» с Западной Европой (и Японией), характеризуя себя как лидера «свободного мира» и делая большие вложения в экономическую реконструкцию этих регионов («план Маршалла» и т. д.). США тем самым добивались как обеспечения роли Западной Европы и Японии как главных потребителей продукции своей экономики, так и гарантирования их внутренней политической стабильности и положения клиентов в международных делах.

Во-вторых, США вступили в отношения стилизованной «холодной войны» с СССР, основанные на резервировании для СССР небольшой, но важной зоны политического господства (Восточная Европа). Так называемые Ялтинские соглашения дали обеим странам возможность представлять свои отношения как неограниченное идеологическое противостояние при важной оговорке, что не должно происходить никаких изменений границы Восток-Запад и гарантируется отсутствие реального военного противостояния, особенно в Европе.

В-третьих, США стремились к достижению постепенной, относительно бескровной деколонизации Азии и Африки, предполагая, что этой цели можно добиться через так называемых умеренных политических лидеров. Это стало особенно неотложной задачей с победой коммунистической партии в Китае, победы (отметим это), достигнутой вопреки советам СССР. Под умеренностью понималось отсутствие существенных идеологических связей с СССР и мировым коммунизмом и, что еще важнее, желание деколонизованных государств участвовать в существующей системе международных экономических отношений. Этот процесс деколонизации под контролем умеренных был подкреплен случившимся время от времени и аккуратным использованием ограниченных военных сил США.

В-четвертых, руководство США стремилось создать внутри страны единый фронт, чтобы свести к минимуму внутренний классовый конфликт, осуществляя, с одной стороны, экономические уступки квалифицированному, объединенному в профсоюзы рабочему классу, а с другой, вовлекая рабочее движение США во всемирный антикоммунистический крестовый поход. Оно пыталось также приглушить потенциальный расовый конфликт, устраняя явную дискриминацию на политической арене (прекращение сегрегации в вооруженных силах, признание неконституционности сегрегации во всех сферах, акт об избирательных правах граждан). США поощряли своих основных союзников работать параллельно, добиваясь максимального внутреннего единства.

Результатом этой политики, инициированной США, стала система гегемонистского контроля, которая вполне бесперебойно функционировала в 1950-х. Она сделала возможным продолжающееся расширение мира-экономики при значительных выигрышах в уровне дохода для средних слоев по всему миру. Она сделала возможным создание сети агентств ООН, которая в том момент отражала политическую волю США и обеспечивала относительную стабильность на мировой политической арене. Эта политика внесла свой вклад в удивительно быструю «деколонизацию» значительной части того, что стало называться третьим миром. И она обеспечила, что на Западе в целом 1950-е были периодом относительного политического спокойствия.

Однако к 1960-м гг. этот образец успешной «гегемонии» начал проявлять признаки износа, отчасти в результате своих собственных успехов. Экономическое восстановление сильных союзников США было столь успешно, что они начали утверждать некоторую свою экономическую (и даже политическую) автономию. В этом был, например, один из смыслов голлизма, хотя и не единственный. Смерть Сталина обозначила конец «монолитного» советского блока. За ней последовал, как мы знаем, процесс (все еще продолжающийся) десталинизации и десателлитизации, двумя главными поворотными пунктами которого были доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г. и китайско-советский раскол в 1960 г. Постепенность и мягкость процесса деколонизации в третьем мире была на-

рушена двумя продолжительными и истощающими антиколониальными войнами в Алжире и во Вьетнаме (в связи с ними надо упомянуть и длительную борьбу на Кубе). Наконец, политические «уступки» 1950-х гг. «группам меньшинств» в США (и повсюду в западном мире) обострили ожидания, которые на самом деле не были удовлетворены ни в политической, ни в экономической областях и потому на практике привели к дальнейшей политической мобилизации вместо того, чтобы ее сдержать.

1960-е начались тандемом Кеннеди и Хрущева, которые по сути обещали вести дела лучше. В отношениях между собой им удалось снять суровые идеологические путы, которые так успешно сдерживали мир в 1950-х, однако не проведя каких либо фундаментальных реформ в существующей системе. Когда они были устранены от власти и заменены тандемом Джонсон-Брежнев, надежды начала 1960-х испарились. Однако возобновленное идеологическое давление, которое вновь пытались использовать власти, на сей раз было направлено на более критически настроенное мировое общественное мнение. Такова была та предреволюционная пороховница, которая взорвалась оппозицией гегемонии США в ее многочисленных проявлениях — в самих Соединенных Штатах, во Франции, в Чехословакии, в Мексике, в других местах.

Тезис 3. Второй (но в конечном счете более страстный) протест 1968 г. был направлен против «старых левых» антисистемных движений.

XIX век стал свидетелем рождения двух главных разновидностей антисистемных движений — социального и национального. Первое делало ударение на угнетении пролетариата буржуазией. Второе — на угнетении обездоленных народов (и «меньшинств») господствующими группами. Движения обоих видов стремились достичь «равенства» в самом широком смысле. Фактически движения обоих видов без изменений использовали лозунг Французской революции «Свобода, равенство и братство».

Во второй половине XIX — первой половине XX вв. оба движения в одной стране за другой, постепенно почти повсюду, обретали конкретную организационную форму. Оба движения пришли к подчеркиванию важности прихода к государственной власти как необ-

ходимого промежуточного достижения на пути к конечным целям. Однако социальное движение пережило в начале XX в. важный раскол всемирного масштаба по вопросу о пути к государственной власти (парламентская стратегия против повстанческой).

К 1945 г. на мировой сцене существовали три явно выраженных и отдельных друг от друга сети таких движений: Третий Интернационал коммунистических партий, Второй Интернационал социал-демократических партий и различные националистические (или национально-освободительные) движения. Период 1945-1968 гг. был для этих трех движений временем замечательных политических успехов. Партии Третьего Интернационала тем или иным способом пришли к власти в ряде стран, более или менее сопредельных с СССР (Восточная Европа, Китай, Северная Корея). Партии Второго Интернационала (я употребляю этот термин очень расширительно, включая в эту категорию и демократическую партию в США в преобразованном Рузвельтом виде) пришли к власти (или по крайней мере добились *droit de cite**, то есть права *alternance*** в западном мире (Западная Европа, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия). Националистические или национально-освободительные движения пришли к власти в большинстве прежде колонизованных зон Азии, Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна и, в несколько иных формах, в давно уже независимой Латинской Америке.

Важный момент для анализа революции 1968 г. состоит в том, что возникшие тогда новые движения возглавлялись в основном молодыми людьми, которые росли и воспитывались в мире, где традиционные антисистемные движения не находились в ранней фазе мобилизации, а уже достигли своей промежуточной цели — получения государственной власти. Потому эти «старые» движения могли быть судимы не только по своим обещаниям, но и по практической деятельности у власти. Так их и судили и признали в значительной мере ответственными.

Право гражданства (*фр.*)

Здесь — чередование у власти (*фр.*)

Они были признаны ответственными по двум главным основаниям. Во-первых, из-за уровня эффективности оспаривания существующей капиталистической миросистемы и ее текущего институционального воплощения в гегемонии США. Во-вторых, из-за качества жизни, которое они создали, используя «промежуточные» государственные структуры, предположительно контролируемые ими. Так и получилось, говоря словами известного афоризма 1968 г., что эти движения уже не могли больше рассматриваться как «часть решения». Скорее они стали «частью проблемы».

Гнев организации «Студенты за демократическое общество» (СДО) в США против «либералов», *soixantehuitards** против ФКП (не говоря уже о социалистах), Социалистического союза немецких студентов (ССНС) против СДПГ был особенно страстным из-за того, что они чувствовали себя основательно обманутыми. Это было практическое выражение другого афоризма 1968 г.: «Никогда не доверяйте тем, кому за тридцать». Это был не столько конфликт поколений на уровне личностей, сколько конфликт поколений на уровне антисистемных организаций. Я считаю не случайным, что основная вспышка в советском блоке произошла в Чехословакии, стране с особо длительной и сильной традицией Третьего Интернационала. Вожди «пражской весны» вели свою битву во имя «гуманистического коммунизма», то есть против предательства, представленного сталинизмом. Также неслучайным я считаю то, что главный взрыв в третьем мире случился в Мексике, стране, где дольше всего и непрерывно у власти находилось национально-освободительное движение, очень важные выступления произошли в Дакаре и Калькутте, городах с очень длительной националистической традицией.

Не только революция 1968 г. была по всему миру направлена, пусть и во вторую только очередь, против «старых левых», но и эти «старые левые», как мы знаем, платили той же монетой. «Старые левые» прежде всего были встревожены, обнаружив, что их атакуют слева (и кто!? нас-то, имеющих столь безупречную репутацию?), а затем пришли в ярость из-за авантюризма, который, на их взгляд, был представлен «новыми левыми». По мере того как «старые ле-

вые» отвечали все большей враждебностью и нетерпимостью на распространяющийся «анархизм» «новых левых», те стали делать все большее и большее ударение на центральное место в идеологии их борьбы со «старыми левыми». Это приняло форму многообразных «маоизмов», развившихся в начале 1970-х гг. во всех частях света, включая, разумеется, сам Китай.

Тезис 4: Контркультура была частью революционной эйфории, но не играла центральной политической роли в 1968 г.

То, что мы в конце 1960-х стали называть «контркультурой», было бросающимся в глаза элементом различных движений, принимавших участие в революции 1968 г. В общем смысле мы понимаем под контркультурой повседневное поведение (сексуальная свобода, наркотики, особенности одежды) и искусство, свободные от условностей, небуржуазные и дионисийские. Существовал громадный количественный рост таких форм поведения, прямо ассоциировавшихся с участием в «движении». Вудстокский фестиваль в США представлял собой что-то вроде символического пика такой связанной с движением контркультуры. •

Но, разумеется, контркультура не была совершенно ни на что не похожим явлением. Были два века «богемы», ассоциирующейся с молодостью и искусством. Ослабление пуританской сексуальной морали было устойчивой тенденцией развития на протяжении XX в. во всем мире. Более того, и раньше «революции» часто сопровождались утверждением контркультуры. Здесь, однако, следует отметить существование двух моделей прежних революций. В тех революциях, которые развивались планомерно, организованно и путем длительной вооруженной борьбы, революционный пуританизм обычно становился важным элементом дисциплины (как в истории китайской коммунистической партии). Там же, где обстоятельства развития революции были связаны со значительной долей стихийной активности (такими были случаи русской революции 1917 г. или триумф Кастро на Кубе), стихийность сопровождалась разрушением социальных ограничений и потому ассоциировалась, по крайней мере на первых порах, с контркультурными формами поведения (например, движение «свободной любви» в России после 1917 г.). В рево-

* Люди шестьдесят восьмого года {фр.}

люции 1968 г., конечно, компонент незапланированной стихийности был особенно силен, и потому, как сформулировано в тезисе, контркультура стала частью революционной эйфории.

Однако, как все мы узнали в 1970-х, очень легко отделить контркультуру от политической (революционной) активности. На самом деле легко развернуть контркультурные тенденции в сторону очень прибыльных ориентированных на потребление стилей жизни (переход от хиппи к яппи). Хотя контркультура «новых левых» была наиболее заметной чертой как для большинства самих этих сил, так и для их противников, при более серьезном рассмотрении она оказывается незначительным элементом общей картины. Может быть, дальнейшее распространение дионисийского стиля жизни является одним из последствий 1968 года. Но оно не является частью его наследия. И теперь нам надо обратиться к политическому наследию тех событий.

Наследие

Наследие событий, являющихся историческими водоразделами, всегда является сложным феноменом. С одной стороны, оно всегда неоднозначно. С другой, оно всегда является предметом борьбы наследников, претендующим на наследие, то есть на легитимность традиции. Заметьте, пожалуйста, что уже существует традиция 1968 года. Традиции создаются быстро, и «традиция» революции 1968 г. уже функционировала в начале 1970-х. А в 1988 г. состоялось много юбилейных торжеств, вышло много книг, предпринято много попыток восстановления. Всемирно-исторические события имеют свою собственную жизнь и сопротивляются попыткам просто захватить их. 1968 год в этом отношении не отличается от других. Я предостерег таким образом вас от самого себя и, тем не менее, сейчас изложу, что я думаю о двух основных элементах наследия 1968 года.

Тезис 5: Революционные движение, представляющие «меньшинства» или обездоленные слои, более не нуждаются в том, чтобы быть, и не являются второстепенными по отношению к революционным движениям, претендующим на представление групп «большинства».

1968 год идеологически похоронил концепцию «ведущей роли» промышленного пролетариата. Эта ведущая роль оспаривалась и задолго до того, но никогда столь массово и эффективно. Потому что в 1968 г. она оспаривалась на основании того, что промышленный пролетариат был и всегда будет структурно лишь одной из составных частей всемирного рабочего класса.

Исторические подходы обеих разновидностей «старых левых» движений (социалистического и националистического) основывались на том, что они представляют интересы «главных» угнетенных — будь то «рабочий класс» данной страны или «нация», которой не дают выразить свои национальные устремления. Эти движения придерживались той точки зрения, что жалобы и претензии других групп, которые считали, что с ними обходятся несправедливо — лишенные самовыражения национальности для социалистических движений, рабочий класс для националистических движений, женщины для тех и для других, любые иные группы, которые могут жаловаться на социальное или политическое угнетение, — являются в лучшем случае второстепенными, а в худшем — подрывными. Группы «старых левых» имели тенденцию доказывать, что их собственный приход к государственной власти должен быть основной целью и главным достижением, после чего (доказывали они) угнетенные «второй очереди» исчезнут сами по себе или по крайней мере их проблемы будут разрешены соответствующими политическими действиями в «послереволюционный» период.

Нет необходимости говорить, что не все соглашались с такими доводами. А социалистические и националистические движения мира частенько жестоко ссорились между собой именно по вопросу приоритетов в борьбе. Но ни одно из «старых левых» движений никогда не покидало в данном вопросе теоретической почвы стратегических приоритетов в борьбе за равенство, хотя многие конкретные движения делали тактические и временные уступки по соответствующим вопросам в интересах укрепления определенных политических союзов.

Пока «старые левые» движения находились в предреволюционной, мобилизационной фазе, споры о том, что произойдет или не произойдет после их прихода к государственной власти, оставались

гипотетическими но как только они оказались у власти, политическое разрешение проблемы в результате овладения государственной властью.

чские последствия стало возможно оценивать на основе некоторой очевидности. К 1968 г. многие из таких оценок были сделаны, и противники многообразного «другого» неравенства могли с известными основаниями доказывать, что достижение власти «старыми левыми» группами на самом деле не покончило с этим «другим» неравенством, или по крайней мере существенно не изменило многочисленные межгрупповые иерархии, существовавшие прежде.

В то же время в результате столетия борьбы начали проявляться два социологических факта, оказывавших большое влияние на эту дискуссию. Во-первых, вопреки прежним теоретическим построениям, тенденция капиталистического развития вовсе не была направлена к превращению почти всех трудящихся слоев мира в городских, мужского пола, взрослых наемных фабрично-заводских рабочих, идеальный тип «пролетариата», как он понимался традиционно. Реальность капитализма с точки зрения структуры занятости была намного более сложной, чем эта модель. Этот идеально-типический «пролетариат», разумеется, составлял меньшинство трудящихся слоев мира в 1850 г. Но тогда думали, что это просто переходное состояние. Однако такой идеально-типический «пролетариат» оставался меньшинством и в 1950 г. А теперь ясно, что и в 2050 г. эта особая группа занятых, вероятно, останется меньшинством. А потому организовывать движение вокруг этой группы значит отдавать приоритет — постоянный и незаконный приоритет — требованиям лишь одной разновидности из многих разновидностей трудящихся слоев мира.

Во-вторых, стало ясно, что «национальности» не являются чем-то оформленным и поддающимся объективному определению. Национальности — скорее продукт сложного процесса постоянного социального творения, сочетающего достижение осознания (самими и другими) и социально-правовое «наклеивание этикеток». Отсюда следует, что в каждой нации могут быть и будут субнациональные группы, и их выделение грозит быть бесконечным каскадным процессом. Отсюда следует, что каждое превращение какого-либо «меньшинства» в «большинство» создает новые «меньшинства». Этот процесс невозможно оборвать, и потому не может существовать «авто-

матического» разрешения проблемы в результате овладения государственной властью.

Если «пролетариату» и «угнетенным нациям» не суждено превратиться в бесспорное большинство, если они навсегда останутся разновидностью «меньшинств» наряду с другими «меньшинствами», тем самым их притязания на стратегическое первенство в антисистемной борьбе серьезно подрываются. Именно этот подрыв и был осуществлен в 1968 г. Или, скорее, революция 1968 г. привела к кристаллизации признания этих реалий во всемирном политическом действии антисистемных движений.

После 1968 г. ни одна из «других» групп, участвующих в борьбе, — ни женщины, ни расовые «меньшинства», ни сексуальные меньшинства, ни инвалиды, ни экологи (те, кто отказывается безоговорочно принимать императивы растущего мирового производства) — никогда больше не признает законности «ожидания» чьей-то другой революции. И с 1968 г. «старые левые» движения сами стали все больше смущаться, заявляя требования (на самом деле колеблются, продолжать ли их заявлять) «отложить» требования до некоей предполагаемой постреволюционной эпохи. Очень легко удостовериться в этих изменениях общественной атмосферы. Простой количественный анализ мировой левой прессы, сравнивая, скажем, 1985 год с 1955, покажет драматичное возрастание места, отводимого этим «другим» заботам, которые некогда рассматривались как «второстепенные».

Конечно, изменения более масштабны. Сам язык нашего анализа изменился, был изменен сознательно и открыто. Мы озабочены расизмом и сексизмом даже в областях, когда-то считавшихся безобидными (прозвища, юмор и т. п.). Изменилась и организационная структура нашей жизни. В то время как до 1968 г. считалось желательным объединить все антисистемные движения воедино, по крайней мере в единое движение в каждой отдельной стране, теперь такая форма единства уже не оценивается как безусловно желательная. Множественность организаций, каждая из которых представляет особую группу или особый оттенок позиции, гибко связанных в некое подобие альянса, рассматриваются сегодня, по крайней мере многими рассматриваются, как благо само по себе. То, что было

pis aller, теперь провозглашено «радужной коалицией» (широко распространившееся американское расхожее выражение).

Победа революции 1968 г., победа над расизмом, сексизмом и тому подобным злом, носила тройственный характер. Первым результатом стало изменение правовой ситуации (государственной политики). Вторым стало изменение ситуации внутри антисистемных движений. Третий результат состоял в смене умонастроений. Нет необходимости подражать Полани в этом вопросе. Группы, которые были угнетены, могут все еще с полным основанием жаловаться, что произошедшие изменения неадекватны, что расизм и сексизм, как и другие формы угнетательского неравенства, продолжают оставаться существенной частью реальности, в которой мы живем. Более того, несомненная правда, что во всех сферах произошел «откат» в решении этих проблем. Но бессмысленно также не признавать, что революция 1968 г. обозначила, при всех своих недостатках, исторический поворотный пункт.

Даже если государства (или некоторые из них) радикально регрессируют, антисистемные движения никогда не смогут сделать этого (или, если сделают, то тем самым утратят свою легитимность). Это не означает, что в антисистемных движениях больше нет споров о приоритетах. Это означает, что эти споры стали спорами об основных проблемах стратегии, и что «старые левые» движения (или течения) уже не отказываются принимать участие в таких дискуссиях.

Тезис 6: В антисистемных движениях вновь начались дебаты по основным вопросам стратегии преобразования общества, и это будет главная политическая дискуссия предстоящих двадцати лет.

Сегодня существуют шесть разновидностей антисистемных движений, понимаемых в широком смысле, (а) В западных странах существуют «старые левые» движения в форме профсоюзов и сегментов традиционных левых партий — лейбористских и социал-демократических, к которым можно, пожалуй, добавить коммунистические

партии, хотя, за исключением Италии, они слабы и становятся все слабее. (b) В некоторых западных странах существует широкий спектр новых социальных движений — женщин, «меньшинств», «зеленых» и т. д. (c) В социалистическом блоке есть традиционные коммунистические партии у власти, в которых никогда не удавалось истребить постоянно существующий антисистемный вирус, который время от времени порождает обновленческую (и «лихорадочную») активность. Феномен Горбачева, поскольку он апеллирует к «ленинизму» против «сталинизма», может быть приведен как пример этого, (d) В том же социалистическом блоке сеть возникающих внепартийных организаций, очень разных по природе, которые все больше напоминают по своему облику новые социальные движения Запада. Однако они отличаются особым вниманием к проблеме прав человека и антибюрократизмом, (e) В третьем мире существуют сегменты традиционных национально-освободительных движений, все еще стоящие у власти (например, в Алжире, Никарагуа, Мозамбике) или наследники таких движений, уже не имеющие власти (хотя «наследие» таких явлений, как насеризм в арабском мире, имеет тенденцию к дроблению). Разумеется, в странах, где еще не завершена революция (таких, как Южная Африка или Сальвадор) движения, по необходимости находящиеся в мобилизационной стадии борьбы, обладают силой и характеристиками своих предшественников в других государствах, когда те были на аналогичной стадии, (f) Наконец, в тех же самых странах третьего мира есть новые движения, отвергающие некоторые из «универсалистских» тем прежних движений (рассматриваемых как «западные» темы) и выдвигающие на первый план «исконные» формы протеста, часто в религиозном об-
--чении.

Кажется ясным, что все шесть разновидностей движений далеки от того, чтобы быть единообразно антисистемными. Однако у всех шести разновидностей есть некоторое значимое антисистемное наследие, некий непрерывный антисистемный резонанс, и некоторый неисчерпанный антисистемный потенциал. Более того, шесть разновидностей движений, разумеется, не полностью совпадают с границами обозначенных мною географических зон. Можно найти диффузию между зонами, однако географическое разделение

* На худой конец, за отсутствием лучшего (*фр-*)

разновидностей в целом соответствует в широком смысле действительности данного момента.

Я полагаю, что есть три принципиальных замечания, которые необходимо сделать относительно отношений этих трех разновидностей (потенциально, частично, исторически) антисистемных движений между собой. Первое: во время революции 1968 г. шесть разновидностей были вполне враждебны друг к другу. Это было особенно верно, как мы уже отметили, для отношений «старой» разновидности к «новой» в каждой из зон. Но в целом это верно и в более широком смысле. То есть каждая из шести разновидностей имела тенденцию быть настроенной критически, даже враждебно по отношению ко всем остальным пяти. Эта первоначальная многогранная взаимная враждебность имела тенденцию к существенному уменьшению в следующие двадцать лет. Сегодня можно говорить о том, что шесть разновидностей движений демонстрируют неустойчивую (и все еще наполненную подозрениями) терпимость по отношению друг к другу, что, конечно, очень далеко от того, чтобы они стали политическими союзниками.

Второе: шесть разновидностей движений начали осторожно обсуждать между собой стратегию преобразования общества. Один из принципиальных вопросов, конечно же, желательность стремления к государственной власти, вопрос, который глубоко отделил три «старых» разновидности от трех «новых». Другой, производный от первого, вопрос касается структуры организационной жизни движений. Это на самом деле проблемы, которые широко обсуждались в период 1850-1880-х гг. и для того периода были более или менее разрешены. Теперь они опять поставлены и обсуждаются вновь, теперь, однако, в свете «реально существующего» опыта государственной власти.

Третье: когда и если эта дискуссия о глобальной стратегии найдет свое разрешение, даже если это разрешение примет форму слияния трех разновидностей движений в одну великую всемирную семью, из этого вовсе не воспоследует, что будет существовать единая антисистемная стратегия. Всегда было, и в еще больших масштабах будет, что эти движения очень сильно пропитаны лицами, группами и слоями, чьи сущностные надежды связаны не с дости-

жением эгалитарного, демократического мира, но в сохранении неэгалитарного и недемократического порядка, пусть даже и неизбежно отличного от существующей капиталистической мирэкономике (переживающей сейчас свой затяжной структурный кризис). Иначе говоря, по завершении дискуссии между движениями мы, вероятнее всего, станем свидетелями борьбы внутри этой возможно единой семьи движений между теми, кто выступает за эгалитарный, демократический мир, и их оппонентами.

Уроки

Какие выводы следует нам извлечь из революции 1968 г. и последующих событий? На самом деле, какие выводы нам следует извлечь из более чем столетия всемирной организованной антисистемной деятельности? Здесь, я полагаю, формат тезисов не подходит. Я предпочту излагать проблемы в форме постановки вопросов. Это вопросы, поспешу добавить, ответы на которые невозможно найти в ходе одного нашего коллоквиума или в спокойной обстановке интеллектуальной дискуссии. Это вопросы, ответы на которые могут быть найдены лишь в практике множественных движений. Но эта практика, разумеется, включает в качестве своей части анализ и дебаты, как публичные, так и с глазу на глаз, особенно те, которые проходят в контексте политической ангажированности.

Вопрос 1: Возможно ли добиться значимых политических изменений без взятия государственной власти?

Я полагаю, что ответ зависит прежде всего от того, как определить смысл слова «значимый». И тем не менее вопрос вполне реальный. Если марксисты выиграли политический спор с анархистами в XIX в., а политические националисты выиграли свой параллельно шедший спор с культурными националистами, объяснение этому лежит в убедительной силе сделанного ими предположения: те, кто пользуется привилегиями, никогда не откажутся от них по доброй воле и будут использовать свой контроль над государственными средствами насилия, чтобы предотвратить значимые изменения.

Отсюда следовало, что отстранение привилегированных от государственной власти было обязательной предпосылкой значимых изменений.

Кажется совершенно ясным, что даже сегодня в некоторых странах (скажем, в Южной Африке) существуют правительства, представляющие привилегированные меньшинства, которые решительно не желают поступиться своими привилегиями. Для этих стран очень убедительным кажется предположение, что никакие значимые политические изменения не могут произойти без энергичной и почти неизбежно насильственной политической активности. Южная Африка, несомненно, является примером квинтэссенции государства, в котором большинство граждан никогда не имело *droit de cite* и потому никогда не ощущало правительство в каком бы то ни было смысле «своим».

Но сегодня есть большое количество государств, в которых большинство населения верит, что государство в определенном смысле является «их». Большинство «постреволюционных» режимов в общем обладают таким глубинным чувством народной поддержки. Это, несомненно, верно по отношению к СССР, Китаю, Алжиру. Но если к Алжиру, то почему не к Индии? И разве это не справедливо по отношению к Швеции, где социал-демократические правительства в течение 50 лет «интегрировали» рабочий класс в политическую жизнь? А как насчет Франции или Германии? Любой может продолжить список. Каждый национальный случай обладает своей спецификой. Но несомненно ясно, что существует очень большое количество государств, где широка народная поддержка и где, поэтому, борьба за первичный доступ к государственной власти не встречает большого отклика. Вероятно, поэтому не слишком полезно предполагать, что некоторые из этих государственных структур являются «постреволюционными», подразумевая тем самым, что другие являются «предреволюционными». Большинство из них находится в одном состоянии с точки зрения уровня народной поддержки (и народного цинизма). Еще раз повторю, что это не относится к государствам типа Южной Африки, где на первом месте до сих пор стоит проблема доступа большинства к государственной власти. Но таких государств сегодня меньшинство.

Не является ли на самом деле главной проблемой для многих государств, и пожалуй в первую очередь для тех, которые самосознают себя «постреволюционными», вопрос о достижении контроля над государством со стороны «гражданского общества»? Не является ли именно этот вопрос ядром политических дискуссий не только в «социалистических странах», но также и в Латинской Америке, и в Южной Европе, и в черной Африке? «Больше демократии — больше социализма», — говорит г-н Горбачев. Но если так, какова тогда функция антисистемного движения в СССР?

Вопрос 2: Есть ли иные формы общественной власти, помимо «политической», которые есть смысл завоевывать?

Очевидно, существуют другие формы общественной власти — экономическая, культурная («гегемония» по Грамши), власть над собой (личная и «групповая» автономия). И, очевидно, индивиды, группы и организации постоянно стремятся к таким видам власти. Но как усилия по их обретению, сочетаются с политической деятельностью антисистемных движений? В каком смысле получение большей экономической власти, или большей культурной власти, или большей власти над собой на самом деле способствуют глубинному преобразованию миросистемы?

Здесь перед нами стоит вопрос, который занимал антисистемные движения с самого их зарождения. Являются ли фундаментальные изменения последствием нарастания улучшений, которые шаг за шагом со временем создают необратимость изменений? Или же такие нарастающие достижения являются в значительной степени самообманом, на деле ведущим к демобилизации и тем самым к сохранению существующих несправедливостей? Это, конечно же, вновь спор «реформа или революция?», который куда шире, чем его ограниченная версия, символизируемая противостоянием Бернштейна против Ленина.

Иначе говоря, существует ли осмысленная стратегия, которую можно выстроить так, чтобы она включала в себя пестроту устремлений к Многообразным формам власти? Потому что именно это предполагается или, по крайней мере подразумевается во многих аргументах новых социальных движений, зародившихся накануне 1968 г.

Вопрос 3: Следует ли антисистемным движениям обрести жесткие организационные формы?

Создание бюрократических организаций как орудия общественных изменений было великим социологическим изобретением политической жизни XIX в. Было много споров, должны ли такие организации быть массовыми или кадровыми, легальными или подпольными, направленными на решение одной или многих задач, должны ли они требовать ограниченной или полной приверженности от своих членов. Но в течение более века почти не было сомнений, что какая-то организация совершенно необходима.

Факт, очень давно продемонстрированный Михельсом, что такие организации обретают собственную жизнь, которая начинает прямо мешать осуществлению их официального *raison d'être**, не слишком приглушил энтузиазм создавать все новые организации. Даже стихийные движения 1968 г. стали преобразовываться в множество таких организаций. Несомненно, это имело следствием, что многие из поколения после 1968 г. чувствовали себя очень неудобно, что показали резкие споры между *Fundis* и *Realos** в немецком движении «зеленых».

Напряженность между политической эффективностью, которую представляют организации, и воплощаемыми ими же идеологическими и политическими опасностями, пожалуй, не поддается разрешению. Возможно, это нечто, с чем просто приходится жить. Мне, однако, кажется, что это вопрос, который необходимо обсуждать прямо и глубоко, иначе мы растечемся на две бессмысленные фракции «сектантов» и «отсевшихся». Во всем мире, я полагаю, в начале периода спада после 1968 г. очень сильно выросло количество людей, которые являются «экс-активистами», в настоящее время «неприсоединившимися», но при этом хотят быть как-то политически активными. Я не думаю, мы не должны думать об этом как о «деполитизации» разочарованных, хотя некоторые из них относят-

* Смысл существования (*фр.*)

'Фундаменталисты (с ироническим оттенком), сторонники принципов . • • реалисты (*нем.*)

ся к этой категории. Это скорее страх, что организационная деятельность эффективна лишь по видимости. Но если так, что может ее заменить, и может ли?

Вопрос 4: Существует ли какая-то политическая основа, на которой антисистемные движения Запада и Востока, Севера (Запад и Восток вместе) и Юга могут реально объединить усилия?

Тот факт, что существуют *шесть* разновидностей антисистемных движений, «старые» и «новые» разновидности в каждой из трех разных зон, представляется мне не случайным и не преходящим явлением. Он отражает глубокие отличия политических реалий в трех зонах. Существуют ли какие-то объединяющие политические проблемы, которые могли бы породить единую всемирную стратегию? Есть ли какие-нибудь свидетельства, что даже если это было не так в период после 1945 г., все же нечто в этом роде стало верным в 1980-е гг. и станет еще более верным в XXI веке?

Здесь нам нужно нечто большее, чем благие пожелания и мечты о желаемом. Никогда до сих пор не существовало сколько-нибудь существенной международной (то есть межзональной) солидарности. И этот факт порождает много горечи. Три вещи кажутся мне важными. Во-первых, непосредственные повседневные заботы населения трех зон во многих отношениях разительно отличны. Движения, существующие в этих трех зонах, отражают различия между ними. Во-вторых, многие из краткосрочных задач движений в трех зонах при их разрешении будут иметь результатом улучшение положения некоторых людей в одной из зон за счет других людей в других зонах. В-третьих, никакое желаемое преобразование капиталистического мира-экономики невозможно без трансзонального политического сотрудничества антисистемных движений.

Это трансзональное сотрудничество должно быть как стратегическим, так и тактическим. Могло бы быть проще (хотя все равно нелегко) установить основы для тактического сотрудничества. А стратегического? Вероятно, что стратегического сотрудничества можно добиться лишь на основе глубокой радикализации целей. Потому что гигантским препятствием к транс-зональному страте-

гическому сотрудничеству является невероятная социально-экономическая поляризация существующей миросистемы. Но есть ли объективная (а не чисто волюнтаристская) основа для такой радикализации?

Вопрос 5: Что реально означает лозунг «свобода, равенство, братство»?

Лозунг Французской революции достаточно знаком всем нам. Кажется, что он относится к трем разным явлениям, каждое из которых относится к одному из царств, на которые мы привыкли разделять наш анализ общества: свобода — к области политики, равенство — к сфере экономики, братство — к социо-культурной среде. И мы привыкли также спорить об их сравнительной важности, особенно о свободе и равенстве.

Антиномия свободы и равенства кажется мне абсурдной. Сам я не могу на самом деле понять, как можно быть «свободным», если существует неравенство, поскольку те, кто имеют больше, всегда располагают такими возможностями, которые недоступны имеющим меньше, и потому последние менее свободны. Похожим образом я не могу на самом деле понять, как может быть равенство без свободы, поскольку при отсутствии свободы у кого-то больше политической власти, чем у других, и следовательно, они неравны. Я предлагаю здесь не игру словами, а отрицание этого различия. Свобода-равенство — это единое понятие.

Можно ли в таком случае «загнать» братство в это единое понятие свободы-равенства? Я так не думаю. Прежде всего замечу, что от «братства» как термина, принимая во внимание наше недавнее осознание сексистского характера языка, следует отказаться. Мы можем, пожалуй, говорить о товариществе. Это приводит нас к сути проблем, поднятых в связи с сексизмом и расизмом. В течение длительного времени левые мира проповедовали одну или другую форму универсализма, то есть полной «интеграции». Сознание революции 1968 г. привело к утверждению теми, кто наиболее непосредственно страдал от расизма и сексизма, политических, культурных и психологических достоинств создания собственных, то есть отдельных, организационных и культурных структур. На всемирном уровне это явление иногда называется «цивилизационным проектом».

Верным будет утверждение, что напряженность между универсализмом и партикуляризмом — продукт капиталистического мира-экономики и ее невозможно разрешить в его рамках. Но это не дает нам достаточных путеводных указаний на будущие цели или текущую тактику. Мне кажется, что движения после 1968 г. справились с этой проблемой легким способом, раскачивая маятник ударений то на одном, то на другом. Это оставляет проблему нетронутой в качестве постоянного раздражителя и источника путаницы. Если нам следует думать о трансзональной стратегии преобразований, она должна будет включить в себя совершенно четкую перспективу, как примирить стремление к однородности (предполагаемой самим понятием трансзональной стратегии) и стремление к разнородности (заложенной в понятии свободы-равенства).

Вопрос 6: Существует ли разумный способ, как можно добиться изобилия (или хотя бы достатка) без фетишизации производства?

Поиск путей покорения природы и сен-симонистское моральное ударение на производительном труде долгое время были идеологическими опорами не только капиталистического мира-экономики, но и антисистемных по отношению к нему движений. Если быть точным, многие выражали беспокойство по поводу чрезмерного экономического роста, расточения и истощения ресурсов. Но, как и в других подобных случаях отрицания господствующих ценностей, насколько далеко мы можем (и следует ли это делать?) продвинуться в практическом применении этой критики?

Опять-таки легко сказать, что дилемма рабочие места против экологии порождена ныне существующей системой и является ее неустранимым свойством. Но, опять-таки, это мало говорит нам о Долгосрочных целях или о краткосрочной тактике. И, опять-таки, это проблема, основательно разделяющая антисистемные движения внутри зон и еще больше между зонами.

Заключительное замечание

Одним из основных упреков, имплицитно содержащихся в революции 1968 г., было то, что громадные общественные усилия антисистемных движений в предыдущие сто лет привели к таким не-

значительным глобальным достижениям. В результате, говорили революционеры, мы реально продвинулись немногим дальше наших дедов и прадедов в том, что касается преобразования мира.

Критика была жесткой, несомненно здоровой, но и несправедливой. Условия миросистемной революции 1968 г. были совершенно отличны от условий миросистемной революции 1848 г. Глядя ретроспективно, трудно представить, как антисистемные движения в период от 1848 до 1968 г. могли бы действовать иначе, чем они действовали. Их стратегия была, вероятно, единственной реально доступной для них, а их неудачи и провалы, может быть, были предопределены структурными ограничениями, в которых они по необходимости работали. Их усилия и их рвение были невероятны. А опасности, которым они подвергались, реформы, проведение которых они навязали, вероятно, искупают совершенные ими грехи и то, что применяемый ими способ борьбы в значительной мере укрепил ту самую систему, против которой они боролись.

Важно, однако, вовсе не быть машущим после драки кулаками защитником мировых антисистемных движений. Реальная важность революции 1968 г. гораздо меньше состоит в ее критике прошлого, чем в тех вопросах, которые она поставила перед будущим. Даже если прошлая стратегия «старых левых» движений была наилучшей возможной для своего времени, все равно остается вопрос, оставалась ли она полезной стратегией и в 1968 г. Здесь дело новых движений было гораздо сильнее.

Новые движения, однако, не предложили полностью последовательной альтернативной стратегии. Целостную и последовательную альтернативную стратегию сегодня все еще предстоит выработать. Чтобы сделать это, понадобятся еще от десяти до двадцати лет. Это не основание для утраты мужества; скорее это повод для упорной коллективной интеллектуальной и политической работы.

Третье великое достижение состоит в том, что такая интеллектуальная революция смогла сделать возможной подлинную переоценку мировыми антисистемными движениями своих стратегических выборов, так, чтобы они смогли выбраться из исторического тупика, в котором они все больше и больше оказывались в период после 1945 г. Тупика, состоящего в том, что взятие этими движениями го-

сударственной власти просто не является достаточным условием, позволяющим обеспечить переход от капиталистического мира-экономики к социалистическому мировому порядку. Чтобы переработать основную стратегию, потребуются время, энергия и усилия мысли. Теоретически вероятный сдвиг в межгосударственной системе мог бы обеспечить время и, благодаря развенчанию идеологических стереотипов, стимул к переосмыслению организационных форм. А все это вместе может сделать возможной подлинно фундаментальную перемену, к которой стремились и стремятся эти движения, до сих пор лишь с частичным успехом.

МАРКС, МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЕ

Маркс и его идеи процветают, они стоят на ногах крепче, чем идеи любого другого аналитика XIX в., и обещают оставаться в центре социальной жизни в миросистеме XXI в. Марксизм-ленинизм как стратегия и идеология отыграл свою историческую роль и оказался на обочине политико-экономического развития миросистемы. Социалистические эксперименты в современной миросистеме, если мы вправе дать им такое имя, находятся в большом беспорядке и то ли выживут, то ли нет в какой-либо форме, которую можно было бы признать «социалистической».

Я предполагаю проанализировать марксизм-ленинизм как историческое явление современной миросистемы от его возникновения до наших дней в форме ответов на следующие вопросы: (1) почему возник ленинизм? (2) почему ленинистская революция впервые произошла в России? (3) почему возник сталинизм? (4) почему возникла советская империя? (5) почему произошла десталинизация? (6) почему начались перестройка и гласность?

I

Принято считать, что ленинизм или большевизм начали свое организационное существование в 1902 г., с появлением ленинского проекта документа, альтернативного тексту Плеханова, ко II съезду (так называемому объединительному) Российской социал-демократической рабочей партии, который состоялся летом 1903 г. Как известно, съезд завершился партийным расколом. Ленин показал себя блестящим политическим бойцом и в результате установил контроль над партией, присвоившей себе (с довольно сомнительными основаниями) наименование «большевики».

Сегодня общепринято упрощать историю мирового социалистического движения, изображая ее как историю раскола между двумя тенденциями, одна из которых символизируется Эдуардом Берн-

штейном, а другая Лениным, расколом, нашедшим свое организационное воплощение после 1921 г. в существовании двух интернационалов, Второго и Третьего. То же самое упрощенно изображается как разделение между реформой и революцией. Всегда можно подвергать нападкам простоватость упрощенцев, но для первой половины XX в. эти классические формулировки кажутся мне по сути верными.

Центральные аргументы «ревизионистов» были выводами из прямолинейного и довольно экономистского понимания эволюции миросистемы. Они рассматривали процесс неизбежного технологического прогресса как ведущий к порождению все более многочисленного класса промышленных рабочих. Они предполагали, что политическим последствием этого станет неизбежное расширение политических прав (прежде всего избирательного права), вероятно, под двойным давлением как соображений капиталистической рациональности, так и борьбы рабочего класса. Они полагали, что с ходом времени промышленный рабочий класс начнет численно господствовать на политической арене и таким образом сможет просто голосованием привести их к власти. Как только это случится, они смогут законодательно положить конец капитализму и установить социалистический строй. Именно из этих доводов следовало, что оптимальной политической тактикой было организовывать, политически и социально, как можно большую часть рабочего класса (равно как и его сторонников) в массовую партию.

Доказательства были ясными и более чем убедительными. Но в действительности данный сценарий оказался верен лишь частично. Продолжалось технологическое развитие, и численность промышленного рабочего класса действительно росла. Реальностью стало всеобщее избирательное право. Как бы там ни было, не оправдались ожидания, что промышленный рабочий класс станет значительным большинством голосующего населения. Точно так же не было правдой, что большинство рабочих голосуют за социалистическую партию. Партии Второго Интернационала приходили к власти в целом ряде стран. Однако они не приняли законодательства о конце капитализма. Скорее они ввели так называемое государство всеобщего благосостояния.

Почему Ленин не был убежден этими аргументами? Он ввел в сценарий иные переменные. Первой и самой важной переменной, на которой он настаивал, была сила, с которой капиталистические слои будут сопротивляться своей ликвидации. Он предположил, что они используют свой существующий контроль над государственным аппаратом, чтобы всеми средствами (честными и нечестными) бороться за сохранение своих позиций. Он, таким образом, думал, что концепция о возможности устранить их от власти путем голосования была полностью химеричной. Поэтому он настаивал, что единственный путь, которым рабочий класс мог бы прийти к власти, была революция, иначе говоря, вооруженное восстание. Он видел такую борьбу как политико-военную и потому настаивал, вполне убедительно, что существенной составной частью успеха является жестко дисциплинированная организация. Его взгляды на партию совершенно логично вытекали из этого. Поскольку буржуазия будет использовать любые методы, чтобы остаться у власти, и поскольку политико-военная борьба требует дисциплинированной организации, партия должна состоять из преданных и более-менее профессиональных, полностью занятых партийной работой кадров и действовать, по крайней мере частично, в подполье. Таким образом, доказывал он, когда момент созреет, партия сможет захватить власть и установить так называемую диктатуру пролетариата. Однако его видение того, что случится, когда они придут к власти, не слишком отличалось от ревизионистского. Новое правительство узаконит конец капитализма и установление социалистического строя.

Эта аргументация была четкой и ясной и, соответственно, убедительной для многих. С точки зрения фактов и этот сценарий оправдался лишь частично. Вооруженные восстания были успешны лишь в немногих странах. В действительности сам российский случай лишь частично может быть описан как подтверждение этого сценария. На самом деле случаем, в наибольшей мере соответствующим ленинскому сценарию, оказался Китай, где в самом деле дисциплинированная кадровая партия организовала продолжительную политико-военную борьбу и в конечном счете захватила власть, установив диктатуру пролетариата. Это правда, что там, где партии Третьего Интернационала приходили к власти (какими бы метода-

ми это ни осуществлялось), они так или иначе принимали законодательство, кладущее конец капитализму (в узком смысле, то есть отменяя частную собственность на большинство производительных предприятий). Устанавливали ли они социалистическое общество, было предметом споров в течение вот уже 70 лет, и больше всего в последние годы.

Ленин в своих рассуждениях исходил из одной невысказанной посылки. Он боролся в России, а Россия не была Германией, *a fortiori** Великобританией. Иначе говоря, Россия была страной, где технология была «отсталой» по сравнению с Западной Европой и Северной Америкой. Далее, Россия была страной, которая, за исключением коротких периодов, не имела и парламентской системы, не ожидалось, что в разумные сроки в ней появится всеобщее избирательное право. В любом случае, даже если бы там было всеобщее избирательное право, промышленных рабочих было слишком мало. Подавляющее большинство населения составляли сельскохозяйственные рабочие и крестьяне. Следовательно, ревизионистский сценарий казался совершенно не имеющим отношения к российской ситуации, и следует признать, что в этом утверждении Ленин был в сущности прав. Естественно, ему казалось, что единственной работоспособной альтернативой является его собственная программа. Было ли это верно или нет, трудно оценить ретроспективно, так как повсюду социалистическое движение пошло по одному из двух направлений, либо к ревизионизму, либо к ленинизму (часто, но не всегда, к марксизму-ленинизму).

II

Примечательно, что русская революция 1917 г. была неожиданной в том смысле, что практически все в международном социалистическом движении ожидали, что «первым» социалистическим государством станет Германия. Это ожидание разделяли также и большевики, даже Ленин. Почему никто, если говорить о 1900 г., не верил, что Великобритания, кандидатура которой рассматривалась самим

Тем более (*лат.*)

Марксом, станет первой социалистической страной, — это вопрос заслуживающий исследования, но не здесь. Но во всяком случае это показывает, что в рассуждениях и ревизионистов, и Ленина присутствовали другие скрытые послышки.

Как мы знаем, Ленину нелегко было убедить своих коллег попытаться захватить власть в октябре 1917 г. И в любом случае кажется, что все чувствовали, что отклонение России, опередившей Германию, скоро будет исправлено. Конечно, многие и в самом деле доказывали, что новое советское государство не сможет выжить, если в Германии быстро не произойдет нечто. Мы знаем, что эти ожидания никогда не оправдались и лет через пять были оставлены.

И все же, почему эти ожидания оказались ложными? Э. Х. Карр, пытаясь поставить русскую революция в историческую перспективу, доказывает:

«Та же самая двойственность, которая пронизывала российскую историю XIX века, отметила и большевистскую революцию. С одной стороны, она была кульминацией процесса вестернизации, с другой — бунтом против европейского проникновения»¹.

В 1914 г. Россия была европейской страной, великой военной державой и страной со значительным промышленным сектором. Но в качестве промышленной державы она была очевидно слабее европейских государств. Одновременно в 1914 г. Россия была неевропейской (или незападной) страной, и преимущественно аграрной страной. Но как аграрная страна она была несомненно сильнее из западных государств. То есть, говоря нашим современным языком, Россия была либо слабейшей державой ядра, либо сильнейшим из государств периферии. Разумеется, она была и тем и другим и представляла собой очевидный пример того, что мы сегодня называем полупериферийными странами.

Я бы утверждал, что ленинская стратегия могла быть успешной только в полупериферийной стране. Таким образом, при ретроспективном рассмотрении нет ничего удивительного, что первая социалистическая «революция» произошла в России. Вероятно, это было единственное место, где она была действительно возможна в

ту эпоху. Это было ясно по трем причинам. Во-первых, такое восстание не было возможно внутри ядра капиталистического мира-экономики, потому что у рабочего класса там было слишком много иных возможностей, которые казались более привлекательными в краткосрочном плане и не требовали непомерного риска, связанного с повстанческой активностью. За годы, прошедшие с 1917-го, это стало совершенно ясным и несомненным. В то время это не могло быть столь очевидным.

Во-вторых, мы пришли к пониманию, что мобилизация массовой поддержки ориентированному на вооруженное восстание движению вряд ли может основываться исключительно на классовых призывах. К классовым призывам необходимо было добавить изрядную дозу националистических чувств, которые впоследствии мы стали называть антиимпериализмом. Но в зоне ядра чувство, направленное на достижение националистических целей, было уже в прошлом для большинства составляющих ядро стран. Лишь в Германии и Италии они могли стать весомым фактором, и в результате именно они стали двумя главными очагами фашистского движения в межвоенные годы.

Наконец, успешное восстание требует определенного человеческого базиса в городах, рабочего класса и интеллигенции определенной численности и уровня сознательности. Большая часть периферийной зоны еще не обладала ими в 1917 г., а в России они были. Таким образом, марксизм.-ленинизм, что и показала его последующая история, возник как эффективная идеология антисистемной активности в полупериферийных странах начала XX в.

III

Почему возник сталинизм? Опять таки ретроспективно это кажется очевидным. Революция была делом кадровой партии, по определению маленькой группы. Она начиналась с перспективой, что задача будет политически очень трудной, поскольку предполагалась беспощадная оппозиция со стороны местной и мировой буржуазии. И в самом деле это предположение было подтверждено опытом Советского Союза, причем не только в первые годы после 1917-го, но и впоследствии.

В дополнение к гражданской войне и иностранной интервенции, Россия была разоренной войной страной, экономические проблемы которой были не более чем важнейшими среди не менее сложных. Просто удержать государство от распада было грандиозной задачей, так как Россия была империей, а не национальным государством. Быстро развившаяся тенденция к однопартийному государству, к меркантилистской политике «социализма в одной стране» и к превращению Третьего Интернационала во всемирную систему поддержки осажденного «первого социалистического государства» была совсем не неожиданным исходом из ситуации.

Просматривая сегодня советскую историю, необходимо поставить большой знаковый вопрос, не дурную ли службу сослужило большевикам их отношение к крестьянству. Ясно, что насильственная коллективизация была судьбоносным решением и поворотным пунктом, создала ситуацию, отголоски которой слышны и по сей день. Но было ли это решение неизбежным и тем более мудрым? Марксистская культура в самом деле повсюду плохо подготовила социалистов к разумному подходу к крестьянам, которые были, в соответствии с известной, язвительной фразой Маркса, «мешком картофеля». Ленин, как можно предположить, мог бы действовать и лучше. В конце концов он блестяще проанализировал аграрные социальные отношения в позднецаристской России. Он, в отличие от Маркса, по крайней мере изучал крестьянство. Но он был слишком захвачен манипулятивной политикой профессионального революционера, чтобы превратить свои несколько академические штудии в уроки для политической тактики. Верил ли Ленин на самом деле в *нэп*?

Факт состоит в том, что Россия была полупериферийной страной, и ее руководители (здесь существовала преемственность от Витте до Сталина) определяли быструю индустриализацию в качестве приоритета с точки зрения места страны в мироэкономике. Ленинский лозунг «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» до совсем недавнего времени продолжал висеть в Москве на больших транспарантах. Все руководство верило в «социалистическое накопление капитала» и вплоть до 1980-х гг. гордилось своими успехами в достижении этой цели. Если сталелитей-

ные заводы — суть и цель социалистического планирования, тогда не может быть слишком много сочувствия к бедам крестьянства, ограбленного и пролетаризованного. Вынужденное обстоятельствами тактическое отступление — да; изменение основ — никогда!

Легко быть бухаринцем сегодня. Далеко не так ясно, была ли умеренная линия Бухарина политически реализуемой. В любом случае она не стала господствующей. Я уверен, что главная причина, почему она не победила, была в том, что большинство политически активных элементов в 1920-е гг. не были убеждены в выживании Советского государства при проведении такой линии. Но, конечно, насильственная коллективизация создала условия, которые прямо (а может быть, и неизбежно) вели к террору и чисткам.

В дальнейшем развитию сталинизма способствовала геополитика. В период 1933-1941 гг. несомненным фактом было, что как Германия, так и западное трио (США, Великобритания, Франция) маневрировали в поисках способов разрушить Советское государство. Сталинские аргументы, что его политика имела оборонительный характер против мощного внешнего врага и была единственным способом защитить Советское государство, может быть, и не были верны, но убедили многих и в очень большой степени придали сталинизму известную легитимизацию со стороны народа. Период Великой Отечественной войны, разумеется, мощно усилил эту легитимность.

Более того, существовала и еще одна поддержка извне, о которой мы не должны забывать. Мы все со слишком большой готовностью полагаем, что в политике США по отношению к СССР между дипломатическим признанием при Рузвельте и враждебностью периода «холодной войны» при Трумэне и его преемниках произошел сдвиг. Я не согласен с этим. Мне кажется, что политическая линия США была непрерывной при всех изменениях в риторике. США хотели бы, чтобы сталинский СССР с его миниимперией оставался бы в основном в границах 1945-1948 гг. Сталинизм служил для США идеологическим оправданием и цементирующим фактором их гегемонии в миросистеме. Сталинизм оказывал умеряющее, а не радикализирующее влияние на всемирные антисистемные силы. Сталинизм гарантировал порядок в одной трети мира, а СССР после смерти

Сталина пошел к упадку. Мы сейчас являемся свидетелями того, какое глубокое беспокойство вызывает в США феномен Горбачева.

IV

Почему СССР создал свою «империю» после 1945 г.? Давайте внимательно рассмотрим, что он сделал. Не вызывает сомнений, что СССР и оккупационная Красная Армия привели к власти коммунистические партии в шести государствах, где иным способом те прийти к власти не смогли бы, будь то путем выборов или в результате вооруженного восстания. Этой шестеркой, конечно, являются Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Германская Демократическая Республика.

Я думаю, что объяснение этих действий очень простое и даже приземленное. Во-первых, СССР боялся возможных военных действий США и восстановления Германии и хотел укрепить свои военные позиции. На самом деле это было полностью ошибочным пониманием стратегии США, но в это верили. Во-вторых, СССР хотел получить военные репарации (и экономически нуждался в них), и чувствовал, что единственным способом гарантированно получить нужное было просто взять его. А в-третьих, СССР на самом деле боялся потенциальной силы (и, следовательно, независимости) местных коммунистических движений и хотел обеспечить, чтобы восточноевропейские партии были бы партиями-сателлитами.

Разумеется, способ прихода коммунистических партий к власти был связан с потерей ими любой легитимности, какую они имели к 1945 г. Единственным возможным (и временным) исключением была Чехословакия, где компартия действительно обладала некоторой реальной местной силой. Чистки 1948-1949 гг. в самом деле были направлены против национализма, не буржуазного, а коммунистического национализма. Эти чистки сорвали фиговый листок, и было лишь делом времени, чтобы националистические (и тем самым антисоветские) чувства вышли на поверхность в политически эффективной форме.

Напротив, СССР и Красная Армия не участвовали в приходе к власти коммунистических партизанских движений в Югославии, Албании и Китае. И потому не случайно, что все три коммунисти-

ческие правительства в открытой и довольно таки демонстративной форме порвали в послевоенный период с СССР. Ни одно из трех государств никогда не было сателлитом, и про них нельзя сказать, что они были частью советской «империи». Какое-то время они были ее союзниками, но не более того. Сталин понимал это с самого начала. Именно поэтому он советовал китайской КП (совет был проигнорирован) прийти к соглашению с Гоминьданом. Именно поэтому он резко выступил против первых движений по созданию Югославно-Болгарской федерации, которую пытался основать Димитров. И, конечно же, именно по этой причине советские войска были выведены из Северного Ирана в 1946 г. и СССР бросил на волю судьбы греческое коммунистическое восстание в 1947 г. Сталин не просто не был «за», но и активно противодействовал приходу к власти выросших на местной почве, национально легитимных коммунистических партий.

Строго говоря, «империя» оказалась в той же мере бременем, как и выгодой, но не таким бременем, от которого СССР мог бы легко отречься. После 1968 г. и интервенции в Чехословакию мы стали говорить о доктрине Брежнева, имея в виду неизменность статуса сателлитов. Но не следует ли скорее говорить о доктрине Брежнева-Джонсона? Не дал ли Линдон Джонсон необходимых гарантий Брежневу? А если да, то почему? Ответ кажется мне ясным. США хотели, чтобы СССР продолжал нести (и к добру, и к злу) бремя империи, и очевидно не хотели принимать на себя риск беспорядка и экономических издержек помощи успешной десателлитизации. Джонсон отложил неизбежное на 20 лет. Джордж Буш сегодня корчится от трудностей, порожденных начавшимся наконец-то процессом десателлитизации.

V

Почему произошла десталинизация? Сегодня это кажется безумным вопросом. Кому же нравится сталинизм? Очевидно, что все отели бы изменить его. Мы должны напомнить себе, что еще совсем недавно, в середине 1980-х гг., и в социалистических странах, за их пределами было много аналитиков, считавших это невыполимой идеей. Были даже люди, доказывавшие, что речь Хрущева и

советско-китайский разрыв — не более чем фокусы иллюзиониста. В 1953 г. Исаак Дойчер начал писать в первые недели после смерти Сталина книгу, предсказывавшую «разрыв со сталинской эрой». Как он говорит в предисловии: «Мои друзья, в том числе и выдающиеся исследователи советского общества, скептически покачивали головами»². Суть прогноза Дойчера заключается в одной фразе:

«Экономический прогресс, достигнутый в сталинскую эру, наконец-то сделал достижимой для народа такую меру благосостояния, которая сделает возможным упорядочение покончить со сталинизмом и начать постепенную демократическую эволюцию»³.

Дойчер заслуживает величайшего доверия в своем основном подходе, но он оказался лишь частично прав. То, что предсказывал Дойчер, реализовалось в виде хрущевизма, а хрущевизм потерпел поражение. Хрущев потерпел поражение не из-за своего бурного темперамента, но потому, что он все еще был привержен и глубоко верил в теорию развития (*developmentalism*), которая всегда была основой советской экономической политики. «Мы вас закопаем к 2000 году», — говорил он американцам. Сейчас это выглядит как фарс. Однако в то время это звучало иначе, и мы должны понять, почему. Слова Хрущева прозвучали в период невероятно бурного развития капиталистической мировой экономики, которое продолжалось примерно с 1945 по 1967 г. Все тогда «развивались», но у некоторых дела шли лучше, чем у других. Темпы роста в странах СЭВ были замечательными, и при их экстраполяции СССР мог бы «догнать» США если и не в 2000 г., то десятилетием или двумя позже.

Более того, эти темпы роста были высокими не только в сравнении со странами центра, но они выглядели особенно хорошо при сравнении со странами третьего мира. Разумеется, Япония также имела замечательные темпы роста, но в 1950-х это мало кто замечал. Советский «девелопментализм», таким образом, был не просто предметом гордости коммунистических партий у власти, но и путеводной звездой для национально-освободительных движений в третьем мире. В 1950-х гг. вера в Советский Союз как образец экономического развития была широко распространенным, хотя, конечно,

не всеобщим явлением. И объяснение, даваемое этим успехам, особенно, хотя и не исключительно, в третьем мире, находилось в эффективности ленинизма. Я говорю именно ленинизм, а не марксизм-ленинизм, поскольку отчасти по прагматическим соображениям, отчасти из-за культурного сопротивления, многие движения в третьем мире предпочитали импортировать ленинизм (особенно партийную структуру и государственное планирование), не импортируя марксизма (особенно концепцию внутренней классовой борьбы и европоцентризм).

Хрущев не был новатором в своем «девелопментализме», фактически продолжая наследие Ленина и Сталина. Его новаторство проявилось в поиске того, как представить интересы профессиональных управленцев советской системы, которые хотели двух вещей: гарантий против террора и роста потребления. Его наивность в конечном счете состояла в мысли, что возможно контролировать процесс ослабления вожжей без изменения базовой политической структуры. Хрущевизм представлял собой фундаментальную недооценку социологической трансформации СССР, равно как и неправильное прочтение функционирования современной миросистемы. Хрущевизм в значительной мере был основан на искренней вере в советскую риторику. Грех, в котором Сталин на самом деле никогда не был повинен.

Высшие управленческие кадры, желавшие того, что им предложил Хрущев, испугались, как только увидели, что могут выпустить джинна из бутылки. Брежневизм представлял собой попытку загнать джинна обратно; как мы знаем, такого рода попытки всегда оказываются безуспешными. Двумя элементами, которые не принял во внимание Хрущев, были уровень урбанизации и изменение характера рабочей силы в СССР и циклические ритмы капиталистической мировой экономики.

Открыв в СССР (и, соответственно, в странах СЭВ) возможности определенной политической либерализации и роста потребления (*consumerism*), Хрущев очень сильно недооценил объем спроса. Давно стало общим местом социологического анализа утверждение, что государству проще быть полностью репрессивным, чем предложить небольшое, но неадекватное пространство для политического и куль-

турного плюрализма. Открытие небольшого пространства возбуждает аппетит, не удовлетворяя его, и поощряет требования большего. Сколь большое пространство необходимо для возврата политического спокойствия, трудно оценить, но ясно, что Хрущев предложил слишком мало. Брежневское решение, очевидно, состояло в том, чтобы двигаться в обратном направлении, однако без создания системы террора, прямо угрожающего жизни — системы, которая вернула бы высшую бюрократию в состояние страха. Такая политика отката могла работать в течение какого-то времени, и действительно работала при Брежневе как в СССР, так и в Восточной Европе.

Но куда большей ошибкой Хрущева была неосведомленность о том, как в самом деле работает капиталистическая мирэкономка. Впечатляющие темпы роста основывались прежде всего на неэффективной базе экстенсивного роста с высокой трудоемкостью. Какое-то время, и пока мир-экономика расширялся, это могло приводить к росту ВВП и даже ВВП на душу населения. Но неэффективность методов означала, что они достигли предела, и рост уровня жизни всегда отставал от роста в тот же период в странах центра, хотя и не отставал от большей части периферии. Раньше или позже социалистические экономики не смогли бы удовлетворить ожидания улучшений со стороны все более широких слоев, достаточно хорошо информированных, чтобы осознавать существование разрывов. Конечно, это было не столь суровым в более эффективных экономиках ГДР или Чехословакии, но даже там лишь вопросом времени было, когда прирост станет недостаточным, чтобы удовлетворить политически реальные требования.

Когда в мире-экономике наступил спад, экономические процессы в социалистических странах вовсе не были принципиально отличны оттого, что происходило в третьем мире. В 1970-х гг. некоторые страны получили выгоды от нефтяной ренты, и СССР был среди них. Западные финансовые институты навязывали всем этим странам займы в целях поддержания мирового эффективного спроса, и немало социалистических стран оказались среди крупнейших в расчете на душу населения должников, чтобы в 1980-х гг. страдать от принципиальной неспособности обслуживать долг, не говоря уже о его выплате (или же, если выплачивать, то ценой невероятных

человеческих и социальных издержек, как показала Румыния). И социалистические страны, в не меньшей степени, чем страны третьего мира, столкнулись с большими трудностями при продаже своих товаров на мировом рынке, оказались «неконкурентоспособными», говоря на современном жаргоне. Соответственно социалистические страны в не меньшей степени, чем третий мир, страдали от инфляционного давления и падения уровня жизни. Как и большинство стран третьего мира, социалистические страны были вынуждены искать выход в либерализации своих рынков. И как в большинстве стран третьего мира, растущая открытость рынков социалистических стран в лучшем случае лишь слегка ослабила их экономические трудности.

VI

Мы можем рассматривать перестройку и гласность как конъюнктурный ответ на общую дилемму, и я только что в сущности описал их так. Но здесь есть и нечто большее. Под видом возврата к ленинизму это попытка элит перегруппироваться после всемирного провала (марксизма)-ленинизма как идеологии и стратегии. В этом процессе СССР наконец деколонизируется (не только внутри социалистического лагеря, но и внутри собственных границ).

Все говорят о дилеммах Горбачева: о дилемме перестройки, которая все еще не работает; о дилемме гласности, которая еще не зашла достаточно далеко, чтобы удовлетворить все запросы народа, но зашла достаточно далеко, чтобы привести к серьезным внутренним потрясениям; и, наконец, о дилемме деколонизации, *octroee a la de Gaulle**, без благоприятного мирового экономического климата, который благоприятствовал де Голлю. Все это справедливо, но, с моей точки зрения, вторично. Главная дилемма Горбачева состоит в том, что у него нет альтернативной идеологии и стратегии, которыми можно было бы заменить скончавшийся марксизм-ленинизм. Он, несомненно, должен быть блестящим тактиком. Он в самом деле в одностороннем порядке ликвидирует «холодную войну» и тем самым делает больше, чем любой другой современный лидер, чтобы

* Дарованной свыше по примеру де Голя (*фр.*)

гарантировать эволюцию мира и Советского Союза в позитивном направлении. Но, в конечном счете, что произошло с социалистическим проектом?

Сам я полагаю, что мы должны переоценить социалистические эксперименты, осуществленные под эгидой марксизма-ленинизма, рассматривая их как исторически объяснимый, но преходящий феномен в историческом развитии современной миросистемы. Дело не в том, что они не удались. Термины «не удались», «провалились» подразумевают, что существовали убедительные исторические альтернативы. Я считаю, что таких убедительных альтернатив не существовало — ни социал-демократии, которая возникла в западном мире, ни марксизму-ленинизму, который укрепился в СССР и затем в Китае, ни национально-освободительным движениям, пришедшим к власти в третьем мире. Можно сказать, что весь этот процесс занял период около века между 1870-ми гг., когда эти движения реально зародились, и 1968 годом, который я беру в качестве символического поворотного пункта в истории этих движений⁴.

Три вида движений фактически представляли лишь три варианта одной стратегии: захват государственной власти партией, заявляющей себя выразителем народной воли и использующей государственную власть, чтобы «развить» страну. Эта стратегия оказалась неработоспособной, но это не было возможно оценить ни в 1870, ни даже в 1945 г. Движения не должны быть обвиняемы зато, что были продуктом исторических ограничений своего времени. Но сейчас мы живем в изменившемся климате. Рене Дюмон (*Rene Dumont*) сказал: «Fini les lendemains qui chantent»⁵. Сам я, тем не менее, не верю, что этот утопизм пришел к концу. Совсем наоборот. Пожалуй, только сейчас настало время для продуцирования утопий⁶.

Строительство социализма в этом мире, если ему предстоит осуществиться, впереди нас — как выбор, вряд ли как неизбежность. Опыт так называемого реального социализма может быть поучителен для нас в основном с негативной стороны и лишь в малой степени как позитивный опыт. Важно помнить, что в конце своего существования марксизм-ленинизм функционировал скорее как идеология национального развития, чем как идеология социалистического строительства. Национальное же развитие является в рамках капи-

талистической мирэкономике во многом иллюзорным понятием⁷. Оно никогда не будет осуществлено, даже частично, в большинстве стран. Причина, по которой марксизм-ленинизм умирает сегодня как идеология, в том, что умирают все идеологии, основанные на идее развития.

Однако марксизм начинался не как идеология национального развития, и не обречен на понимание только таким ограниченным образом. Существуют и другие возможные прочтения Маркса. И в грядущие десятилетия могут быть, наверняка будут существовать много размышлений и практики, которые смогут позволить нам прийти к новому идеологическому консенсусу, к новой научной эпистемологии, к новой историографии, которые включают в себя основные озарения и ценности Маркса и, на путях марксизма, превзойдут их и придут к новому *Aufhebung**, что может дать нам возможность построить более демократический, более эгалитарный мир.

Edward Hallett Carr. *The Soviet Impact on the Western World* (New York, Macmillan, 1947), p. 105.

² Isaak Deutscher. *Russia, What Next?* (New York, Oxford University Press, 1953), p. V.

Ibid, p. 221.

См. мою работу «1968, Revolution in the World-System: Theses and Queries», готовится к публикации в *Theory and Society* (в настоящем издании очерк «1968-й — революция в миросистеме»).

Paris, Seu'il, 1983: Кончились завтра, которые воспевали (*фр*).

⁶ Я уже обсуждал отношение между марксизмами и утопиями в работе: *Marxisms as Utopias: Evolving Ideologies*, *American Journal of Sociology* XC1, 6 (May 1986), p. 1295-1308. В этой статье я доказывал: «Утопии всегда идеологичны. В этом Энгельс (и Маркс) были правы, принимая во внимание необходимость помнить, что они ошибались в невысказанной утопии, заключающейся в убеждении, что когда-нибудь может наступить конец истории, мир, в котором идеологии больше не будут существовать. Если мы должны осуществлять прогресс, мне кажется,

Подъем, снятие (в философском смысле) (*нем.*).

мы должны не только принимать противоречие как ключ к объяснению социальной реальности, но и принимать его непреодолимость, посылка, чуждая ортодоксальному марксизму. Противоречие — это условие человеческого существования. Наша утопия должна питаться не уничтожением всех противоречий, а ликвидацией вульгарных, грубых, ненужных последствий материального неравенства. Последнее кажется мне в сущности вполне достижимой целью» (*ibid.*, p. 1307).

⁷ Я обсуждаю это более детально в статье: *Development: Lodestar or Illusion? Economic and Political Weekly XXIII*, 39 (24 September 1988), p. 2017-2023.

АМЕРИКА И МИР: I СЕГОДНЯ, ВЧЕРА И ЗАВТРА*

Бог, похоже, благословил Америку трижды — в настоящем, в прошлом и в будущем. Я говорю «похоже» потому, что пути Господни неисповедимы, и мы не можем с уверенностью утверждать, что понимаем их. Благословения, о которых я говорю, таковы: в настоящем — процветание, в прошлом — свобода, в будущем — равенство.

Каждое из этих благословений всегда предполагало измерение Соединенных Штатов Америки мировой меркой. Несмотря на длительную историю попыток США рассматривать себя как нечто удаленное от остального мира, и особенно от Европы, их самоопределение на самом деле всегда осуществлялось в мировых понятиях. А остальной мир, в свою очередь, на протяжении вот уже двухсот лет всегда держал США на переднем крае своего внимания.

Проблема Божьих благословений всегда в том, что за них приходится чем-то расплачиваться. И цена, которую мы готовы заплатить, всегда ставит под вопрос нашу праведность. Каждое благословение сопровождалось этим противоречием. И не всегда очевидно, что те, кто получал благословение, были и платящими соответствующую цену. И по мере нашего движения из сегодня в завтра вновь пришло время сосчитать наши благословения, оценить наши грехи и подвести итоги.

Сегодня

Сегодня, о котором я веду речь, началось в 1945 г. и завершилось в 1990 г. В этот период, именно в этот период и не более того, США были державой-гегемоном нашей миротсистемы. Эта гегемония имела своим источником наше процветание; ее следствием было наше процветание; знаком нашей гегемонии было наше процветание. Что же

* Этот доклад был первоначально прочитан 24 октября 1990 г. как лекция, открывшая Цикл выдающихся лекторов на праздновании двухсотлетия Университета Вермонта. Он был переработан и обновлен в октябре 1991 г.

мы делали, чтобы оправдать эту единственную в своем роде и редко дающуюся привилегию? Мы что, родились великими? Или же величия мы добились? Или же величие было кем-то передано нам в траст?

Настоящее началось в 1945 г. Мир только что вышел из затяжной и ужасной мировой войны. Полем битвы был весь Евразийский континент, от западного острова (Великобритания) до островов на Востоке (Япония, Филиппины, острова Тихого Океана) и от северный районов Евразии до северной Африки, юго-восточной Азии, Меланезии. По всей этой обширной географической зоне произошло грандиозное истребление человеческих жизней и материальных ценностей, бывших основой мирового производства. Некоторые районы были опустошены сильнее, чем другие, но почти не осталось районов, не затронутых разрушением. На самом деле единственным крупным промышленным регионом мира, где оборудование и инфраструктура остались нетронутыми, была Северная Америка. Предприятия США не только никто не бомбил, но они вышли на новые уровни эффективности благодаря мобилизации и планированию военного времени.

Поскольку США вступили в войну с производственным аппаратом, который уже был сопоставим по крайней мере со всем остальным миром, военные разрушения, затронувшие других, создали несоизмеримый разрыв в производственных возможностях и эффективности. Именно этот разрыв создал для предприятий США возможность процветать в предстоящие 25 лет так, как они не были в состоянии когда-либо раньше. И именно этот разрыв привел к тому, что единственным способом, которым предприятия могли процветать, было позволить существенное увеличение реальной заработной платы работающих на них. И именно этот рост реальной заработной платы — воплотившийся во владение домами, автомобилями, товарами длительного пользования, а также в широкое распространение возможностей получить образование (особенно в колледжах) — составлял то процветание, которое узнали американцы и которое восхищало мир.

Процветание — это прежде всего возможности, возможность наслаждаться, возможность творить, возможность участвовать. Но

процветание — это и бремя. И первым бременем, которое возлагается процветанием, является постоянная необходимость поддерживать его. Кто же захочет отказаться от хорошей жизни? Всегда существует малое число аскетов и еще какое-то количество людей, желающих отказаться от привилегий из чувства стыда или чувства вины. Но для большинства людей отречение от хорошей жизни — знак святости или безумия, и, даже вызывая восхищение, оно не для них. США как страна в 1945-1970 гг. вели себя вполне нормально. Страна процветала и стремилась сохранить это процветание.

Наша страна, ее лидеры, а также и ее граждане преследовали в качестве очевидной национальной цели не счастье (пожалуй, этот образ, вписанный Томасом Джефферсоном в Декларацию Независимости, является утопическим и романтическим), но процветание. Чего Соединенным Штатам стоило поддержание того процветания, которое они держали в руках? С точки зрения лет, непосредственно следовавших за 1945 г., США нуждались в трех вещах: в потребителях для громадной промышленности; в мировом порядке, позволяющем осуществлять торговлю с наименьшими издержками; в гарантиях, что процесс производства будет непрерывным.

Ни одна из трех целей не казалась в 1945 г. легко достижимой. Та самая разрушительность мировой войны, которая дала Соединенным Штатам их невероятное преимущество, одновременно разорила многие из богатейших регионов мира. В Европе и Азии был голод, и живущие там люди вряд ли могли себе позволить покупку детройтских автомобилей. Конец войны оставил нерешенными массу «национальных» проблем, не только в Европе и северной Азии, но и во многих странах, не входивших в зону военных действий, тех, которые мы позже стали называть третьим миром. Социальный мир казался отдаленной перспективой. А в самих США американцам предстояло сбалансировать и разрешить собственные разрушительные социальные конфликты 1930-х гг., которые были отодвинуты, но едва ли разрешены политическим единением военного времени.

США принялись, с куда меньшими колебаниями, чем предполагалось, делать все необходимое для устранения этих угроз своему процветанию и надеждам на еще большее процветание. Соединенные Штаты призвали свой идеализм на службу национальным ин-

тересам. Они верили в себя и в свою доброту и стремились служить миру и вести мир так, как им казалось справедливым и мудрым. В этом процессе США заслужили аплодисменты многих и проклятия других. Они обижались, когда их проклинали, и тепло относились к аплодисментам, но прежде всего они чувствовали себя обязанными двигаться по пути, который сами себе наметили и который считали путем праведности.

Соединенные Штаты склонны оглядываться в послевоенный мир и отмечать четыре основных достижения, которые они считают главной своей заслугой. Первое — это восстановление опустошенного Евразийского континента и его включение в продолжающуюся производственную деятельность мира-экономики. Второе — поддержание мира в миросистеме, одновременное предотвращение ядерной войны и военной агрессии. Третье — в основном мирная деколонизация прежде колониального мира, сопровождаемая существенной помощью для экономического развития. Четвертое — интеграция американского рабочего класса в экономическое благосостояние и полное политическое участие параллельно с окончанием расовой сегрегации и дискриминации в США.

Когда, сразу после Второй мировой войны, Генри Люс провозгласил, что настал «американский век», он указывал на ожидания именно таких свершений. Это действительно был американский век. Это были реальные достижения. Но каждое из них имело свою цену и свои непредвиденные последствия. Правильный баланс итогов гораздо сложнее свести и морально, и аналитически, чем мы хотели бы.

Конечно, правда, что США стремились помочь в восстановлении Евразийского континента. В 1945 г. они немедленно предложили поддержку, коллективную через ЮНРРА* и индивидуальную через пакеты КЭР**. Вскорости затем они перешли к более существенным, долгосрочным мерам, наиболее заметной из которых был «план Маршалла». Между 1945 и 1960 гг. в реконструкцию Западной Европы и Японии было вложено изрядно денег и политической энергии.

* Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций.

** Кооперативное общество по повсеместному оказанию американской помощи.

Цели этих инициатив были ясны: заново отстроить разрушенные предприятия и инфраструктуру; воссоздать функционирующую рыночную систему со стабильными валютами, хорошо интегрированную в международное разделение труда; обеспечить существенные возможности для занятости. Соединенные Штаты не ограничивались только прямой экономической помощью. Они стремились также поддержать создание межевропейских структур, которые могли бы предотвратить возрождение протекционистских барьеров, ассоциировавшихся с трениями межвоенного периода.

Строго говоря, все это не было просто альтруизмом. Соединенные Штаты нуждались в широком круге потребителей для продукции своих предприятий, если хотели, чтобы те работали эффективно и прибыльно. Восстановленные Западная Европа и Япония как раз и обеспечили бы необходимую базу. Далее, американцам нужны были надежные союзники, которые подхватывали бы на мировой сцене политические реплики, брошенные США, и западноевропейские государства, как и Япония, были наиболее вероятными кандидатами на эту роль. Этот союз нашел свое институциональное воплощение не только в НАТО и американо-японском договоре об обороне, но и в еще большей мере в тесной непрерывной политической координации действий этих стран при «лидерстве» США. Чистым выигрышем от этого стало то, что, по крайней мере на начальной стадии, все основные решения, касающиеся международной жизни, принимались в Вашингтоне, при большей частью безоговорочном подчинении и поддержке со стороны системы мощных государств-клиентов.

Единственным серьезным препятствием, которое США видели на международной арене, был Советский Союз, который, казалось, преследовал совершенно иные, даже противоположные, политические цели. СССР в одно и то же время был единственной значимой военной державой в мире после 1945 г. и политическим центром мирового коммунистического движения, якобы преданного идее мировой революции.

Когда мы обсуждаем отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом в послевоенный период, мы обычно используем два кодовых слова: Ялта и сдерживание. Их значение ка-

жется достаточно разным. От Ялты попахивает циничной сделкой, если не «распродажей», со стороны Запада. Сдерживание же, напротив, символизирует решимость США остановить советскую экспансию. На самом же деле Ялта и сдерживание не были двумя раздельными друг от друга, или тем более противоположными, подходами. Это было одно и то же. Сделкой было именно сдерживание. Как большинство сделок, оно было предложено более сильным (США) более слабому (СССР) и принято обеими сторонами, так как служило их общим интересам.

С завершением войны советские войска оккупировали восточную половину Европы, а американские оккупировали ее западную часть. Границей была Эльба или линия от Щецина до Триеста, как описал в 1946 г. Черчилль расположение того, что он назвал «железным занавесом». С поверхностной точки зрения сделка просто обеспечивала военный статус-кво и мир в Европе, при свободе США и СССР осуществлять в своих зонах такое политическое устройство, которое им кажется необходимым.

Этот военный статус-кво — назвать ли его Ялтой или сдерживанием — скрупулезно соблюдался обеими сторонами с 1945 по 1990 г. Ему предстояло быть в свое время названным «Великим американским миром» и стать предметом ностальгического оглядывания в качестве золотой эры.

Однако к сделке существовали три «дополнительные протокола», которые не так уж часто, обсуждаются. Первый из них должен был касаться функционирования мироэкономики. Советская зона не должна была ни обращаться за американской поддержкой для восстановления, ни получать ее. Ей было позволено, а на самом деле даже предложено, укрыться в квазиавтаркической скорлупе. США имели от этого несколько выигрышей. Стоимость восстановления советской зоны грозила быть непомерной, а Соединенные Штаты уже выделили более чем достаточно средств для помощи Западной Европе и Японии. Более того, вовсе не было ясно, могли бы даже восстановленные СССР и Китай быстро обеспечить значительный рынок для американского экспорта, и уж во всяком случае они не могли дать ничего сопоставимого с Западной Европой и Японией. Инвестиции в восстановление дали бы в этом случае недостаточ-

ную отдачу. В краткосрочном плане Ялта представляла собой чистый экономический выигрыш для США.

Второй протокол касался сферы идеологии. Каждой из сторон позволялось (на самом деле каждая из сторон поощрялась) наращивать громкость взаимных обвинений. Джон Фостер Даллес продекларировал, и Сталин с ним согласился, что нейтральную позицию следует считать «аморальной». Борьба между так называемыми коммунистическим и свободным мирами оправдывала жесткий внутренний контроль внутри каждого из лагерей: антикоммунистический маккартизм на Западе, «шпионские» процессы и чистки на Востоке. Кого на самом деле стремились поставить под контроль — как на Западе, так и на Востоке — так это «левых», то есть все те элементы, которые хотели бы радикально оспорить существующий мировой порядок, капиталистическую мироэкономику, которая оживала и процветала под покровом гегемонии США при тайном сговоре с тем, кого можно назвать их субимпериалистическим агентом — с Советским Союзом.

Третий протокол заключался в том, что никому в Неевропейском мире — там, что мы позже стали называть третьим миром, а совсем недавно Югом — не должно было позволяться оспаривать «Великий американский мир» в Европе и его институциональную подпорку — доктрину Ялты + сдерживания. Обе стороны рассматривали условие как обязательное и в общем-то уважали его. Но оказалось, что его было трудно интерпретировать и еще труднее принудить к его выполнению.

В 1945 г. США не предвидели, что третий мир окажется столь бурным, каким он оказался на самом деле. США подходили к проблемам третьего мира с мировоззрением Вудро Вильсона, но слишком вяло. Они были за самоопределение наций; они были за улучшение их благосостояния. Но они не считали эти дела срочными. (То же самое, если не считать различий в риторике, относилось и к Советскому Союзу.) В целом США отдавали приоритет своим отношениям с Советским Союзом и с Западной Европой. Европейские Державы в 1945 г. все еще были колониальными державами с владениями в Африке, значительной части Азии и в Карибском бассейне и были полны решимости осуществлять изменения исключительно

теми темпами и в тех формах, которые определялись бы исключительно ими самими. В результате они были куда менее доброжелательно настроены к вмешательству США в дела их колониальных империй, чем к вмешательству в любых иных сферах, включая их собственную внутреннюю политику. (СССР, следует заметить, имел сходные проблемы с западноевропейскими компартиями.)

Европейские проволочки и советские колебания означали, что первоначальной позицией США была минимальная вовлеченность в развивавшуюся политическую борьбу в третьем мире. Но на самом деле Западная Европа оказалась политически гораздо слабее в колониальном мире, чем ожидалось, и СССР был вынужден быть более активным, чем ему хотелось бы, из-за давления, оказываемого на него необходимостью соответствовать своей ленинистской фразеологии. Соответственно и США пришлось принять на себя более активную роль. Президент Трумэн провозгласил «четвертый пункт» — доктрину помощи в экономическом развитии. В его речи это был самый последний пункт, но он единственный, который мы запомнили. США начали оказывать очень осторожное давление на западноевропейские страны, чтобы ускорить процесс деколонизации и заставить принять полную политическую независимость как законный исход этого процесса. Они начали также выращивать «умеренных» националистических лидеров. Ретроспективно определение «умеренный» кажется совершенно ясным. «Умеренным» националистическим движением было такое, которое, стремясь к политической независимости, было готово принять (и расширить) интеграцию страны в производственные процессы мира-экономики, включая возможность транснациональных инвестиций. В любом случае США воспринимали свою политику как направленную на поддержание и выполнение своей исторической приверженности антиколониализму, коренящейся в происхождении самих США как независимого государства.

Наконец, не оставался в пренебрежении и внутренний фронт. Сегодня мы часто забываем, насколько США 1930-х гг. были отягощены конфликтами. В то время мы были заняты всеохватывающей и бурной дискуссией о нашей роли в мировых делах: изоляционизм против интервенционизма. Это было также время острой классовой

борьбы между трудом и капиталом. Одному из народных героев послевоенного времени, Уолтеру Рейтеру, разбили голову на детройтском мосту во время сидячей забастовки 1937 г. На Юге был очень силен ку-клукс-клан, и все еще линчевали негров. Годы войны были временем социального перемирия, но многие боялись возобновления социальных конфликтов в США после завершения войны. Между тем трудно было бы быть державой-гегемоном, если бы страна осталась столь же разъединенной, какой она была в 1930-е гг. И было бы трудно в полном объеме пользоваться выгодами экономических преимуществ США, если бы ход производства постоянно прерывался забастовками и трудовыми конфликтами.

Однако в течение очень короткого времени США, казалось, сумели навести порядок в своем доме. Изоляционизм был похоронен символическим, но чрезвычайно значимым обращением сенатора Вандерберга, который запустил в обращение идею «двухпартийной внешней политики» США, которые теперь были готовы «принять на себя ответственность» на мировой арене. Великая забастовка 1945 г. на «Дженерал Моторс», руководимая все тем же Уолтером Рейтером, пришла к хэппи-энду, завершившись компромиссом, которому предстояло на 25 лет стать образцом для основных отраслей с высоким уровнем профсоюзной организованности: существенное повышение зарплаты в сочетании с обязательством не прибегать к забастовкам, рост производительности, поднятие цен на конечный продукт. Были предприняты два основополагающих шага для преодоления узаконенной в период после Реконструкции Юга сегрегации черных и белых: интеграция вооруженных сил президентом Трумэном в 1948 г. и единогласное решение Верховного Суда в 1954 г. по делу «Браун против Совета по образованию» (отменившего решение по делу «Плесси против Фергюсона») о неконституционности сегрегации. США были очень горды собой, и «Голос Америки» не уставал восхвалять нашу практическую приверженность свободе.

К 1960 г. США, казалось, великолепно продвигались к достижению своих целей. Новое процветание было налицо. Пригороды процветали. Возможности получения высшего образования и доступа к здравоохранению расширились неимоверно. Была построена под-

линно общенациональная сеть шоссе и авиационных маршрутов. Западная Европа и Япония оставались далеко позади. СССР успешно сдерживали. Организованное рабочее движение США, после вычисления из него левого крыла, было признанным компонентом вашингтонского истеблишмента. И 1960 год был «годом Африки», когда 16 африканских государств, бывшие колонии четырех европейских держав, провозгласили свою независимость и стали членами Организации Объединенных Наций. Избрание в том же году Джона Ф. Кеннеди казалось апофеозом новой американской действительности. Власть перешла, сказал он, к новому поколению, рожденному в этом столетии, и потому, предполагалось, он был полностью свободен от старых колебаний и неадекватностей, полностью привержен миру постоянного процветания и, подразумевалось, расширяющейся свободы.

Однако именно в этот момент начала становиться ясной цена процветания, стали ощущаться его непредвиденные последствия, а его институциональные структуры если и не развалились, то по меньшей мере поколебались. Одновременно с процветанием США, и даже с мировым процветанием, пришло понимание растущего разрыва, как на международном уровне, так и внутри США, между богатыми и бедными, центром и периферией, включенными и исключенными. В 1960-х разрыв был только относительным, в 1970-х и особенно в 1980-х он стал абсолютным. Но именно относительный разрыв, пожалуй особенно относительный разрыв, предвещал проблемы. Проблемы были общемировыми.

Проблемы с Западной Европой и Японией казались поначалу относительно невинными. К 1960-м эти страны стали «догонять» США — прежде всего в производительности, затем, с некоторым отрывом, в уровне жизни. К 1980-м они превзошли США в производительности и сравнялись в уровне жизни. Эти явления можно назвать «невинным» проявлением проблем, поскольку они питали спокойные формы отвержения гегемонии США; именно потому тем более эффективные формы отвержения, что они были спокойными и опирались на уверенность в будущем. Несомненно, наши союзники были связаны своей благодарностью; тем не менее они шаг за шагом стремились выйти из-под опеки и играть свою самостоятель-

ную роль в миросистеме. США вынуждены были применить всю свою институциональную и идеологическую мощь, чтобы удержать своих союзников под контролем, и они отчасти преуспевали в этом до конца 1980-х гг.

Однако повсюду в других местах мятежи были не столь «невинны». Большинство людей в странах Восточной Европы, как левых, так и правых, отказывались принимать легитимность ялтинского урегулирования. Первоначальная идеологическая жесткость «холодной войны» не могла удержаться ни в Соединенных Штатах, ни в Советском Союзе. Сенат США в 1954 г. вынес порицание Маккарти, а Хрущев на XX съезде КПСС разоблачил и осудил сталинские преступления. Народы Восточной Европы использовали каждое ослабление идеологического цемента, чтобы попытаться тем или иным способом вернуть себе отнятую свободу действий — особенно заметные попытки были предприняты в 1956 г. в Польше и Венгрии, в 1968 г. в Чехословакии, в 1980 г. вновь в Польше. Все эти политические выступления были направлены не против США, а в непосредственном смысле против Советского Союза, США считали необходимым никоим образом не вмешиваться. Таким образом они сохраняли верность соглашениям с Советским Союзом, и последний имел свободу рук, чтобы применять меры, необходимые для подавления выступлений.

Третий мир оказался тем местом, где события в наибольшей степени вышли из-под контроля, причем с самого начала. Сталин оказывал давление на китайских коммунистов, чтобы они пришли к соглашению с Гоминьданом. Однако те проигнорировали указания и в 1949 г. вошли маршем в Шанхай. Реальная озабоченность США была связана не с тем, что Китай теперь станет марионеткой СССР, а с тем, что он ею не станет. Этот страх оказался оправданным. Через год войска США оказались вовлечены в длительные и дорогостоящие военные действия на Корейском полуострове, чтобы хотя бы сохранить статус-кво. Не суждено было произойти умеренной мирной деколонизации и в Индокитае. Сначала французы, а затем американцы были вовлечены в еще более длительную и еще более Дорогостоящую войну, которую они в конце концов проиграли в военном отношении. Осторожный сценарий на Ближнем Востоке -

консервативные арабские государства и Израиль, все надежно прозападные — был разрушен появлением Насера и насеризма, который вызвал различные формы политического эха повсюду от Северной Африки до Ирака. Война за независимость в Алжире пустила на дно Четвертую Французскую республику и привела к власти во Франции фигуру, наименее сочувствующую американской опеке, Шарля де Голля. А в Латинской Америке длительное политическое бурление приняло новые и более радикальные формы с приходом к власти на Кубе Кастро.

Поскольку эти восстания в третьем мире были фактически направлены прежде всего не против Советского Союза, а против США (в отличие от Восточной Европы), последние считали себя вправе вмешиваться. И вмешивались на самом деле, и весьма жестко. Если подвести баланс за 45 лет, то можно сказать, что на военном уровне США что-то выиграли и что-то проиграли, и на политическом уровне они, похоже, что-то приобрели, а что-то потеряли. Главная сила США была сосредоточена на экономическом уровне, в их способности наказывать государства, оцениваемые ими как враждебные (Вьетнам, Куба, Никарагуа). Что, по моему мнению, чрезвычайно важно отметить, так это то, что с глобальной точки зрения во всех этих делах СССР играл подчиненную роль. С одной стороны, движения в третьем мире вдохновлялись отрицанием американского мирового порядка, а СССР был его частью. Движущая сила была местного происхождения. «Великий американский мир», с точки зрения этих движений, не служил интересам народов третьего мира. С другой стороны, поскольку эти восстания заставляли США уделять гораздо большее военное и политическое внимание третьему миру, чем кто-либо мог бы представить в 1945 г., фактом является, что ни одно из этих движений в одиночку, ни даже все они коллективно не могли разрушить «Великий американский мир» или непосредственно угрожать американскому процветанию. Тем не менее цена для США становилась все выше и выше.

И дома тоже приходилось платить. Такая необходимость рождалась из двух источников. Первым была стоимость поддержания порядка в третьем мире. Особенно показательный пример — Вьетнамская война. И стоимость в человеческих жизнях, и стоимость в по-

казателях финансовой стабильности правительства были высоки. Но в конечном счете самая высокая цена была заплачена легитимностью государства. Уотергейт никогда не заставил бы президента подать в отставку, не будь к этому времени само президентство подорвано Вьетнамом.

Вторым источником стали издержки относительной бедности. Именно интеграция профсоюзов в политический истеблишмент и окончание законной сегрегации в сочетании с ростом реальных доходов квалифицированных рабочих и среднего класса выдвинули на передний план вопрос об условиях существования маргиналов. США перешли от своего состояния до 1945 г., когда процветало лишь меньшинство, к состоянию после 1945, когда процветающим, хотя в умеренной степени, стало себя ощущать большинство. Это стало спусковым механизмом для действий в пользу маргинальных групп, действий, которые приняли форму нового самосознания — наиболее заметно самосознания черных (а впоследствии других меньшинств) и самосознания женщин.

1968 был годом, когда все эти вызовы оказались вместе в одном большом плавильном тигле — возмущение американским империализмом, возмущение советским субимпериализмом и его сговором с США, возмущение интеграцией «старых левых» движений в систему, превращением их подразумеваемой оппозиционности в соучастие, возмущение социальным отторжением угнетенных меньшинств и женщин (постепенно распространившимся на отторжение всех других маргинальных групп — инвалидов, геев, коренного населения и т. д.). Всемирный взрыв 1968 г. — в США и Западной Европе, в Чехословакии и Китае, в Мексике и Индии — продолжался так или иначе три года, пока силы, поддерживающие миросистему, не укротили пламя. От огня остались головешки, но в ходе процесса серьезно пострадала идеологическая поддержка «Великого американского мира». Отныне возможный конец такого мира стал лишь вопросом времени.

«Великий американский мир» имел своим источником американскую экономическую мощь. Его вознаграждением было американское процветание. Отныне ему предстояло быть подорванным собственным успехом. Начиная примерно с 1967 г. восстановление

Западной Европы и Японии достигло такой точки, когда эти страны стали конкурентами США, но все мировое производство вошло в длительную понижающуюся фазу, которую мы с тех пор и переживаем и которая привела к эрозии американского процветания. Между 1967 и 1990 гг. США пытались сдержать тенденцию к упадку. Было два способа сопротивления тенденции. Одним способом было занятие Никсоном, Фордом и Картером «позиции снизу». Эта линия оказалась неэффективной в столкновении с Ираном. Вторым способом стал наигранный мачизм* Рейгана и Буша. Он встретил отпор в Ираке.

Решение «позиция снизу» по отношению к угрозе потери США своей гегемонии основывалось на трех опорах: трехсторонность, подъем стран ОПЕК и поствьетнамский синдром. Трехсторонность была попыткой удержать Западную Европу и Японию от достижения политической автономии, предложив им оливковую ветвь и пригласив в качестве младших партнеров в процесс принятия решений. Трехсторонность достигла успеха в той мере, в которой предотвратила сколь-нибудь значительные разногласия между странами ОЭСР по вопросам военной политики, политической стратегии и всемирного финансового регулирования. Западные европейцы и японцы продолжали формально уважать лидерство США. Но в реальности они без громких заявлений неустанно стремились к относительному улучшению своих позиций в мировом производственном процессе, осознавая, что в конце концов гегемонистские позиции США неизбежно будут подорваны из-за недостаточно прочной экономической основы.

Подъем стран ОПЕК под руководством главных агентов США в этой области (Саудовской Аравии и шахского Ирана) проектировался прежде всего для перекачки избыточного капитала в центральный фонд с целью последующего перераспределения в третий мир и социалистические страны, главным образом в форме государственных кредитов, обеспечивая краткосрочную стабильность в этих государствах и искусственно поддерживая мировой рынок для про-

* От исп. *tacho* — самец; поведение с подчеркиванием мужской брутальности.

мышленной продукции. Вторым предполагаемым выигрышем от подъема стран ОПЕК было то, что он создавал для Западной Европы и Японии большие трудности, чем для США и тем самым замедлял рост их конкурентоспособности. Третье последствие состояло в том, что, стимулируя инфляцию в странах ОЭСР, особенно в США, он снижал реальную заработную плату. В течение 1970-х гг. подъем стран ОПЕК имел желаемые последствия. Он и в самом деле сработал на замедление упадка экономических преимуществ США.

Третьим аспектом ответа в стиле «позиция снизу» был поствьетнамский синдром, который был не реакцией против Никсона, а исполнением его стратегии: открытие Китая и уход из Индокитая, оба события с неизбежностью повлекли такие последствия, как поправка Кларка об Анголе и отказ от поддержки как Сомосы в Никарагуа, так и шаха в Иране. Даже советское вторжение в Афганистан подкрепило такое развитие, потому что оно затянуло политическую энергию Советов в трясину, поставив их в невозможную ситуацию, лишило их возможности укрепить свои позиции в исламском мире и предоставило США оправдание, чтобы вновь раздуть огонь идеологической войны в поникшей Западной Европе.

Однако США, очевидно, не учли, что движение, руководимое аятоллой Хомейни, пошло по пути, совершенно отличному от известных в послевоенный период в третьем мире движений национального освобождения. Китайская коммунистическая партия и Вьетминь, насеристы и алжирский ФНО, кубинское Движение 26 июля и ангольское МПЛА — все противостояли гегемонии США и существующей миросистеме, но тем не менее действовали в базовых рамках просвещенческого *Weltanschauung** XVIII в. Они были против системы, но принадлежали ей. Вот почему в конечном счете, приходя к власти, они все могли без особых трудностей инкорпорироваться в продолжавшую свое развитие систему.

Хомейни ничуть не был склонен пойти по этому пути. Он с первой взгляда узнавал Сатану. Сатаной № 1 были США, Сатаной № 2 был Советский Союз. Хомейни же не желал играть по правилам, написанным Сатаной.

Мировоззрение {нем.}.

США не знали, как вести дела со столь фундаментальной инако- стью, благодаря которой Хомейни и был способен столь основатель- но унижить США и тем самым подорвать их гегемонию эффективнее, чем мировая революция «новых левых» и отверженных в 1968 г. Хо- мейни сбросил Картера и покончил с политикой «позиции снизу».

Затем США разыграли свою последнюю карту — рейгановский наигранный мачизм. Врагом, сказал Рейган, является не столько Хомейни, сколько Картер (и подразумевались также Никсон и Форд). Решение состояло в преувеличенном подчеркивании мощи. Для на- ших союзников — не продолжение кокетливой трехсторонности, а реидеологизация. Союзники ответили продолжением своей полити- ки из «позиции снизу» по отношению к Соединенным Штатам. Для третьего мира — вторгнуться на Гренаду, бомбить (однажды) Ли- вию, и в конце концов сместить нашего собственного агента-рене- гата в Панаме Норьегу. Третий мир отвечал тем, что принудил США уйти из Ливана, когда террорист-самоубийца взорвал 200 морских пехотинцев. А для самих американцев настало время урезания ре- альной зарплаты, на сей раз не в результате инфляции, а из-за рез- кого ослабления профсоюзов (начали с авиадиспетчеров), перерас- пределения национального дохода в пользу богатых, спада деловой активности, что перевело многих людей, имевших средние доходы, на низкооплачиваемые рабочие места. Столкнувшись с кризисом задолженности в мироэкономике (прямым следствием ОПЕКовско- го повышения цен на нефть), прибегнуть к военному кейнсианству в США. Рост военных расходов необходимо было финансировать, распродавая достояние США нашим союзникам. Долговое бремя США стало грандиозным, а это не могло не привести в долгосроч- ной перспективе к дефляции американской валюты. И, разумеется, необходимо было обличать «империю зла».

Рональд Рейган может верить, что это он запугал СССР до такой степени, что появился Горбачев. Но Горбачев появился в СССР пото- му, что Рональд Рейган показал, что США более не были достаточно сильны для поддержания специальных протоколов с СССР. Советс- кий Союз отныне был вынужден существовать на собственных осно- вах, а на своих собственных основах, без «холодной войны», он ока- зался в отчаянно плохой форме. Его экономика, которая могла дер-

жаться на плаву и даже демонстрировать значительный рост во вре- мя великого расширения мира-экономики в 1950-х и 1960-х, облада- ла слишком негибкой структурой, чтобы справиться с великой стаг- нацией мира-экономики 1970-х и 1980-х. Ее идеологический пар пол- ностью улетучился. Ленинский «девелопментализм» доказал свою неэффективность, так же, как ее доказали за последние 50 лет и все другие разновидности такой политики — как социалистические, так и свободиорыночные.

Горбачев проводил единственную политику, которая была воз- можной для СССР (или, пожалуй, лучше сказать, для России), что- бы сохранить значительную мощь в XXI в. Ему Нужно было пре- кратить высасывание советских ресурсов его псевдоимперией. Он, таким образом, стремился ускорить ликвидацию военного фасада «холодной войны» (поскольку теперь политическая польза от него исчезла) путем квазиодностороннего разоружения (вывод войск из Афганистана, снятие с боевого дежурства ракет и т.п.), таким обра- зом принуждая США следовать примеру. Точно так же он нуждался в избавлении от все более беспокойного имперского бремени в Вос- точной Европе. Восточноевропейцы, конечно же, были счастливы с этим согласиться. В течении по крайней мере 25 лет они не желали ничего большего. Но чудо 1989 г. сделалось возможным не потому, что США изменили свою традиционную позицию, а потому, что это сделал Советский Союз. А СССР изменил свою позицию не из-за силы США, а из-за их слабости. Третья задача Горбачева состоит в том, чтобы восстановить в СССР дееспособную внутреннюю струк- туру, включая возможность справиться с освобожденными теперь националистами. Очень может быть, что он не справится с этой задачей, но в то же время слишком рано утверждать, что он не суме- ет удержать СССР от распада.

Чудо 1989 г. (продолженное потерпевшим неудачу переворотом 1991 г. в СССР), несомненно, было благословением для народов Вос- точной и Центральной Европы, включая народы СССР. Это не бу- дет благословением в чистом виде, но по крайней мере будут откры- ты возможности для обновления. А вот для США это вовсе не было благословением. США не выиграли, а проиграли «холодную вой- ну», поскольку «холодная война» была не игрой, которую следовало

выиграть, а скорее менуэтом, который необходимо было протанцевать. Если даже при рассмотрении ее как игры можно говорить о победе, то победа эта оказалась пирровой. Окончание «холодной войны» в конечном счете уничтожило последнюю из основных опор гегемонии и процветания США — советский щит.

Результатом стал кризис с Ираком и в Персидском заливе. Ирак обнаружил свои претензии на Кувейт не внезапно. Он заявлял эти претензии в течении по крайней мере 30 лет. Почему же он выбрал именно этот момент времени для вторжения? Непосредственная мотивация выглядит вполне очевидной. Ирак, как и еще сотня стран, страдал от катастрофических последствий нефтяного жульничества ОПЕК и последующего кризиса задолженности. В его случае это было обострено дорогостоящей и бессмысленной иранско-иракской войной, в которой Ирак был поддержан менее странной, чем это кажется на первый взгляд, коалицией в составе США, Франции, Саудовской Аравии и СССР, пытавшейся подорвать силу хомейнистского Ирана. В 1990 г. Ирак был полон решимости не пойти на дно, и захват Кувейта с его нефтяными доходами (и ликвидация значительной части внешней задолженности) казался выходом из ситуации.

Но почему Саддам Хусейн решился на это? Я не верю в то, что он просчитался. Я думаю, что он все хорошо подсчитал. Он играл ва-банк. У него было два козыря. Первым из них было знание, что СССР *не* будет на его стороне. Если бы он вздумал напасть на Кувейт пятью годами раньше, это вторжение немедленно спровоцировало бы конфронтацию между США и СССР, включающую возможность применения ядерного оружия и тем самым быстрое урегулирование конфликта между США и СССР. И у Ирака не было бы иного выхода, кроме как уступить, как сделала Куба в 1962 г. Ирак мог совершить нападение именно потому, что он освободился от сдерживающего влияния СССР.

Второй козырь был связан с ситуацией в регионе. На заре новой горбачевской дипломатии США и СССР начали процесс разрешения так называемых региональных конфликтов, то есть отказались от поддержки конфронтации в четырех регионах, где они наиболее активно поддерживались в 1970-х и 1980-х гг.: в Индокитае, в Цен-

тральной Америке, в Южной Африке и на Ближнем Востоке. В первых трех регионах процесс переговоров успешно развивается. Лишь на Ближнем Востоке эти переговоры завершились провалом. Когда стало ясно, что переговоры между Израилем и ООП зашли в тупик и США не обладают достаточной силой, чтобы заставить Израиль продолжать их, Ирак вышел из-за кулис в центр сцены. Пока переговоры продолжались, Саддам Хусейн ничего не мог сделать, поскольку не мог пойти на риск быть обвиненным палестинцами и всем арабским миром в торпедировании переговоров. Но как только они были торпедированы Израилем, Саддам Хусейн мог изобразить из себя освободителя палестинцев.

В расчетах Ирака содержался один решающий пункт. США при любом образе действий проигрывали. Если бы США не делали ничего, Саддам Хусейн продвинулся бы по пути превращения в Бисмарка арабского мира. Если бы США среагировали так, как они поступили в самом деле, и создали бы военную коалицию, основанную на прямом использовании войск США, Саддам Хусейн мог пасть (именно поэтому игра велась ва-банк), но и США не могли выиграть. Война была неизбежна с первого же дня, потому что ни Хусейн, ни Буш не могли принять иного исхода, чем военное столкновение. Ирак, разумеется, потерпел жесточайшее поражение в военном смысле, понес громадные потери в живой силе, оказалась разрушенной значительная часть его инфраструктуры. Но на самом деле было бы преждевременно доказывать, что он проиграл политически.

США доказали миру, что являются сильнейшей военной державой. Но необходимо заметить, что впервые после 1945 г. им был брошен вызов в форме прямой военной провокации, который заставил их демонстрировать военную силу. Выиграть в таких условиях означало отчасти и проиграть. Потому что, если кто-то осмеливается бросить вызов, кто-то более осторожный может начать готовиться. Даже Джо Луис в конечном счете устал.

Демонстрация военной силы США подчеркнула их экономическую слабость. Многие заметили, что военные усилия США финансировались другими, поскольку сами США были не в силах финансировать их. США громко вопили, что теперь они являются миро-

вым дипломатическим брокером. Однако они играли эту роль не как уважаемый старейшина, а скорее как держава, обладающая большой дубинкой, но с экономической точки зрения являющаяся колоссом на глиняных ногах.

Извлекать преимущества из осуществления функций брокера можно только при обеспечении устойчивых результатов. США были вынуждены сами начать на Ближнем Востоке вторую игру ва-банк. Если бы они сумели добиться значимого соглашения между Израилем и ООП, они сорвали бы всеобщие аплодисменты. Но такой результат кажется невероятным. Если же в предстоящие два-три года мы окажемся втянуты в новые войны на Ближнем Востоке, на сей раз, вероятно, с использованием ядерного оружия, США станут объектом обвинений, их консервативные арабские союзники потерпят крах, и Европа будет призвана для спасения ситуации, которая, возможно, является безвыходной. Если все это случится, не Саддаму ли Хусейну придет пора радостно кукарекать? Из войны в Персидском заливе не было извлечено ничего полезного для мощи США в мире.

Иранский кризис 1980-го и иракский кризис 1990-го были совершенно различны. Они представляли собой две альтернативные модели реакции третьего мира на «Великий американский мир». Иранская реакция основывалась на фундаментальном отторжении западных ценностей. Реакция Ирака была совершенно другой. В Ираке существует баасистский режим, а БААС является самым секуляризованным движением в арабском мире. Реакция Ирака в конечном счете была военной реакцией, попыткой построить крупные государства третьего мира, основанные на достаточной и современной военной мощи с целью навязать новое соотношение сил между Севером и Югом. У будущего два возможных облика. С «позицией снизу» в политике США покончил Хомейни. С «наигранным макиавелизмом» покончил Саддам Хусейн.

Золотые дни американского процветания теперь в прошлом. Леса, использованные при его строительстве, разобраны. Фундамент осыпается. Как мы оценим эру гегемонии США, 1945-1990 гг.? С одной стороны, это был «Великий американский мир» и эра великого материального процветания. Это была, по историческим стандар-

там, эра сравнительной терпимости, по крайней мере в основном, несмотря на многие конфликты, или, пожалуй, из-за тех форм, в которых эти конфликты протекали. Но она основывалась на слишком большом количестве исключительных обстоятельств, чтобы существовать долго. И теперь она закончилась.

Теперь мы вступаем в будущее Америки, по отношению к которому мы имеем основания и для отчаяния, и для больших надежд. Но мы не поймем, куда подует ветер, пока не бросим взгляд в американское прошлое.

Вчера

С какого момента мы начнем нашу историю американского прошлого? Я начну эту историю с несколько необщепринятой даты, с 1791 г., основываясь на двух важных событиях, случившихся тогда, — на принятии Билля о правах и принятии Республики Вермонт в Союз.

Нет большего символа и более конкретной основы американской свободы, чем Билль о правах. Мы вполне правомерно превозносим его. Мы склонны забывать, что он был принят в 1791 г. как первые десять поправок к Конституции. И это очень важный факт, что эти десять статей отсутствовали в первоначальной Конституции, написанной в 1787 г. Так случилось из-за того, что они встретили сильное противодействие. К счастью, в конце концов те, кто выступал против этих положений, проиграли сражение. Но полезно помнить, что приверженность США основным правам человека вовсе не была самоочевидной для отцов-основателей. Мы, конечно же, знаем, что Конституция также санкционировала рабство и исключала из политической жизни коренных американцев. Эта Конституция была продуктом белых поселенцев, многие из которых, но не все, хотели прочно утвердить основные права человека, по крайней мере для себя, в своей политической структуре.

Принятие Вермонта демонстрирует другие противоречия и двусмысленности. Вермонт, как известно, не был одной из тринадцати колоний, провозгласивших Декларацию независимости, так как Вермонт провозгласил себя независимым образованием лишь в 1777 г., и Континентальному Конгрессу не рекомендовалось призна-

вать его до 1784 г., и его не принимали в Союз вплоть до 1791 г., когда штат Нью-Йорк отказался от своих возражений. Эта борьба за признание иллюстрирует многие двусмысленности американской войны за независимость. В то время как тринадцать колоний сражались за свою независимость от Великобритании, Вермонт боролся за свою независимость против Нью-Йорка (и в меньшей степени против Нью-Хэмпшира). Его отношение к англичанам было сложным. Хотя Вермонт большей частью был на стороне Континентального Конгресса, различные его лидеры в различные моменты между 1776 и 1791 гг. вступали в разного рода переговоры с Великобританией.

Что было предметом раздоров? С одной стороны, права человека. Когда Вермонт принял конституцию штата в 1777 г., это была первая в США конституция, отменявшая рабство и предусматривавшая всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года. Вермонт был тогда в авангарде и, похоже, стремился с тех пор там и оставаться. Вермонтская конституция действительно оказалась в остром противоречии с олигархической конституцией, принятой Нью-Йорком годом раньше, которая жестко ограничивала право голоса в штате, где рабство все еще играло важную роль и существовало до 1827 г.

Но с другой стороны, это была просто ссора между многочисленными группами земельных спекулянтов, ни одна из которых не отличалась какими-то моральными достоинствами. Если Нью-Йорк блокировал допуск Вермонта в структуры США с 1777 по 1791 г., он делал это, чтобы защитить интересы своих земельных спекулянтов. И если он должен был снять свои возражения в 1791 г., то это произошло из-за Кентукки, подавшего заявку на вступление в Союз, и Нью-Йорк, подсчитывая голоса в Сенате, захотел, чтобы Вермонт, как «северный» штат, уравновесил новый «южный» штат. Таким образом, 1791 год предопределил 1861 год.

В каком смысле и для кого Америка была «землей свободы»? Совершенно нормально, что существовало множество мотивов, которые побуждали различные группы участвовать в войне за независимость. Владельцы плантаций, крупные купцы, городские наемные работники и мелкие фермеры имели существенно различаю-

щиеся интересы. Лишь некоторые из их мотивов соотносились с правами человека или с требованиями большего равенства. Многие были гораздо сильнее заинтересованы в предохранении своих прав собственности, как от британского налогообложения, так и от американских радикалов. Более того, право экспроприировать коренных американцев и сгонять их с их земель было как раз одним из тех прав, которое, как боялись белые поселенцы, британцы были не слишком склонны поддерживать.

И тем не менее, американская революция была революцией во имя свободы. И авторы Декларации независимости возвестили об этом миру. В конце концов, это была революция; иначе говоря, она утверждала самым решительным образом не только то, что «все люди созданы равными», но и что правительства учреждаются людьми, дабы обеспечить «жизнь, свободу и стремление к счастью», и что если какая-либо форма правительства становится «губительной для самих этих целей», «народ имеет право изменить или упразднить ее». Революция тем самым становилась не только законной, но и обязательной, даже если «благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств...»

Новые Соединенные Штаты Америки, рожденные мятежом против материнской страны, узаконенные писаной конституцией, которая претендовала на то, чтобы быть сознательно выстроенным общественным договором, создающим правительство «при согласии управляемых», подкрепленные Биллем о правах, провозгласившим защиту от этого самого правительства, казались сами себе и европейскому миру путеводной звездой надежды, рационализма и человеческих возможностей. Свобода, которую они проповедовали, имела три измерения: свобода индивида по отношению к государству и всем общественным учреждениям (прежде всего свобода слова), свобода группы по отношению к другим, более сильным группам (прежде всего религиозная свобода), свобода народа в целом от внешнего контроля (независимость).

Эти права не были чем-то совершенно не известным в то время, но в Соединенных Штатах они выглядели более гарантированными и более широкими, особенно после того как Французская револю-

ция, казалось, пошла неверным путем и завершилась в 1815 г. реставрацией. Более того, европейцам, чувствовавшим себя угнетенными в своих странах, США светили как земля индивидуальных возможностей, действительно осуществляющая лозунг Французской революции о «*carriere ouverte aux talents*»*. Открытая страна, обширная и малонаселенная страна, США хотели притока иммигрантов и предлагали их детям постоянное гражданство (*jus soli***). США были обширной, девственной и, прежде всего, новой страной (не отягощенной феодальной историей).

Или, по крайней мере, мы так говорили, и тогда, и впоследствии. И в это верили здесь и повсюду, тогда и впоследствии, И это в значительной мере было правдой, если мы помним, что это было правдой по отношению только к белым, прежде всего к белым мужчинам, и в течение долгого времени только к белым мужчинам-протестантам, выходцам из Западной Европы. Политическое первенство белых европейцев было свойственно не только США. Дело в том, что, несмотря на прокламирование всеобщих свобод, в этом отношении США не отличались от других. Для этой привилегированной группы США на протяжении всей своей истории могли предложить очень многое. Границы расширялись; так называемый «фронт» (граница) обустроивался и заселялся; иммигранты ассимилировались; и страна сохраняла себя, как это сформулировал Джордж Вашингтон, свободной от «коварных уловок иностранного влияния». США таким образом были не только землей возможностей, но и землей-убежищем.

Известно высказывание Авраама Линкольна в 1858 г.: «Я убежден, что это правительство не может постоянно оставаться наполовину рабовладельческим и наполовину свободным». Был ли он прав

* Прогрессивное, открытое для талантов (*фр.*). Имеется в виду фраза из «Декларации прав человека и гражданина», звучащая в русском переводе следующим образом: «[Граждане] должны одинаково быть допускаемы ко всем занятиям, местам, общественным должностям в зависимости от их способностей и без каких-либо различий, кроме различий в их добродетелях и талантах».

** Право почвы (*лат.*).

с ретроспективной точки зрения? Несмотря на Прокламацию об освобождении, несмотря на 13-ю, 14-ю и 15-ю поправки к Конституции, несмотря даже на решение по делу «Браун против Совета по образованию», не продолжали ли мы в течение длительного времени оставаться наполовину рабами и наполовину свободными? Были ли в нашей истории хотя бы один момент, когда было бы невозможно сказать, что кто-то, и даже многие, страдают или терпят лишения просто из-за цвета своей кожи или тому подобных несущественных причин?

Мы должны посмотреть на нашу историю холодным и жестким взглядом и задаться вопросом, не была ли очень реальная свобода половины населения обеспечена ценой очень реального отсутствия свободы у другой половины? Было ли рабство (понимаемое широко) всего лишь анахронизмом, преодоление которого было нашей исторической судьбой (предназначением), или же оно было структурной основой и интегральным условием американской мечты? Была ли американская дилемма непоследовательностью, которую необходимо было преодолеть мудростью и разумом, или же составной частью нашей системы?

Факт в том, что в момент перехода от нашего прошлого к нашему настоящему, то есть в 1945 г., наша летопись была очень славной в одних отношениях, но в высшей степени мрачной в других. Существовала изрядная доля апартеида не только на Юге, но и в крупных городах и крупных университетах Севера. Вплоть до 1970-х мы не были готовы даже признать и обсуждать эти мрачные стороны нашего наследия. И даже сегодня в дискуссии большую роль играют обскурантисты.

Уже древние греки развили систему свободы и равного политического участия для граждан и рабства для илотов. Мы разработали нашу собственную систему политических образцов на основе контраста между тиранией, или деспотизмом, или абсолютной монархией и республиканской демократией или демократической республикой. Мы забыли, что один из исторических источников нашей политической традиции — *Magna Carta** 1215 г. — была докумен-

* Великая хартия (вольностей) (*лат.*).

том, навязанным королю Англии его лордами и баронами, чтобы гарантировать их права, а вовсе не права их сервов.

Мы думаем о деспотической системе как о такой, где один человек или очень небольшая группа, стоящая наверху, может управлять всеми другими и эксплуатировать их. Но на самом деле эти немногие наверху ограничены в своих политических возможностях извлекать слишком многое из тех, кто внизу, и они нуждаются не в столь многом, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. Как только мы начинаем расширять эту группу наверху, делать принадлежащих к ней политически более равными по отношению друг к другу, не только становится возможным извлекать больше из тех, кто внизу, но и необходимо извлекать больше, чтобы удовлетворить потребности тех, кто наверху. Политическая структура, которая дает полную свободу верхней половине, может восприниматься как самая угнетательская нижней половиной. И во многих отношениях она окажется наиболее стабильной. Так что страна, являющаяся наполовину свободной и наполовину рабской, может поддерживать свое существование очень и очень долго.

Сама возможность индивидуального подъема наверх, в обеспечении и институционализации которой США как страна явились пионером и которую другие страны потом заимствовали, является одним из самых эффективных инструментов в сохранении общества наполовину свободным и наполовину рабским. Вертикальная мобильность оправдывает реальность социальной поляризации. Она снижает недовольство, поднимая многих потенциальных лидеров протеста наверх, маня миражом успеха тех, кто остается внизу. Люди стремятся улучшить свое положение, конкурируя с другими. И когда один слой продвигается более или менее вверх, всегда кто-то спускается вниз.

В любом случае здесь есть обратная сторона. Идеология свободы и потенциального улучшения — универсальная доктрина. И хотя она может требовать, чтобы половина была рабами для обеспечения свободы другой половины, это порождает тревогу. Именно поэтому Мюрдаль мог говорить об американской дилемме. А наша история подтверждает его правоту. Ведь мы мощно сражались с дьяволом. И, согрешив, мы всегда боялись Божьего гнева. Сочетание

*hybris** и глубокого кальвинистского чувства вины было хлебом насущным американцев самых разных происхождений и верований на протяжении всей нашей истории.

В некотором смысле наше прошлое, от 1791 (или 1776, или 1607) по 1945 г. было длительной прелюдией к нашему настоящему. Мы провозгласили свободу по всей стране. Мы усердно трудились, чтобы преобразовать природу и стать экономическим гигантом 1945 г. Мы использовали нашу свободу, чтобы достичь нашего процветания. И делая так, мы подали пример миру. Конечно, это был недостижимый пример. Если наша страна состояла наполовину из свободных и наполовину из рабов, то ведь и весь мир был устроен так же. Если свобода оплачивалась рабством, если процветание оплачивалось нищетой, если включение в общество оплачивалось исключением из него других, то как другие могли бы достичь того, за что выступала Америка? И даже каким образом этого могли бы достичь все американцы? Это была наша историческая дилемма, наша историческая судьба, наша историческая тюрьма.

Говорят, что самый ранний четко сформулированный протест против рабства исходил в 1688 г. от джермантаунских меннонитов, которые вопрошали: «Разве у этих несчастных нигеров не столько же права бороться за свободу, как у вас — держать их в рабстве?» Конечно, все те, кто не получил своей полной доли свободы в этих Соединенных Штатах, всегда отвечали на вопрос меннонитов «да». Они имели право и боролись за него как только могли. Когда они боролись особенно упорно, им удавалось добиваться кое-каких уступок. Но уступки никогда не предшествовали требованиям и всегда были результатом политических потребностей, а не даром великодушия.

Благословение свободы было подлинным благословением; но оно всегда было и моральным бременем, поскольку всегда было и по сей день вынуждено быть благословением лишь для некоторых, даже если этих некоторых много, или (повторю еще раз) именно и особенно когда их много.

* Гордыня (*др.-гр.*).

И вот таким образом с 1791 по 1945 г. мы перешли через Синайскую пустыню, не попадая в «ловушки альянсов» и сохраненные на пути Бога, чтобы прибыть в землю, текшую млеком и медом в 1945—1990 гг. Будем ли мы теперь изгнаны из земли обетованной?

Завтра

Действительно ли упадок столь ужасен? Может быть, это самое большое благословение из всех? И вновь это был Авраам Линкольн, провозгласивший моральный постулат: «Как я не хотел бы быть рабом, точно так же я не хотел бы быть господином». Мы были господами мира, может быть, милостивыми и благодетельными господами (по крайней мере так говорили некоторые из нас), но тем не менее господами. Этот день прошел. Так ли это плохо? Нас любили как господ, но нас и ненавидели. Мы любили себя, но и ненавидели себя. Можем ли мы теперь прийти к более взвешенному взгляду? Пожалуй, но еще, боюсь, не сразу. Я верю, что мы входим в третью часть нашей исторической траектории, может быть наиболее богатой потрясениями, наиболее веселой и наиболее ужасной из всех.

Мы не первая держава-гегемон, пришедшая к упадку. Такой державой была Великобритания. Такими были Соединенные Провинции (Голландия). И Венеция, по крайней мере в контексте средиземноморского мира-экономики. И каждый упадок был неспешным и с материальной стороны относительно комфортабельным. У гегемонив накапливается изрядный жирок, и за счет него можно прожить лет 50 или 100. Несомненно, невозможно быть слишком экстравагантным, но мы, как нация, не собираемся быть приписанными к какому-нибудь мусорному ящику.

Взять один только факт, что мы останемся на какое-то время сильнейшей военной державой мира, несмотря на то, что мы стали слишком слабы, чтобы предотвращать появление выскочек типа Ирака, вынуждающих нас к военным действиям, или по крайней мере слишком слабы, чтобы делать это иначе, чем очень высокой политической ценой. И хотя наша экономика шатается и доллар неустойчив, нет сомнения, что мы вполне хорошо будем себя чувствовать в следующем цикле расширения мира-экономики, который наверняка начнется в ближайшие пять-десять лет. Хотя бы в качестве младшего парт-

нера в возможном японо-американском экономическом картеле, США получат высокую долю в мировых доходах. И политически США останутся весомой державой, хотя и станут лишь одной из нескольких.

Но психологически упадок будет ужасен. Нация стояла высоко, и с этой высоты нам придется спускаться. Нам потребовалось 30 лет, чтобы научиться элегантно и эффективно выполнять обязанности мирового лидера. Несомненно, не меньше 30 лет придется учиться, как элегантно и эффективно принять менее значимую роль, которая нам теперь будет предписана.

И поскольку глобальный текущий доход будет меньше, немедленно и срочно встанет вопрос, кто будет нести бремя падения, пусть и небольшого падения, нашего уровня жизни? Мы уже видим сложности в наших текущих дебатах о том, кто будет платить за громадные растраты и мошенничества при кредитных учреждениях, известных у нас под именем «*S & L*», и кто должен платить за сокращение бремени задолженности. По мере того как растет наша чувствительность к экологическим проблемам, и, несомненно, она будет продолжать расти, кто будет платить за восстановление причиненных Экссоном разрушений на Аляске, за Лав Кэнэлс, и разгребание еще более опасных груд мусора, которые мы, вне всякого сомнения, обнаружим в грядущие десятилетия? Наша экономика и вправду была похожа на магию вуду, когда непонятно, отчего достигается чудесный эффект. И не только в рейгановские времена. Нет ничего более отрезвляющего, чем получить изрядный счет, который ты не в состоянии оплатить, и обнаружить, что в кредит уже не дают. Потому что кредиты дают кредитоспособным, а экономическая кредитоспособность США быстро утекает. Несомненно, мы еще будем проживать накопленный жирок, и даже проживать какие-то европейско-японские благотворительные пожертвования, даваемые из нежной памяти о «Великом американском мире», а потом еще распродавать наше семейное серебро, но это в долгосрочном плане будет еще более унижительным, чем взятие Хомейни всего американского посольства в плен.

И что же мы тогда будем делать, мы как нация? Перед нами есть два основных пути. Есть путь ужесточения, насильственных социальных конфликтов, когда волнующиеся низшие классы будут удерживаться грубой и не знающей предрассудков силой, — разновид-

ность неофашистского пути. И есть путь национальной солидарности, общего ответа на разделяемый всеми социальный стресс, путь, по которому мы от благословения свободы и благословения процветания будем двигаться к благословию равенства, пожалуй не достигающему совершенства, но тем не менее реального, не знающего крупных исключений.

Я придерживаюсь оптимистической позиции и считаю, что неофашистский путь мало вероятен. Я не считаю его невозможным, но в наших национальных традициях очень многое будет решительно противодействовать успеху неофашистских движений. Более того, я не думаю, что мы настолько отчаемся, чтобы прыгнуть (а это действительно был бы прыжок вниз) на этот путь. Я скорее думаю, что нам предстоит увидеть реализацию равенства большего, чем мы когда-либо мечтали возможным, и равенства большего, чем знала любая другая страна. Это будет третье из благословений Господних. И, как и у первых двух, у него будет своя цена и свои непредвиденные последствия.

Причина, по которой в следующие 30 лет мы заметно продвигнемся в царство равенства жизненных возможностей и жизненных вознаграждений, очень проста. Она будет прямым следствием наших предыдущих благословений — свободы и процветания. Из-за нашей устойчивой приверженности свободе, пусть и несовершенной в осуществлении, мы выработали политические структуры, которые замечательно восприимчивы к подлинно демократическому принятию решений, у нас есть воля и способность организовываться политически. Если мы возьмем четыре области, где осуществляется неравное распределение — по причинам пола, расы и этнической принадлежности, возраста и классовой принадлежности, — ясно, что те, кто получает меньше своей справедливой доли, присоединяются к большинству, тем самым давая ему возможность добиваться своего.

Это то, к чему пришла эра процветания. Именно осознание процветающей Америки подчеркнуло разрывы и исключения и, в языке, выработанном той эпохой, создало «совесть». Первый взрыв этой совести случился в 1968 г. Это была всего лишь репетиция того второго взрыва совести, который может случиться в грядущее десяти-

летие. Эта совесть породит волю. А процветание создало возможности. Ни в одной стране мира сегодня обездоленные слои не являются настолько материально мощными, в любом случае достаточно сильными, чтобы финансировать свою политическую борьбу. И в конечном счете новые проблемы породят новый протест. Смесь будет горячей.

Конгресс не будет знать, что бьет по нему. Требования поднимутся со всех сторон и одновременно. И очень скоро, как мне кажется, США могут превратиться из лидера консерватизма, статус-кво, свободно-рыночной экономики на мировой сцене в, пожалуй, самое социально ориентированное государство благосостояния в мире, в государство с наиболее развитыми перераспределительными структурами. И если бы сегодня не твердили со всех сторон, что идея социализма мертва, можно было бы подумать, — давайте прошепчем непроизносимое, — что США станут квазисоциалистическим государством. Кто знает? Может быть, в этом процессе даже будет лидировать республиканская партия, как это было с Дизраэли и Бисмарком в XIX в. Кого-то такая перспектива может ужаснуть, кого-то подбодрить, но давайте немного усомнимся, прежде чем выражать наши эмоции.

Я сделаю еще два предположения. Первое — что наша традиция свободы не потерпит никоим образом ущерба от этого нового эгалитаризма, что Верховный суд будет и дальше расширять понимание наших гражданских свобод, что власть государственной полиции не будет расти за счет прав личности и что культурный и политический плюрализм будут процветать. Второе предположение — этот новый эгалитаризм не повлияет отрицательным образом на эффективность производства. Мы будем обладать, по причинам, указанным выше, более низким ВВП на душу населения, но новый эгалитаризм будет ответом на это, а не причиной. И в любом случае ВВП на душу будет все же высоким.

Достигнем ли мы тогда Утопии? Разумеется, нет. Ведь цена будет очень высока, а последствия пугающи. Основной ценой будет социальное исключение. Если мы уничтожим социальное исключение внутри государства, мы еще более обострим его на мировом уровне. Пожалуй, США впервые перестанут быть наполовину рабскими, на-

половину свободными. Но именно поэтому мир станет наполовину рабским, наполовину свободным в еще более острой форме. Если в период 1945—1990 г. для поддержания высокого уровня доходов у половины, вместо 10%, нашего населения мы должны были усилить эксплуатацию другой половины, представьте, что потребуются для поддержания на разумно высоком уровне дохода 90% нашего населения. Это означает еще большую эксплуатацию, и главным образом это будет эксплуатация народов третьего мира.

Двадцать лет по этому пути и не трудно угадать, что произойдет. В первую очередь давление желающих приехать в Америку станет сильнее, чем когда бы то ни было в ее истории. Если Соединенные Штаты выглядели привлекательными в XIX в., и в еще большей мере в период после 1945 г., подумайте, как они будут выглядеть в XXI в., если двум моим предположениям — зажиточная и честная, с высоким уровнем равенства страна и очень экономически поляризованная миросистема — суждено сбыться. Как давление, так и напряжение миграции достигнут максимума. Каким образом смогут США остановить нелегальную миграцию, исчисляемую миллионами, даже десятками миллионов? Ответ простой — никак не смогут.

Между тем те, кто не эмигрировал, остался дома на Юге, еще более эффективно исключенные из процветания Севера — не только Северной Америки, но и Европы и Северной Азии — и совершенно точно последуют примеру либо Ирана, либо Ирака. США не захотят сделать что-либо с этим (так же, как Европа и Япония) из-за вполне оправданного страха, что вмешательство породит взрыв. Вспомним, что секретными разработками ядерного оружия занимаются, а может быть, уже и добились в этом успеха по меньшей мере Бразилия и Аргентина, Израиль и Ирак, Южная Африка и Пакистан, а вскоре к ним присоединятся еще многие. Во время «Великого американского мира» мы боялись ядерного холокоста, хотя в реальности его вероятность была очень низкой из-за сделки между США и СССР. Вероятность ядерной войны, пусть региональной, но все равно достаточно ужасной, в следующие 50 лет будет гораздо более реальной.

Что будут США делать перед лицом угроз массовой нелегальной иммиграции и региональной ядерной войны? Существует вероятность, что социалистическая Америка станет Америкой-крепос-

тью. Пытаясь изолироваться от безнадежности и издержек войн в третьем мире, она может обратиться к защите своего богатства и своей собственности. Не преуспев в воздвижении плотин от прилива миграции, она может обратиться к созданию дамбы между правами граждан и неграждан. Почти сразу же США окажутся в ситуации, когда нижние 30, а то и 50 % наемной рабочей силы будут состоять из неграждан, без избирательных прав и с ограниченным доступом к системе социального обеспечения. Случись это, мы как будто переведем часы на 150–200 лет назад. Вся история Соединенных Штатов и западного мира в период с 1800 по 1950 г. была историей расширения политических, экономических и социальных прав трудящихся классов. Но если они принадлежат только гражданам, тогда мы возвращаемся к исходному пункту, со значительной долей постоянного населения, лишенного политических, экономических и социальных прав.

Но и здесь наши проблемы не закончатся. Мы обнаружим — уже обнаруживаем, — что самый быстрый и наименее дорогой путь к экологически чистым Соединенным Штатам — выбрасывать мусор куда угодно — в третий мир, в открытое море, даже в космос. Конечно, это лишь откладывает решение проблем для нас на 50 лет ценой перекалывания проблем на других как в течении этих 50 лет, так и позже. Но, когда тебя прижимают к стенке, разве не очень соблазнительно отодвинуть проблемы на 50 лет? Через 50 лет большинство нынешних взрослых избирателей уже умрет.

Таким образом, третье благословение Америки равным образом в лучшем случае даст Америке еще 25–50 лет. Где-то после этого, в 2025 или 2050, придет день расплаты. И США (но не одни они) встанут перед тем же выбором, что и сегодня, но в мировом масштабе. Либо миросистема движется к репрессивной перестройке, либо она движется к эгалитаристской перестройке. Но последняя требует куда большего перераспределения существующих средств, чем эгалитарное перераспределение только внутри сегодняшних Соединенных Штатов.

Разумеется, в этот момент мы говорим об отречении от существующей миросистемы и замене ее чем-то фундаментально отличным. И по сути невозможно предсказать, каким будет исход. Мы

окажемся в точке бифуркации, и случайные флуктуации будут влечь за собой громадные последствия. Все, что мы сможем делать, это быть ясно мыслящими и активными. Потому что наша собственная активность будет частью этих флуктуаций и будет иметь глубочайшее влияние на результат.

Я старался прояснить свое видение грядущих 50 лет: на одной стороне Север с растущим богатством, Север, сравнительно внутри себя эгалитарный (для своих граждан), США не являются больше лидером экономически или хотя бы геополитически, но лидируют в смысле социального равенства; на другой стороне все более обездоленный Юг, готовый использовать свою военную мощь, которая будет расти и расшатывать миросистему, часто обращаясь против всех ценностей, которые взлелеял Запад, с большей частью своего населения, стремящейся по пути индивидуальной миграции на Север, создавая тем самым Юг внутри Севера.

Кто-то может назвать это видение пессимистическим. Я же отвечаю, что оно не просто реалистично, оно и оптимистично. Потому что в нем остается большой простор для воли. С уходом ныне существующей миросистемы мы на самом деле можем создать намного лучшую. Просто никоим образом то, что мы делаем, не является исторически неизбежным. Мы должны воспользоваться шансом и бороться за спасение. Отчасти мой реализм исходит из того, что США не могут достичь спасения в одиночку. Они пытались сделать это с 1791 по 1945. Они пытались сделать это другим способом с 1945 по 1990. Я предсказываю, что они вновь попытаются делать это какими-то новыми способами между 1990 и 2025 гг. Но до тех пор, пока они не поймут, что нет иного спасения, чем спасение всего человечества, ни они, ни остальной мир не преодолеют структурного кризиса нашей миросистемы.

Американская концепция исключительности

Америка всегда верила в свою исключительность. И я, может быть, сыграл в эту веру, сфокусировав мой анализ вокруг трех последовательных Божьих благословений Америке. Однако не только Америка не является исключительной, но и американская вера в свою

исключительность не является чем-то исключительным. Мы не единственная страна в новой истории, чьи мыслители стремились доказать, что их страна исторически уникальна, отличается от массы других стран мира. Я встречал сторонников французской исключительности и сторонников русской исключительности. Есть индийские и японские, итальянские и португальские, еврейские и греческие, английские и венгерские сторонники идеи исключительности своих стран и народов. Вера китайцев и египтян в свою исключительность — черта национальных характеров. И польская вера в исключительность стоит любой другой. Представлением об исключительности до мозга костей пропитаны все цивилизации, которые были порождены нашим миром.

Я заявил, что американский дух в течение долгого времени сочетал *hybris* и кальвинистское чувство вины. Пожалуй, следует напомнить, что под *hybris* древние греки понимали не что иное, как стремление людей стать богами; а в кальвинистской теологии всегда подчеркивалось, что если мы верим во всемогущество Божие, то из этого логически следует, что мы не можем считать все предопределенным, так как такое предопределение ограничило бы Божие всемогущество.

Наверное, новый Иерусалим не находится ни здесь, ни в Иерусалиме, ни где бы то ни было еще. Наверное, землей обетованной является просто наша земля, наш дом, наш мир. Наверное, единственным богоизбранным народом является человечество. Наверное, мы добьемся искупления, если приложим к этому усилия.

КРАХ ЛИБЕРАЛИЗМА

1989-1991 г. обозначили решающий поворотный пункт современной истории. С этим, кажется, согласны все. Но от чего к чему произошел поворот? 1989 — это год так называемого конца как называемого коммунизма. 1990-1991 г. — непосредственные временные границы как называемой войны в Персидском заливе.

Два события, теснейшим образом связанные, вместе с тем совершенно различны по характеру. Конец коммунизма обозначил окончание эпохи. Война в заливе — начало эпохи. Одно событие закрывает, другое открывает. Одно взывает к переоценке, другое к оценке. Одно — история обманутых надежд; другое — история еще не реализованных страхов.

И все же, напоминает нам Бродель, «события — это пыль», даже великие события. События не обретают смысла, пока мы не можем включить их в ритмы *conjunctures** и в тенденции *longue duree***.

Но это легче сказать, чем осуществить, поскольку мы должны еще решить, какие *conjunctures* и какие структуры имеют отношение к проблеме, релевантны ей.

Давайте начнем с конца коммунизма. Я определил его как конец эпохи, но какой эпохи? Будем ли мы анализировать его как конец послевоенной эпохи (1945-1989 г.), или как конец коммунистической эпохи (1917-1989 г.), или как конец эпохи Французской революции (1789-1989 г.), или же как конец восхождения современной миросистемы (1450-1989 г.)? Его можно интерпретировать во всех этих смыслах.

Позвольте мне, однако, отвлечься на время от последней из интерпретаций и начать с анализа этого периода как окончания эпохи 1789-1989 г., с ее двумя ключевыми революционными движениями — 1848 и 1968 г. Заметьте, пока что мы не упоминаем о 1917-м. Как можно охарактеризовать этот период? Как период промышленной революции? Буржуазной(ых) революции(ий)? Демократизации

* Конъюнктуры, сочетания (*фр.*)

** Длительная временная протяженность (*фр.*)

политической жизни? Современности? Каждая из этих интерпретаций является общим местом и обладает некоторой (и даже немалой) убедительностью.

Вариацией на эти темы, причем наиболее точной, пожалуй, могло бы стать определение эпохи 1789-1989 г. как эпохи триумфа и господства либеральной идеологии; в этом случае 1989 год, год так называемого конца коммунизма, на самом деле обозначил бы падение либерализма как идеологии. «Возмутительно и неправдоподобно! Это при возрождении-то веры в свободный рынок и права человека!» — скажете вы? Тем не менее этот так. Но, чтобы оценить доказательства, давайте начнем с самого начала.

В 1789 г. во Франции произошли политические потрясения, которым мы дали имя Французской революции. Как политическое событие, она прошла через много фаз, от начальной фазы неопределенности и замешательства к якобинской фазе, а затем, через междоусобицу Директории, к наполеоновской фазе. Мы можем доказать, что в определенном смысле революция нашла свое продолжение в последующих революциях 1830, 1848, 1870 г., и даже в Сопротивлении во время Второй мировой войны. Через все эти события был пронесен лозунг «свобода, равенство, братство» — звонкий клич современного мира, который оказался весьма двусмысленным.

Итоги Французской революции, если говорить собственно о Франции, весьма неоднозначны. Произошли необратимые перемены, которые действительно многое изменили, и было много кажущихся перемен, которые не изменили ничего. Была преемственность между «старым режимом» и революционным процессом, как давно показал Токвиль, и были решительные разрывы. Однако не эти итоги для Франции являются предметом нашего внимания. Двухсотлетний юбилей с его банальностями уже прошел.

Влияние Французской революции (взятой в широком смысле) на миросистему как целостность — вот та тема, которой я хотел бы заняться. Французская революция преобразовала умонастроения и положила начало «современности» как мировоззрению современного мира. Под современностью мы понимаем восприятие нового как чего-то хорошего и желаемого, потому что мы живем в

мире, на каждом уровне нашего существования пронизанном прогрессом. Если говорить конкретно о политической арене, современность означает признание перемен «нормой» в противовес восприятию их чем-то «ненормальным» и преходящим, случайным. Наконец, это, созвучный структурам капиталистического мира-экономики, стал так широко распространен, что даже те, кто чувствуют себя при нем неудобно, вынуждены считаться с ним в своем публичном дискурсе.

Проблема стала состоять в том, как обходиться с «нормальностью» изменений на политической арене, ведь те, кто потерял власть, всегда стремятся вернуться к ней. Различные подходы к тому, как обходиться с «нормальностью» перемен, составляют суть того, что мы стали называть «идеологиями» современного мира. Первой идеологией, вышедшей на сцену, был «консерватизм», тот взгляд, что от изменений следует воздерживаться как можно дольше, а их размах необходимо по возможности сдерживать. Заметим, однако, что ни один серьезный консервативный идеолог никогда не предлагал полной неподвижности, то есть не занимал позицию, которой можно было бы придерживаться в предшествующую эпоху.

Ответом «консерватизму» стал «либерализм», который рассматривал разрыв со «старым режимом» как решающий политический разрыв и конец эпохи «незаконных» привилегий. Политическая программа, воплощенная в идеологии либерализма, состоит в совершенствовании современного мира средствами продолжающейся «реформы» его институтов.

Последней появилась идеология «социализма», которая отвергала индивидуалистические презумпции либеральной идеологии и настаивала, что общественная гармония не придет просто в результате освобождения индивидов от всех ограничений, навязываемых традицией. Скорее общественная гармония должна быть социально сконструирована, для некоторых социалистов ее создание могло быть лишь результатом длительного исторического развития и великой социальной битвы, «революции».

Все три идеологии уже присутствовали к 1848 г. и с тех пор в течение XIX и XX вв. вели между собой шумные битвы. Повсюду создавались политические партии, явно отражающие эти идеологи-

ческие позиции. Строго говоря, никогда не существовало бесспорной и окончательной версии ни одной из этих идеологий, всегда существовало немало путаницы с разграничительными линиями между ними. Однако как в профессиональном, так и в народном дискурсах всегда было общепризнанным существование этих идеологий и то, что они представляли три разных «настроения», три различных стиля политики при признании перемен нормой: политика осторожности и осмотрительности; политика постоянной рациональной реформы; политика ускоренного преобразования. Иногда мы называем это политикой правых, центра и левых.

Необходимо отметить три вещи, касающиеся идеологий в период, последовавший за 1848 г., потому что всемирная революция 1848 г. — она совмещала первое появление сознательного рабочего движения как политического действующего лица с «весной народов» — определила политическую повестку дня на следующие полтора века. С одной стороны, потерпевшая поражение революция (революции) 1848 г. показала, что политические изменения не будут ни такими быстрыми, как хотелось бы ускорителям, ни такими медленными, как хотелось бы осторожным. Наиболее убедительным предсказанием (именно предсказанием, а не пожеланием) была постоянная рациональная реформа. Таким образом, либеральный центр добился триумфа в зонах сердцевины мира-экономики.

Но кто должен был осуществлять эти реформы? Здесь обнаруживается первая аномалия, которую следует рассмотреть. При начальном расцвете идеологий, между 1789 и 1848 гг., все три идеологии занимали в антиномии государство-общество явно антигосударственные позиции. Центральный пункт этой антиномии также был последствием Французской революции. Консерваторы разоблачали ее как попытку использовать государство для подрыва и отрицания институтов, понимавшихся как основополагающие для общества, — семьи, общины, церкви, монархии, феодальной иерархии. Либералы, однако, также разоблачали государство как структуру, которая мешала каждому индивиду — который считался ими главным действующим лицом в конституировании общества — преследовать свои собственные цели, как он/она определил(а) их для себя, основываясь на том, что Бентам называл «калькуляцией удо-

вольствия и боли». И социалисты тоже отвергали государство на том основании, что оно отражает волю привилегированных вместо воли всего общества. Потому для всех трех идеологий «отмирание государства» казалось искренне желаемым идеалом.

И тем не менее — в этом и состоит аномалия, о которой мы упомянули — несмотря на этот единодушно отрицательный взгляд на государство в теории, на практике (особенно после 1848 г.) выразители всех трех идеологий многими путями двигались к усилению государственных структур. Консерваторы пришли к взгляду на государство как на замещающий механизм, ограничивающий то, что они считали распадом морали, в связи с тем, что традиционные институты более не в состоянии выполнять эту функцию либо не могут ее выполнять без поддержки государственных полицейских учреждений. Либералы пришли к взгляду на государство как на единственный рациональный механизм, способный поддерживать устойчивую скорость и правильное направление реформ. Социалисты после 1848 г. почувствовали, что никогда не смогут преодолеть препятствия на пути глубокого преобразования общества, не овладев государственной властью.

Вторая большая аномалия состояла в том, что, хотя все говорили о трех различных идеологиях, в политической практике каждая идеологическая партия пыталась свести политическую сцену к дуальной схеме, провозглашая, что две другие идеологии в основе своей схожи. Для консерваторов и либералы, и социалисты были людьми, верующими в прогресс, желающими использовать государство для манипулирования органическими структурами общества. Для социалистов консерваторы и либералы представляли лишь варианты защиты статус-кво и привилегий высших слоев (комбинации старой аристократии и новой буржуазии). Для либералов и консерваторы, и социалисты были авторитарными оппонентами либерального идеала, расцвета индивидуальности во всех ее потенциях. Это сведение трех идеологий к дуальной схеме (в трех различных версиях), несомненно, отчасти было лишь преходящей политической риторикой. Однако на более фундаментальном уровне оно отражало постоянное переструктурирование политических союзов. В любом случае в течение 150 лет это сведение троичности к дуальности со-

здавало немало политической путаницы, не в последнюю очередь в понимании идеологических этикеток.

Но самой большой аномалией было то, что 120 лет после 1848 г. — то есть по крайней мере до 1968 г. — под видом трех конфликтующих идеологий мы на самом деле имели лишь одну, безоговорочно господствующую, идеологию либерализма. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть, какая конкретная проблема была неизменным предметом дебатов в течение всего периода, причем фундаментальная общественная проблема, требующая решения.

Великой «реформой», к которой призывали, чтобы капиталистическая миросистема оставалась политически стабильной, была интеграция рабочего класса в политическую систему, чтобы преобразовать таким образом господство, основанное только на силе и богатстве, в господство, основанное на согласии. У этого процесса реформ было две главные опоры. Первой было согласие на введение всеобщего избирательного права, притом таким образом, что, хотя каждый мог голосовать, результатом могли быть лишь незначительные институциональные изменения. Вторая состояла в передаче части всемирного прибавочного продукта трудящимся классам, но так, что большая часть оставалась в руках господствующих слоев и сохранялась система накопления капитала.

Географической зоной, где наиболее настоятельно требовалась такая социальная «интеграция», были государства сердцевинной зоны капиталистического мира-экономики — прежде всего Великобритания и Франция, а также другие государства Западной Европы, США, белые переселенческие колонии. Мы знаем, что эти преобразования были постепенно осуществлены в период 1848–1914 гг., и к началу Первой мировой войны уже существовали модели всеобщего избирательного права (хотя в большинстве случаев лишь для мужчин) и государства всеобщего благосостояния, уже реализовавшиеся, пусть и не полностью, во всех этих государствах.

Мы можем просто сказать, что либеральная идеология достигла своих целей, и остановиться на этом, но этого будет совершенно недостаточно. Мы должны отметить также, что произошло в ходе этого процесса и с консерваторами, и с социалистами. Ведущие консервативные политики превратились в «просвещенных консерваторов», то

есть в реальных соперников официальных либералов в процессе интеграции трудящихся классов. Дизраэли, Бисмарк и даже Наполеон III являются хорошими примерами этой новой версии консерватизма, который можно определить как «либеральный консерватизм».

В то же время социалистическое движение промышленно развитых стран, включая его наиболее воинствующие образцы, типа германской социал-демократической партии, стало ведущей парламентской силой в борьбе за либеральные реформы. Через свои партии и профсоюзы социалисты осуществляли «народное» давление, чтобы добиться того, чего хотели либералы, приручая трудящиеся классы. Не только Бернштейн, но также и Каутский, Жорес и Гед, не говоря уж о фабианцах, стали теми, кого можно назвать «либеральными социалистами».

К 1914 г. политическая работа в промышленно развитых странах была большей частью разделена между «либеральными консерваторами» и «либеральными социалистами». В ходе этого процесса чисто либеральные партии начали исчезать, и произошло это потому, что все значительные партии фактически стали либеральными. Под маской идеологического конфликта скрывалась реальность идеологического консенсуса.

Первая мировая война не разрушила этот консенсус. Она скорее укрепила и расширила его. 1917 год был символом этого расширения либерального консенсуса. Война началась политическим убийством в периферийной зоне мира-экономики, в Боснии-Герцеговине. Для государств сердцевины настал момент выйти за пределы узкой цели интегрировать собственные трудящиеся классы и задуматься об интеграции более широких сегментов всемирных трудящихся классов, тех, что жили в периферийных и полупериферийных зонах миросистемы. Говоря сегодняшним языком, проблемой стало приручение Юга способами, параллельными приручению трудящихся классов в зоне сердцевины.

Было предложено два способа разрешить проблемы Север-Юг. Один был выдвинут глашатаем обновления либерализма на общемировом уровне, Вудро Вильсоном. Вильсон просил США вступить в Первую мировую войну, «чтобы сделать мир безопасным для демократии». После войны он призвал к «самоопределению наций»-

Какие нации имел в виду Вильсон? Очевидно не нации в государствах сердцевинной зоны. Процесс создания эффективного и легитимного государственного механизма давно уже был завершён во Франции и Великобритании, и даже в Италии и Бельгии. Вильсон говорил, разумеется, о нациях или «народах» трех великих империй, находившихся в процессе распада: Российской, Австро-Венгерской и Оттоманской • — все три включали в себя периферийные и полупериферийные зоны мира-экономики. Короче, он говорил о том, что сегодня мы называем Югом. После Второй мировой войны принцип самоопределения наций был распространён на все остальные колониальные зоны — в Африке, Азии, Океании и Карибском бассейне.

Принцип самоопределения наций был на всемирном уровне структурной аналогией принципа всеобщего избирательного права на национальном уровне. Так же, как каждый индивид должен был считаться политически равным и имеющим один голос, так и каждая нация должна быть суверенной и потому политически равной и, следовательно, имеющей один голос (принцип, воплощенный сегодня в Генеральной Ассамблее ООН).

Но на этом вильсоновский либерализм не остановился. На национальном уровне следующим шагом после введения всеобщего избирательного права было учреждение государства всеобщего благосостояния, то есть перераспределение части прибавочного продукта посредством государственного трансферта доходов. На всемирном уровне следующим шагом после самоопределения должно было стать «национальное (экономическое) развитие», программа которого была выдвинута Рузвельтом, Трумэном и их наследниками после Второй мировой войны.

Нет необходимости говорить, что консервативные силы реагировали со своими обычными осторожностью и неприязнью к явственному призыву вильсоновцев к глобальной реформе. Также нет необходимости говорить, что после разрушений, причиненных Второй мировой войной, консерваторы начали видеть в либеральной программе достоинства, и вильсоновский либерализм после 1945 г. фактически стал либерально-консервативным тезисом.

Но 1917 год имел и другое значение. Это был год русской революции. Только что родившееся вильсоновство столкнулось с вели-

ким идеологическим оппонентом, ленинизмом. Ленин и большевики политической арене с протестом в первую очередь против преобразования социалистической идеологии в то, что я назвал либеральным социализмом (то же, что бернштейновский ревизионизм, к которому Ленин относил и позицию Каутского). Ленинизм, таким образом, предлагал воинствующую альтернативу, сначала своей оппозицией участию рабочих в Первой мировой войне, а затем захватом государственной власти в России большевистской партией.

Мы знаем, что в 1917 г. социалисты повсеместно, в том числе и в России, ожидали, что первая социалистическая революция произойдет в Германии; в течение нескольких лет большевики ожидали продолжения своей революции революцией в Германии. Мы знаем, что революция в Германии так и не пришла, и большевикам пришлось думать, что же делать.

Принятое ими решение имело две стороны. С одной стороны, они решили строить «социализм в одной стране». Тем самым они вступили на путь, где основным требованием советского государства по отношению к миросистеме стала политическая интеграция советского государства в миросистему в качестве великой державы и экономическое развитие посредством быстрой индустриализации. Это была программа Сталина, но так же и Хрущева, и Брежнева, и Горбачева. Таким образом, программа на практике требовала «равных прав» для советского государства на мировой арене.

А что же тогда с мировой революцией? Ленин изначально основал третий Интернационал с явственной целью решить воинствующими средствами те задачи, от которых фактически отсекся Второй Интернационал. Однако вскоре Третий Интернационал превратился просто во внешнеполитический придаток СССР. Чего он никогда не делал, так это не подталкивал реальных восстаний трудящихся классов. Вместо этого центр его деятельности переместился, начиная с бакинского Съезда народов Востока в 1921 г., куда Ленин пригласил не только коммунистические партии, но и разного рода националистические и национально-освободительные движения.

Программа, появившаяся в Баку и затем ставшая реальной программой мирового коммунистического движения, была программой

антиимпериализма. Но что такое антиимпериализм? Это был перевод вильсонской программы самоопределения наций на язык большей агрессии и нетерпения. В период после Второй мировой войны, когда одно национально-освободительное движение за другим приходило к власти, какую программу они выдвигали? Это была программа национального (экономического) развития, обычно переименованного в социалистическое развитие. Ленинизм, великий оппонент либерал-социализма на национальном уровне, стал подозрительно напоминать либерал-социализм на уровне всемирном.

В период 1848-1914 гг. либеральная программа состояла в приручении трудящихся классов зон сердцевины посредством всеобщего избирательного права и государства всеобщего благосостояния. Она была осуществлена комбинацией социалистической воинственности и утонченной консервативной хитрости. В период 1917-1989 гг. либеральная программа на всемирном уровне состояла в приручении Юга. Она была осуществлена комбинацией социалистической воинственности и утонченной консервативной хитрости.

Вторая всемирная революция 1968 г., как и первая всемирная революция 1848 г., преобразовала идеологические стратегии капиталистической мирэкономки. В то время как революция 1848 г. своими успехами и поражениями обеспечила триумф либерализма как идеологии и постепенное преобразование ее соперников — консерватизма и социализма — в простые приатки, революция 1968 г. своими успехами и поражениями разрушила либеральный консенсус. Революционеры 1968 г. выдвинули протест слева против этого консенсуса, и прежде всего против исторической трансформации социализма, даже ленинистского социализма, в либерал-социализм. Это приняло форму возрождения различных анархистских мотивов, но также, и пожалуй в первую очередь, маоизма.

Перед тем, как во всемирном либеральном консенсусе пробилась так называемые «новые левые», обновилась, впервые после 1848 г., и консервативная идеология, и вновь стала скорее агрессивной, чем оборонительной. Иногда этому явлению давали имя неоконсерватизма, но иногда и неолиберализма, что отражало тот факт, что его программа была направлена прежде всего на снятие ограничений с рынка, и тем самым на уход от перераспределенческих ме-

ханизмов государства всеобщего благосостояния; это был первый регресс социальной политики такого масштаба в течение века.

Как мы можем оценить итоги всемирной революции 1968 г. и ее последствия для идеологических стратегий? В терминах структуры миросистемы как целостности мы можем сказать, что политика либерализма — приручение всемирных трудящихся классов посредством всеобщего избирательного права/суверенитета и государства всеобщего благосостояния/национального развития — достигла своих пределов. Дальнейшее расширение политических прав и экономического перераспределения угрожало бы самой системе накопления капитала. Но она достигла своих пределов раньше, чем все секторы всемирных трудящихся классов оказались на самом деле приручены подачками небольших, но существенных благ.

Большинство населения периферийных и полупериферийных зон все еще оставалось исключенным из функционирования системы. Но это же относится и к весьма значительному меньшинству населения зон сердцевины, к так называемому внутреннему третьему миру. Добавим, что женщины мира стали осознавать свое постоянное глубокое исключение из общественной жизни на всех классовых уровнях, начиная от отсутствия подлинных политических прав и кончая неравным в большинстве случаев экономическим вознаграждением.

Таким образом, 1968 г. представлял собой начало свертывания той культурной гегемонии, которую господствующие слои мира создавали и укрепляли с большим усердием после 1848 г. Период с 1968 по 1989 г. ознаменовался непрерывным распадом того, что еще оставалось от либерального консенсуса. Справа консерваторы все сильнее стремились разрушить либеральный центр. Сравните заявление Ричарда Никсона — «все мы теперь кейнсианцы» — с кампанией Джорджа Буша в 1988 г. против «Л-мира» («Л» означало либералов). Мы были свидетелями подлинного переворота в британской консервативной партии, где Маргарет Тэтчер покончила с традицией просвещенного консерватизма, уйдя назад от Дизраэли к сэру Роберту Пилю 1840-х гг.

Еще сильнее была эрозия слева. Она приняла наиболее выразительную форму в распаде либерально-социалистических режимов.

Как в периферийных, так и в полупериферийных зонах даже самые «прогрессивные» и воинственные в своей риторике из этих режимов были явно неспособны добиться национального развития в сколько-нибудь значимых масштабах; как реакция на это, один режим за другим, при всем своем славном прошлом национально-освободительной борьбы, терял народную поддержку. Кульминацией этого процесса был так называемый крах коммунизма — приход Горбачева в СССР, «особые экономические зоны» в Китайской Народной Республике, падение однопартийных коммунистических систем во всех странах Восточной Европы.

В 1968 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, выступил против либерально-социалистической идеологии во имя анархизма и/или маоизма. В 1989 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, повернулся против наиболее ярких выразителей либерал-социалистической идеологии, режимов советского типа, во имя свободного рынка. Альтернатива 1968 г. очень быстро продемонстрировала свою бессмысленность, и альтернатива 1989 г. движется к тому же. Но между 1968 и 1989 гг. либеральный консенсус и надежда, предлагавшаяся им, на постепенное улучшение положения большинства мировых трудящихся классов были фатально подорваны. Но если они были подорваны, то тогда не получается и приручения этих трудящихся классов.

Подлинный смысл краха коммунизма — в окончательном крахе либерализма как идеологии-гегемона. Без некоторой веры в ее обещания у капиталистической миросистемы не может быть устойчивой легитимности. Последними, кто серьезно верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого стиля в бывшем коммунистическом блоке. Без продолжения их участия в обсуждении этих обещаний господствующие слои мира потеряли любые возможности контроля над мировыми трудящимися классами иначе, чем силовыми методами. Согласие ушло, и ушло оно потому, что перестал осуществляться подкуп. Но одна только сила, как мы знаем со времен по крайней мере Макиавелли, не может обеспечить политическим структурам очень длительного выживания.

И вот мы подходим к смыслу кризиса Персидского залива, началу новой эпохи. В эту эпоху единственным эффективным оружием

господствующих сил становится насилие. Война в Персидском заливе, в отличие от других случаев конфронтации Север-Юг в XX в., была в чистом виде осуществлением «Realpolitik»*. Саддам Хусейн начал ее в своем стиле, а США и созданная ими коалиция отвечала ему тем же.

В предшествовавших конфликтах «Realpolitik», разумеется, тоже присутствовала. Ею был наполнен Съезд 1921 г. в Баку, так же как и вступление войск коммунистической партии Китая в Шанхай в 1949 г. Она была частью Бандунгской декларации 1955 г., вьетнамской войны и конфронтации вокруг Кубы в 1962 г. Она всегда была составной частью стратегии антисистемных движений — вспомним хотя бы максимум Мао «власть исходит из дула винтовки», — но сила всегда была лишь придатком к центральным организующим мотивам антисистемной идеологии. Юг; периферийные зоны, трудящиеся классы мира вели свои битвы под знаменем идеологии преобразований и надежды, идеологии, содержавшей ясный призыв к власти народа.

Мы доказывали, что формы, которые принимала эта идеологическая борьба мировых антисистемных движений, были менее воинствующими, чем они казались или провозглашались. Мы сказали, что антисистемные силы мира на самом деле стремились, большей частью невольно, к либеральным идеологическим целям гомогенизирующей интеграции в систему. Но, делая так, они по крайней мере предлагали надежду, даже преувеличенную надежду, и основывали приверженность своему делу на этих надеждах и обещаниях. Когда в конце концов было понято, что обещания не выполняются, последовали сначала серьезное восстание (1968 г.), а затем гнев разочарования (1989 г.). Восстание и разочарование были направлены в большей мере против предполагавшихся антисистемными либерал-социалистов, чем против классических либералов. Но это не имеет значения, поскольку либерализм добился своих целей через либерал-социалистов (и, несомненно, либерал-консерваторов тоже) и никогда не мог быть эффективным в одиночку.

* Реальная политика (нем.)

Саддам Хусейн извлек уроки из этого краха идеологической оболочки. Он пришел к выводу, что «национальное развитие» — всего лишь приманка и оно невозможно даже для таких богатых нефтью стран, как Ирак. Он решил, что единственный способ изменить мировую иерархию власти — создать великие военные державы на Юге. Он видел в себе Бисмарка вождя панарабского государства. Вторжение в Кувейт должно было быть первым шагом в этом процессе, а в качестве побочного выигрыша мгновенно разрешало проблему задолженности Ирака (устранение главного кредитора плюс удачно награбленный капитал).

Если это было упражнение в чистой «Realpolitik», мы должны рассмотреть, в чем состояли расчеты. Каким образом Саддам Хусейн мог оценить свои риски и, соответственно, шансы на успех? Я не думаю, что он просчитался. Скорее я полагаю, что он рассуждал следующим образом: Ирак имеет 50-процентные шансы на краткосрочный выигрыш (если США будут колебаться с ответными действиями), но если Ирак сделает ход, США окажутся в ситуации, где невозможно победить, где они будут иметь 100-процентную вероятность поражения в среднесрочной перспективе. Для игрока «Realpolitik» это неплохой расклад.

Саддам Хусейн проиграл свою краткосрочную азартную, с шансами пятьдесят на пятьдесят, игру. США ответили с использованием максимальной военной силы, и победить их, разумеется, было невозможно. Ирак как страна вышел из войны сильно ослабленным, хотя и в меньшей степени, чем полагали США. Но политическая ситуация на Ближнем Востоке не изменилась коренным образом по сравнению с 1989 г., за исключением того, что политическая ответственность США сильно возросла без сколько-нибудь существенного возрастания их политических возможностей смягчать существующие напряжения. Каким бы ни было развитие событий в краткосрочном плане, продолжающаяся эрозия политической роли США в миросистеме в среднесрочном плане неостановима, принимая во внимание подрыв их конкурентных позиций на мировом рынке перед лицом Японии и Европейского Сообщества.

Вопрос, остающийся открытым на длительную перспективу, касается не того, что произойдет на Севере — это на самом деле как

раз нетрудно предсказать. Когда начнется следующий длительный подъем мира-экономики, наиболее вероятно, будут существовать два полюса силы: ось Япония-США, к которому можно подключить и Китай, и панъевропейская ось, к которому подключится Россия. В ходе нового расширения и нового соперничества между державами сердцевины, когда каждый из полюсов сконцентрируется на развитии своей основной полупериферийной зоны (Китай в одном случае и Россия, или перестроенный СССР, в другом), Юг в целом еще сильнее маргинализируется за исключением разбросанных там и сям анклавов.

Политическим последствием этого нового периода экономической экспансии будет интенсивный конфликт Север-Юг. Но если Север потерял свое оружие идеологического контроля за ситуацией, не могут ли антисистемные силы — на Юге и те повсюду, кто поддерживает Юг (то есть, говоря старым языком, трудящиеся классы мира) — изобрести новое идеологическое измерение своей борьбы?

Поскольку идеологические темы прошлых лет, воплощенные в социалистических и антиимпериалистических учениях, выработали свой ресурс, появились три основных способа борьбы. Каждый создал гигантские непосредственные сложности для господствующих слоев миросистемы. Но ни один из них не кажется бросающим серьезный идеологический вызов. Первый — это то, что я назвал бы необисмаркианским вызовом, примером которого является напор Саддама Хусейна. Второй — фундаментальное отрицание просвещенческого мировоззрения; мы видели его в силах, ведомых аятоллой Хомейни. Третий — путь индивидуальных попыток социально-географической мобильности, главным выражением которого является массовая нелегальная все расширяющаяся миграция с Юга на Север.

Две вещи, относящиеся к этим формам борьбы, особенно важны. Во-первых, каждая из них, видимо, многократно возрастет в ближайшие 50 лет и привлечет наше коллективное политическое внимание. Во-вторых, левые интеллектуалы мира реагируют на каждую из этих форм борьбы чрезвычайно двусмысленным образом. В той мере, в какой они кажутся направленными против господствующих слоев миросистемы и причиняющими им неудобства, левые

интеллектуалы хотели бы поддержать эти формы борьбы. В той мере, в какой каждая из них лишена идеологического содержания и потому является скорее потенциально реакционной, чем прогрессивной по своим среднесрочным последствиям, левые интеллектуалы дистанцируются, даже весьма заметно дистанцируются, от этих форм борьбы.

Вопрос в том, какой выбор имеют левые силы. Если 1989 год представляет собой конец культурной эпохи, продолжавшейся от 1789 до 1989 г., какими будут, какими могут быть новые идеологические темы наступающей эпохи? Позвольте мне предложить возможное направление анализа. Тематами современности, то есть только что закончившейся эпохи, были достоинства новизны и нормальность политических перемен. Эти темы последовательно и логично вели, как мы пытались доказать, к триумфу либерализма как идеологии, то есть к триумфу политической стратегии сознательной, рациональной реформы в ожидании неизбежного совершенствования общества и государства. Поскольку в рамках капиталистического мира-экономики существуют (непризнаваемые) встроенные ограничители «совершенствованию» общества и государства, эта идеология достигла своих пределов (в 1968 и 1989 гг.) и утратила свою эффективность.

Мы сейчас находимся при вступлении в новую эпоху, эпоху, которую я описал бы как период дезинтеграции капиталистического мира-экономики. Все разговоры о создании «нового мирового порядка» — всего лишь пустые заклинания, которым почти никто не верит и которые, во всяком случае, маловероятно осуществить.

Но какие идеологии могут существовать, если мы стоим перед перспективой дезинтеграции (в противоположность нормальному прогрессивному изменению)? У героя либерализма, индивида, не будет возможности сыграть значительную роль, потому что ни один индивид не сможет долго выжить среди распадающихся структур. Наш выбор как субъектов может состоять лишь в формировании групп, достаточно больших, чтобы отбить уголки силы и убежища. Поэтому не случайно тема «групповой идентичности» выдвинулась на передний план в масштабах, не известных прежде современной миросистеме.

Если субъектами являются группы, на практике таких групп много по количеству, и они пересекаются самым замысловатым образом. Все мы — члены (даже очень активные члены) многочисленных групп. Но определить тему групп как субъектов — недостаточно. В эпоху 1789-1989 гг. и консерваторы, и социалисты пытались, хотя и безуспешно, добиться социальной приоритетности групп. Консерваторы стремились к приоритетности определенных традиционных группировок; социалисты стремились к приоритетности коллектива (народа) как единой группы. Мы должны, в дополнение к этому, выдвинуть идеологию (то есть политическую программу), основанную на приоритетности групп как деятелей.

Мне кажется, что возможно представить построение лишь двух идеологий, хотя в строгом смысле слова ни одна из них не может быть полностью сконструирована. Кто-то может выдвинуть на первый план достоинства и законность «выживания наиболее приспособленных» групп. Мы слышим эту тему в новой агрессивности поборников неорасистских идей, которые чаще облакаются в наряды меритократии, чем в одеяния расовой чистоты. Новые претензии уже не обязательно основываются на старых узких группировках (таких как нации или группы по цвету кожи), скорее на праве сильного (какими бы *ad hoc** ни были их группировки) захватывать добычу и защищать ее в своих укрепленных местностях.

Проблема с необисмаркинским и антипросвещенческим устремлениями на Юге состоит в том, что они склонны в конечном счете приходиться к соглашению с похожими на себя на Севере, становясь тем самым еще одной укрепленной местностью сильных. Мы явственно видим это в политическом развитии Ближнего Востока в последние 15 лет. Столкнувшись с угрозой, представляемой Хомейни, Саддам Хусейн был поддержан и усилен всеми секторами мировых господствующих групп. Когда Саддам Хусейн попытался захватить и удержать чересчур большой кусок добычи, эти же силы повернулись против него, и наследники Хомейни радостно присоединились к господствующей своре. Эта легкая смена союзов гово-

* К случаю (лат.)

рит кое-что о политике господствующих слоев (в том числе и лицемерии их песнопений об озабоченности нравами человека), но это же кое-что говорит и о Хомейни с его группой, и о партии БААС под руководством Саддама Хусейна.

Есть и идеология, исходящая из приоритета групп в эпоху распада, альтернативная к идеологии «выживания наиболее приспособленных» групп. Это признание равных прав всех групп на свою долю в перестроенной миросистеме при одновременном признании, что ни одна из групп не имеет исключительного характера. Сеть групп замысловато переплетена. Часть черных, но не все черные, являются женщинами; некоторые мусульмане, но не все мусульмане, — черные; некоторые интеллектуалы — мусульмане, и так до бесконечности. Реальное пространство каждой группы предполагает и пространство внутри групп. Все группы представляют лишь частичные идентичности. Наличие оборонительных границ между группами в тенденции имеют своим последствием создание иерархии внутри групп. И все же, разумеется, группы не могут существовать без каких-то защищающих их границ.

Вот на какой вызов мы должны ответить — создать новую левую идеологию во время распада исторической системы, в которой мы живем. Это не простая задача, и не такая, которую можно решить с сегодня на завтра. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы выстроить идеологии в эпоху после 1789 г.

Ставки высоки, потому что когда система распадается, что-то обязательно приходит ей на смену. Мы сегодня точно знаем о системных бифуркациях, что при них преобразование может идти в радикально различных направлениях, потому что маленький импульс в этой точке может иметь великие последствия (в отличие от эпох относительной стабильности, которую современная миросистема переживала примерно с 1500 г. до недавних пор, когда даже большие усилия порождают лишь ограниченные последствия). После перехода от исторического капитализма к чему-то еще, скажем около 2050 г., мы можем оказаться в новой системе (или множестве систем), являющейся (являющихся) неэгалитарной и иерархичес-

Кой, или же можем оказаться в системе, которая отличается высоким уровнем равенства и демократии. Это зависит от того, будут ли

способны те, кто предпочитают именно последний исход, выдвинуть вместе разумную стратегию политических изменений.

Теперь мы можем обратиться к вопросу «кто кого исключает». В капиталистическом мире-экономике система работает на социальное исключение (из получения благ) большинства путем включения всей потенциальной рабочей силы мира в систему организации труда, в многослойную иерархию. Эта система исключения через включение была бесконечно усилена широким распространением в XIX в. господствующей либеральной идеологии, которая оправдывала это исключение через включение и сумела впрямь даже мировые антисистемные силы в решение этой задачи. Эта эпоха, к счастью, завершена.

Теперь нам надо понять, сможем ли мы создать совершенно отличную миросистему, такую, которая включила бы каждого в получение своих благ, и могла бы сделать это благодаря тем механизмам исключения, которые являются частью построения осознающих себя групп при признании, однако, их взаимного пересечения и частичного перекрытия.

Ясная окончательная формулировка четкой антисистемной стратегии для эпохи дезинтеграции потребует для своей разработки по меньшей мере двух десятилетий. Все, что можно сделать сейчас — это предложить некоторые элементы, которые могли бы войти в эту стратегию; при этом, однако, нельзя быть уверенным, как все эти кусочки мозаики подойдут друг к другу, и никто не сможет утверждать, что их список исчерпан.

Одним из элементов совершенно точно должен быть решительный разрыв с прежней стратегией осуществления социальных преобразований через взятие государственной власти. Хотя получение государственной власти и может быть полезным, оно почти никогда не ведет к преобразованиям. Получение государственной власти должно оцениваться как необходимая оборонительная тактика, используемая в конкретных условиях, чтобы сдерживать ультраправые репрессивные силы. Но государственную власть следует признать необходимым злом, ибо это всегда предполагает возможность заново легитимизировать существующий мировой порядок. Этот разрыв с либеральной идеологией, несомненно, будет самым сложным

из шагов, которые надо предпринять антисистемным силам, несмотря на крах либеральной идеологии, о котором говорилось выше.

Полное нежелание заниматься трудностями системы — вот что предполагает такой разрыв с прошлой практикой. Это не функция антисистемных сил — разрешать политические дилеммы, которые все более сильные противоречия системы навязывают господствующим слоям. Самопомощь народных сил должна рассматриваться как нечто совершенно отличное от переговоров о реформах существующих структур. На самом деле все антисистемные силы, даже наиболее воинственные из них, направлялись в эту ловушку во время либеральной идеологической эры.

Вместо этого антисистемные движения должны сосредоточиться на расширении влияния реальных социальных групп на различных уровнях и в разных видах общественной жизни и их блокировании (и постоянной перегруппировки) на более высоком уровне, но не в унифицированной форме. Фундаментальной ошибкой антисистемных сил в предыдущую эру было убеждение, что чем более унифицирована структура, тем она эффективнее. Строго говоря, исходя из стратегии первоочередности задачи завоевать государственную власть, эта политика была логична и по видимости приносила свои плоды. Именно это также превратило социалистическую идеологию в либерал-социалистическую. Демократический централизм — вещь прямо противоположная тому, что нужно. Основа солидарности многочисленных реальных групп на более высоких уровнях (государство, регион, весь мир) должна быть мягче, более гибкой, более органичной. Семья антисистемных сил должна двигаться на разных скоростях в постоянной переформулировке тактических приоритетов.

Такая внутренне связанная, но не унифицированная семья сил возможна лишь если каждая из составляющих ее групп сама является сложной по составу, внутренне демократичной структурой. А это в свою очередь возможно лишь в случае, когда на коллективном уровне не существует обязательных для всех стратегических приоритетов борьбы. Система прав, значимых для одной группы, не важнее другой системы прав, значимой для другой группы. Спор о приоритетах ослабляет и уводит с пути, возвращает на парковые дорожки

унифицированных групп, в конечном счете сливающихся в едином монолитном движении. Битва за преобразование может вестись лишь на всех фронтах одновременно.

Стратегия борьбы на многих фронтах множеством групп, каждая из которых сложна по составу и демократична, будет располагать одним тактическим оружием, которое может оказаться неотразимым защитниками статус-кво; это оружие — брать старую либеральную идеологию буквально и требовать ее полного осуществления. Например, имея дело с ситуацией массовой нелегальной миграции с Юга на Север, разве не будет подходящей тактикой требовать принципа неограниченного свободного рынка — открытых границ для всех, кто хочет приехать? Столкнувшись с таким требованием, либеральные идеологи могут только отбросить свои песнопения о правах человека и признать, что они вовсе не имеют в виду свободу эмиграции, потому что не имеют в виду свободы иммиграции.

Похожим образом можно на каждом из фронтов борьбы выдвигать требование демократизации принятия решений, так же как и устранения всех случаев неформальных и непризнанных привилегий. Я говорю здесь не о чем другом, как о тактике перенапряжения системы путем восприятия ее претензий и деклараций серьезнее, чем того хотели бы господствующие силы. Это прямо противоположно тактике разрешения трудностей системы.

Будет ли всего этого достаточно? Трудно знать это заранее, но вероятнее всего, самого по себе — недостаточно. Но это будет сильнее и сильнее загонять господствующие силы в угол и вынуждать к более отчаянной ответной тактике. И все же исход будет оставаться неясным, пока антисистемные силы не смогут разработать свою утопистику — размышления и споры о реальных дилеммах демократического и эгалитарного строя, который они хотели бы создать. В прошлый период на утопистику смотрели неодобрительно как на уход от главной задачи обретения государственной власти и затем национального развития. Итоговым результатом стало движение, основанное на романтической иллюзии; именно поэтому оно стало объектом гневного разочарования. Утопистика — это не утопические мечтания, а трезвое предвидение трудностей и открытое измышление, изобретение альтернативных институциональных структур.

Про утопистику думали, что она сеет рознь. Но если антисистемным силам надо быть неунифицированными и сложными по структуре, тогда альтернативные видения возможных будущих — часть процесса.

1989 год представлял собой агонизирующий конец эпохи. Так называемое поражение антисистемных сил на самом деле было великим освобождением. Оно устранило либерально-социалистические оправдания капиталистического мира-экономики и таким образом стало крахом господствующей либеральной идеологии.

Новая эпоха, в которую мы вступаем, может оказаться не менее обманчивой. Мы плывем в морях, еще не нанесенных на карту. Мы гораздо больше знаем об ошибках прошлого, чем об опасностях ближайшего будущего. Потребуется неизмеримые коллективные усилия, чтобы выработать ясную стратегию преобразований. Между тем дезинтеграция системы идет быстро, а защитники иерархии и привилегий не тратят зря времени и ищут решения и исходы, которые изменили бы все, ничего не меняя (вспомним, что Лампедуза именно так оценил итоги гарибальдийской революции).

Нет оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма. Все остается в пределах возможного, но все остается неопределенным. Мы должны переосмыслить наши старые стратегии, мы должны переосмыслить наш старый анализ. Они были слишком отмечены господствующей идеологией капиталистического мира-экономики. Несомненно, мы должны сделать это как органические интеллигенты, но органические интеллигенты неунифицированной общемировой семьи множества групп, каждая из которых сложна по своей структуре.

АГОНИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ЧТО ОБЕЩАЕТ ПРОГРЕСС?

Мы встречаемся в дни тройного юбилея: 25 лет со дня основания Университета Сейко в Киото; 25 лет всемирной революции 1968 г.; 52 года (именно сегодня, по крайней мере по американскому календарю) бомбардировки Перл-Харбора японским флотом. Позвольте мне начать с ремарок, что, по моему мнению, представляет каждый из этих юбилеев¹.

Основание Университета Сейко в Киото — символ самого важного поворота в истории нашей мироземной системы: необычайного количественного роста университетских структур в 1950-х и 1960-х гг.² В определенном смысле этот период был кульминацией обещанного Просвещением прогресса через образование. Само по себе это было чудесной вещью, и мы празднуем ее сегодня. Но, как и с другими чудесными вещами, и у этой были свои, осложнения и свои издержки. Одно из осложнений состояло в том, что расширение высшего образования произвело большое количество выпускников, которые настаивали на предоставлении рабочих мест и доходах, соизмеримых с их статусом, и появились некоторые проблемы с удовлетворением этого требования, по крайней мере с необходимой скоростью и в необходимых объемах. Издержки состояли в социальных затратах на обеспечение этого расширяющегося высшего образования, что было лишь частью затрат на обеспечение в целом благосостояния для значительно выросших численно средних слоев мироземной системы. Этим растущим расходам на социальное благосостояние предстояло лечь тяжким бременем на государственную казну, и сегодня, в 1993 г., мы повсюду в мире обсуждаем бюджетный кризис государств.

Это приводит нас ко второму юбилею — годовщине всемирной революции 1968 г. Эта всемирная революция в большинстве стран (но не во всех) началась в университетах. Одной из проблем, послуживших растопкой для огня, без сомнения, было внезапное беспокойство этих будущих выпускников о перспективах получения ра-

боты. Но, разумеется, этот узко эгоистический фактор не был главным центром революционного взрыва. Скорее это был лишь дополнительный симптом ключевой проблемы, связанной с реальным содержанием всей системы обещаний, содержащихся в просвещенческом сценарии прогресса, — обещаний, которые, на поверхностный взгляд, казалось, были выполнены в период после 1945 г.

А это приводит нас к третьей годовщине — нападения на Перл-Харбор. Именно это нападение вовлекло США во Вторую мировую войну в качестве формального участника. Однако на самом деле это не была война в основном между Германией и США. Япония, если вы простите, что я говорю так, была второразрядным игроком в этой глобальной драме, и ее нападение было незначительным вмешательством в давно шедшую борьбу. Война была прежде всего войной между Германией и США, и по сути дела была войной, не прекращавшейся с 1914 г. Это была «тридцатилетняя война» между двумя основными претендентами на наследие Великобритании как державы-гегемона мироземной системы. Как мы знаем, США предстояло победить в этой войне и стать гегемоном, и с тех пор сидеть во главе стола при этом внешнем триумфе идей Просвещения.

Исходя из всего сказанного, я организую свое выступление на основе этой системы тем, которые мы по сути отмечаем как юбилеи. Сначала я обсужу эпоху надежд и борьбы за идеалы Просвещения, 1789-1945 гг. Затем я постараюсь проанализировать эпоху осуществления, однако лишь ложного осуществления, надежд Просвещения, 1945-1989 гг. В-третьих, я перейду к нашей современной эпохе, «черному периоду», который начался в 1989 г. и продлится по крайней мере полвека. Наконец, я поговорю о выборах, стоящих перед нами — сейчас и в ближайшем будущем.

Функции либерализма

Первым великим выражением Просвещения во всей его неоднозначности была, конечно, Французская революция. Само обсуждение, чем была Французская революция, стало одной из великих двусмысленностей нашей эпохи. Празднование ее двухсотлетия во Франции в 1989 г. стало поводом для серьезных попыток предложить новую интерпретацию этого великого события в замену господство-

вавшей долгое время «социальной интерпретации», ныне оцениваемой как «вышедшая из моды»³.

Сама по себе Французская революция была лишь завершающим моментом длительного процесса, не в одной только Франции, но во всем капиталистическом мире-экономике как исторической системе. Потому что к 1789 г. изрядная часть земного шара уже почти три столетия находилась внутри этой исторической системы. И за эти три века большая часть из ключевых институтов этой системы была создана и укреплена: осевое разделение труда с перетеканием значительной части прибавочного продукта из периферийных зон в зоны сердцевин; ведущая роль вознаграждения тех, кто действует в интересах бесконечного накопления капитала; межгосударственная система, состоящая из так называемых суверенных государств, которые, однако, ограничены в своих действиях рамками и «правилами» этой самой межгосударственной системы; постоянно нарастающая поляризация миросистемы, носящая не только экономический, но и социальный характер, и готовая стать также и демографической.

Тем, чего, однако, все еще не хватало этой миросистеме исторического капитализма, была легитимизирующая ее геокультура. Основные учения были выкованы теоретиками Просвещения в XVIII в. (и на самом деле еще раньше), но социально институционализироваться им предстояло только с Французской революцией. Ведь то, что сделала Французская революция, было привлечение народной поддержки, даже шумного одобрения, принятию двух новых мировоззренческих идей: что политические изменения являются нормой, а не исключением; и что источником суверенитета является «народ», а не монарх. В 1815 г. Наполеон, наследник и всемирный протагонист Французской революции, потерпел поражение, и во Франции (и повсюду, где были сметены «старые режимы») последовало явление, предполагавшееся как «Реставрация». Но Реставрация не устранила, а на самом деле и не могла уже устранить широко распространившегося принятия этих мировоззренческих идей. Приходилось считаться с новой ситуацией, состоявшей в том, что родилась триада идеологий XIX в. — консерватизм, либерализм и социализм, — предоставив язык последующим политическим дебатам в капиталистическом мире-экономике⁴.

Однако из этих трех идеологий победителем вышел либерализм, причем уже во время событий, которые можно оценить как первую всемирную революцию в нашей системе, во время революции 1848 г.⁵ Поскольку именно либерализм оказался наилучшим образом приспособлен, чтобы дать подходящую геокультуру для капиталистического мира-экономики, которая легитимизировала бы его другие институты как в глазах профессиональных кадров системы, так и в глазах массы населения, так называемых простых людей.

Поскольку народ считал политические изменения нормой и что именно он в принципе является носителем суверенитета (иначе говоря, субъектом, принимающим решения о политических изменениях), все становилось возможным. И именно это, разумеется, создавало проблему, с которой столкнулись те, кто пользовались властью и привилегиями в рамках капиталистического мира-экономики. Непосредственным центром их страхов в определенной степени стала небольшая, но растущая группа городских промышленных рабочих. Но, как обильно продемонстрировала Французская революция, деревенские непромышленные рабочие могут быть в перспективе ничуть не меньшим источником бед и страхов для власть и привилегии имущих. Как можно было бы удержать эти «опасные классы» от слишком серьезного восприятия этих норм (о естественности перемен и народном суверенитете) и вмешательства в результате в процесс капиталистического накопления с подрывом основных структур системы? Вот в чем состояла политическая дилемма, остро поставленная перед правящими классами в первой половине XIX в.

Первым очевидным ответом были репрессии. И они действительно широко применялись. Однако урок всемирной революции 1848 г. состоял в том, что репрессии сами по себе в конечном счете оказывались неэффективны; они провоцировали скорее ожесточение, а не успокоение опасных классов. Пришло понимание, что репрессии, дабы быть эффективными, должны сочетаться с уступками. С другой стороны, и те, кто считался в первой половине XIX в. революционерами, тоже извлекли уроки. Стихийные восстания тоже были неэффективны, поскольку их более или менее

легко подавляли. Угрозы народного восстания необходимо было совмещать с сознательной долговременной организационно-политической работой, если в качестве задачи ставилось ускорение существенных перемен.

В конечном счете либерализм предложил себя в качестве непосредственного решения политических трудностей как правых, так и левых. Правым он проповедовал уступки, левым — организацию. И тем и другим он проповедовал терпение: в долгосрочном плане удастся добиться большего (для всех) идя по «среднему пути». Либерализм был воплощенным центризмом, и его проповедь обладала притягательностью пения сирен. Потому что то, что он проповедовал, было не пассивным центризмом, а активной стратегией. Либерализм основывал свои убеждения на одной из ключевых посылок мысли Просвещения: рациональные мысль и действие — путь к спасению, то есть к прогрессу. Люди (как правило, под людьми подразумевались только мужчины) по природе разумны, потенциально разумны, разумны в конечном счете.

Отсюда следовало, что «нормальные политические перемены» должны идти по пути, намеченному теми, кто был наиболее разумен — то есть наиболее образован, наиболее квалифицирован, и потому наиболее мудр. Такие люди могут начертить наилучшие пути, на которых следует осуществлять политические изменения; то есть именно такие люди могли бы указать необходимые реформы, которые надо предпринять и осуществить. Рациональный реформизм стал организующим понятием либерализма, которое определяло и колеблющуюся позицию либералов касательно взаимоотношений индивида и государства. Либералы могли одновременно доказывать, что индивида не должно ограничивать диктатом государства (коллектива) и что действия государства необходимы, чтобы минимизировать несправедливость по отношению к индивиду. Они, таким образом, в одно и то же время могли выступать и за *laissez-fair**, и за фабричное законодательство. Дело в том, что для либералов главное состояло не в *laissez-fair* и не в фабричном законодательства самом по себе, но скорее во взвешенном обдуманном прогрессе на

* Невмешательство государства в экономику (*фр.*)

пути к хорошему обществу, которого можно лучше всего достичь, может быть, только на пути рационального реформизма.

Эта доктрина рационального реформизма на практике доказала свою чрезвычайную привлекательность. Казалось, она отвечает потребностям каждого. Для тех, кто был склонен к консерватизму, она казалась способной приглушить революционные инстинкты опасных классов. Некоторое расширение избирательных прав здесь, элементы государства всеобщего благосостояния там, плюс некоторое объединение классов в рамках общего национального самосознания — все это, взятое вместе, к концу XIX в. составило формулу, которая успокоила трудящиеся классы, сохраняя вместе с тем существенные начала капиталистической системы. Обладающие властью и привилегиями не потеряли ничего существенного для себя, зато могли спокойнее спать ночами (с меньшим количеством революционеров под окном).

С другой стороны, для тех, кто был настроен радикально, национальный реформизм, казалось, предлагал полезную промежуточную станцию. Он обеспечивал некоторые фундаментальные изменения здесь и сейчас, никогда не уничтожая надежды *и ожиданий* более основательных изменений позже. То, что он предлагал, получали живые люди, иногда в течение своей жизни. И эти живые люди затем могли спокойнее спать ночами (с меньшим количеством полицейских под окном).

Я не хочу преуменьшать полтора столетия или около того непрерывной политической борьбы — частью насильственной, частью страстной, большей частью последовательной и почти целиком серьезной. Я хотел бы, однако, представить эту борьбу в некоторой перспективе. В конечном счете борьба велась в рамках правил, установленных либеральной идеологией. И когда появилась значительная по силе группа, фашисты, полностью отрицавшая эти правила, они были отвергнуты и уничтожены — несомненно, не без трудностей, но все же они были отброшены.

Есть еще одна вещь, которую мы должны сказать о либерализме. Мы уже заявили, что в основе своей он не был антигосударственной идеологией, так как его реальным приоритетом был рациональный реформизм. Но, не будучи антигосударственной идеологией, либе-

рализм в основе своей был антидемократичен. Либерализм всегда был аристократическим учением — он проповедовал «власть лучших». Будем справедливы — либералы определяли «лучших» в зависимости не от рождения, а скорее по уровню образования. Лучшими, таким образом, считалась не наследственная знать, а лучшие представители меритократии. Но лучшие — всегда группа, меньшая, чем все. Либералы хотели власти лучших, аристократии, именно для того, чтобы не допустить власти всего народа, демократии. Демократия была целью радикалов, а не либералов; по крайней мере она была целью тех, кто был настроен искренне радикально и искренне антисистемно. Именно для того, чтобы не дать этой группе стать преобладающей, был выдвинут либерализм как идеология. И обращаясь к консервативно настроенным, которые сопротивлялись предлагаемым реформам, либералы всегда утверждали, что только рациональный реформизм станет барьером на пути демократии, это был аргумент, в конечном счете с симпатией выслушиваемый умными консерваторами.

Наконец, мы должны отметить значительное различие между второй половиной XIX и первой половиной XX в. Во второй половине XIX в. главным протагонистом в выдвижении требований опасных классов были все еще городские трудящиеся классы Европы и Северной Америки. Либеральная повестка дня замечательно работала с ними. Им были предложены всеобщее (для мужчин) избирательное право, начало функционирования государства всеобщего благосостояния, национальное самосознание. Национальное самосознание по отношению к кому? Несомненно, по отношению к соседям, но еще важнее и основательнее — по отношению к не-белому миру. Империализм и расизм были частью того пакета, который либералы предложили европейским/североамериканским трудящимся классам в обертке «рационального реформизма».

Однако между тем «опасные классы» неевропейского мира политически пришли в движение — от Мексики до Афганистана, от Персии до Индии. Когда Япония нанесла поражение России в 1905 г., во всей этой зоне это было оценено как начало «отката» европейской экспансии. Это был громкий предупредительный сигнал «либералам», которые, разумеется, были в основном европейцами и североамериканцами, что теперь «нормальность политических перемен» и «суверенитет» стали требованиями народов всего мира, а не только европейских трудящихся классов.

роамериканцами, что теперь «нормальность политических перемен» и «суверенитет» стали требованиями народов всего мира, а не только европейских трудящихся классов.

И тогда либералы обратили свое внимание на расширение понятия рационального реформизма на уровень миросистемы в целом. Именно в этом состояло послание Вудро Вильсона и его настаивание на «самоопределении наций», учении, которое было глобальным эквивалентом всеобщего избирательного права. Именно в этом состояло послание Франклина Рузвельта и «четыре свободы», провозглашенные как цель войны во время Второй мировой войны, что позже было переведено президентом Трумэнном в «четвертый пункт», первый кадр начатого после 1945 г. проекта «экономического развития слаборазвитых стран», доктрины, которая представляла собой глобальный эквивалент государства всеобщего благосостояния⁶.

Цели либерализма и демократии, однако, вновь оказались в конфликте. В XIX в. прокламируемый универсализм либерализма был сделан совместимым с расизмом «экстернализацией» объектов расизма (за пределами «нации») при одновременной «интернализации» тех, кто де-факто получил выгоды от универсальных идей, через институт «гражданства». Вопрос состоял в том, сумеет ли глобальный либерализм XX в. быть столь же успешным в сдерживании «опасных классов», находящихся в том, что стало называться третьим миром или Югом, как успешен был национал-либерализм Европы и Северной Америки в сдерживании своих национальных «опасных классов». Проблема, разумеется, в том, что на всемирном уровне некуда «экстернализовать» расизм. Противоречия либерализма возвращались к себе домой на ночлег.

Триумф и катастрофа

В 1945 г. все это было далеко не очевидным. Победа союзников над державами Оси казалась триумфом глобального либерализма (в союзе с СССР) перед лицом фашистского вызова. Факт, что последним актом войны было сбрасывание США двух атомных бомб на единственную из не-белых держав Оси, на Японию, вряд ли обсуждался в США (да и в Европе) как, может быть, отражение некоторых противоречий либерализма. Нет необходимости говорить, что

иной была реакция в Японии. Но Япония проиграла войну, и ее голос в тот момент всерьез не воспринимался.

США стали, и с большим отрывом, сильнейшей экономически страной мироэкономики. А с атомной бомбой они были и крупнейшей военной силой, несмотря на численность советских вооруженных сил. Они оказались способны за пять лет политически организовать миросистему, осуществляя четырехэлементную программу: I) урегулирование отношений с СССР, с гарантиями для него контролировать свой уголок мира в ответ на обязательство не вылезать оттуда (не в смысле риторики, а в терминах реальной политики); II) система союзов как с Западной Европой, так и с Японией, направленных на достижение экономических, политических и риторических целей, равно как и военных; III) модулированная, умеренная программа достижения «деколонизации» колониальных империй; IV) программа внутренней интеграции в самих США, основанной на расширении реальных прав «гражданства» и скрепленной печатью объединяющей идеологии антикоммунизма.

Эта программа работала, и работала замечательно хорошо, примерно 25 лет, то есть прямо до поворотного пункта 1968 г. Как же тогда должны мы оценить эти необычные годы — 1945-1968 гг.? Были ли они периодом прогресса и триумфа либеральных ценностей? Ответ должен быть таким: в очень большой мере «да» и в очень большой мере «нет». Наиболее очевидными показателями прогресса были материальные. Экономическое расширение мироэкономики было необычным. И казалось, что оно происходило повсюду — на Западе и Востоке, Севере и Юге. Если быть точным, больше благ досталось Северу, чем Югу, и в большинстве случаев разрыв (и в абсолютном, и в относительном выражении) вырос⁷. Поскольку, однако, в большинстве мест был реальный рост и высокая занятость, эпоха имела розовый отблеск. Это было тем более так, что параллельно с экономическим ростом, как я уже упомянул, сильно возросли расходы на социальные нужды, особенно расходы на образование и здравоохранение.

Во-вторых, в Европе опять был мир. Мир в Европе, но, конечно, не в Азии, где велись две длительные, изнурительные войны — в Корее и Индокитае. И, разумеется, во многих других частях неевро-

пейского мира. Однако конфликты в Корее и во Вьетнаме были не похожи друг на друга. Корейский конфликт скорее может быть сопоставлен с блокадой Западного Берлина, два события почти совпали во времени. Германия и Корея были двумя великими разделами 1945 г. Обе страны были разделены между военно-политическими сферами США, с одной стороны, и СССР, с другой. В духе Ялты предполагалось, что линии раздела останутся не тронуты, какими бы ни были националистические (и идеологические) чувства немцев и корейцев.

В 1949-1952 гг. твердость этих линий была подвергнута испытанию. После сильной напряженности (а в случае Кореи и громадных людских потерь) исходом фактически стало более или менее сохранение *status quo ante*. Таким образом, в реальном смысле берлинская блокада и корейская война завершили процесс институционализации ялтинских соглашений. Вторым следствием этих двух конфликтов была дальнейшая социальная интеграция в обоих лагерях, что нашло свою институционализацию в создании сильных блоков: с одной стороны НАТО и Пакта об обороне США-Япония, с другой — соглашений между СССР и Китаем. Более того, два конфликта послужили непосредственным стимулом еще большей экспансии мира-экономики, обильно подпитываемой военными расходами. Восстановление Европы и японский рост стали двумя непосредственными главными получателями выгод от этой экспансии.

Война во Вьетнаме была совсем иного типа, чем корейская. Вьетнам был символическим местом (хотя далеко не единственным) борьбы национально-освободительных движений в неевропейском мире. В то время как корейская война и блокада Западного Берлина были частью мирового режима «холодной войны», борьба вьетнамцев (как и алжирцев, и многих других) была протестом против ограничений и структуры этого мирового режима «холодной войны». Она была тем самым в элементарном и непосредственном смысле продуктом антисистемных движений. Это совершенно отличалось от борьбы в Германии и в Корее, где две стороны никогда не были в состоянии мира, лишь заключали перемирие; то есть для каждой из сторон

* Положение, которое было прежде (*лат.*)

мир был *faute de mieux**. Войны за национальное освобождение, напротив, были односторонними. Ни одно из национально-освободительных движений не хотело войны с Европой-Северной Америкой; они хотели остаться предоставленными самим себе и следовать своими путями. Именно Европа-Северная Америка не хотели оставлять их, пока не были в конце концов принуждены к этому. Таким образом, национально-освободительные движения протестовали против сильных, но делали они это во имя выполнения либеральной программы самоопределения наций и экономического развития слаборазвитых стран.

Это подводит нас к третьему великому достижению этих необычайных лет, 1945-1968: всемирному триумфу антисистемных сил. Лишь кажется парадоксом, что самый момент апогея гегемонии США в миросистеме и глобальной легитимизации либеральной идеологии стал также моментом, когда все эти движения, структуры и стратегии которых формировались в период 1848-1945 гг. как антисистемные движения, пришли к власти. Так называемые «старые левые» в трех своих исторических вариантах — коммунисты, социал-демократы и национально-освободительные движения — все добились государственной власти, каждая в своей географической зоне. Коммунистические партии были у власти от Эльбы до Ялу, покрывая одну треть мира. Национально-освободительные движения были у власти в большей части Азии, Африки и Карибского бассейна (а их эквиваленты — в большинстве стран Латинской Америки и Ближнего Востока). А социал-демократические движения (или их эквиваленты) пришли к власти, по крайней мере время от времени формируя правительства, в большей части Западной Европы, Северной Америки и Австралии. Япония была единственным, пожалуй, значительным исключением из этого глобального триумфа «старых левых».

Было ли это парадоксом? Было ли это результатом движения джаггернаутовой колесницы общественного прогресса, неизбежным триумфом народных сил? Или же это было массовой кооптацией этих народных сил в систему? И есть ли способы интеллектуально

* За неимением лучшего (*фр.*)

и политически провести различия между двумя этими предположениями?

Именно эти вопросы стали вызывать беспокойство в 1960-х. В то время как экономическая экспансия с ее очевидными выигрышами для уровня жизни по всему миру, относительный мир в обширных зонах мира и кажущийся триумф народных движений питали позитивные и оптимистические оценки мирового развития, более пристальный взгляд на реальную ситуацию обнаруживал серьезные негативные явления.

Мировой режим «холодной войны» был режимом не расширения свободы человека, а великих репрессий внутри всех государств, оправдываемых подразумеваемой серьезностью хорошо отрежиссированной и поставленной геополитической напряженности. В коммунистическом мире были чистки и показательные процессы, ГУЛАГ, «железный занавес». В третьем мире были однопартийные режимы с несогласными в тюрьмах или изгнании. А маккартизм (и его эквиваленты в других странах Запада), пусть и не отличавшийся такой тотальной жестокостью, был вполне эффективен, навязывая конформизм и ломая карьеры там, где это требовалось. Общественные обсуждения повсюду допускались лишь в жестко очерченных рамках.

Далее, с точки зрения материальных отношений режим «холодной войны» был связан с ростом неравенства, как на международном, так и на национальных уровнях. Хотя антисистемные движения часто выступали против старого неравенства, они не стеснялись создавать его новые формы. Номенклатура коммунистических режимов имела свои параллели в третьем мире и в социал-демократических режимах стран ОЭСР.

К тому же было совершенно ясно, что это неравенство вовсе не характеризовалось случайным распределением. Оно коррелировало со статусными группами (определялся ли этот статус расовой, религиозной или этнической принадлежностью), и такая корреляция наблюдалась как на всемирном уровне, так и внутри всех государств. И, конечно же, существовала корреляция с возрастными и тендерными группами, как и с множеством других социальных характеристик. Короче говоря, были группы, оставшиеся вне получе-

ния выгод от развития, много таких групп, составлявших значительно больше половины населения мира.

Такова была реализация давних надежд в годы между 1945 и 1968, надежд, о которых стали думать как о псевдореализованных, что и заложило основу и привело к всемирной революции 1968 г. Эта революция была направлена в первую очередь против исторической системы в целом — против США как державы-гегемона этой системы, против экономических и военных структур, составлявших несущие конструкции системы. Но революция была не в меньшей, если не в большей, мере направлена против «старых левых» — против антисистемных движений, которые считали недостаточно антисистемными; против СССР как тайного партнера своего показного идеологического врага, США; против профсоюзов и других рабочих организаций, которые рассматривались как узко экономистские, защищающие интересы прежде всего особых статусных групп.

Между тем защитники существующих структур разоблачали то, что считали антирационализмом революционеров 1968 г. Но на самом деле либеральная идеология подорвалась на собственной mine. Настаивая более века, что функция общественных наук состоит в расширении границ рационального анализа (как необходимой предпосылке рационального реформизма), они слишком преуспели в этом. Как указывал Фредрик Джеймсон:

«Развитие современной теории или философии в значительной степени... включало в себя удивительное расширение того, что мы считаем рациональным или осмысленным поведением. Мое ощущение таково, что после распространения психоанализа, но также с постепенным улетучиванием "инакости" со сжимающегося земного шара и из пропитанного СМИ общества, осталось очень немного "иррационального" в старом смысле "непостижимого"... Имеет ли такое гигантски расширенное понятие разума нормативную ценность в дальнейшем... в ситуации, когда его противоположность, иррациональное, съезжилось фактически до несуществования, — это особый и интересный вопрос»⁸.

Потому что если фактически все стало рациональным, какая особая законность оставалась у общественной науки истеблишмента? Какие такие особые достоинства остались у конкретных политических программ господствующих элит? И что оказывалось самым разрушительным — какие особые способности могли предложить специалисты, которых бы не было у простых людей, могли ли господствующие группы предложить какие-то достоинства, которых не было бы у угнетенных групп? Революционеры 1968 г. обнаружили эту логическую дыру в защитной броне либеральных идеологов (и в не так уж сильно отличающемся варианте официальной марксистской идеологии) и ворвались в брешь.

Как политическое движение всемирная революция 1968 г. была не более чем огнем, пробежавшим по траве. Он резко вспыхнул и затем (трех лет не прошло) угас. Угольки — в форме множества соперничающих псевдомаоистских сект — тлели еще пять-десять лет, но к концу 1970-х все эти группы стали не более чем не очень разборчивыми примечаниями в историческом описании. Однако геокультурное влияние 1968 г. сыграло решающую роль, потому что всемирная революция 1968 г. отметила конец эпохи, эпохи автоматически центрального места либерализма, не просто как господствующей всемирной идеологии, но как единственной, которая могла провозглашать себя неизменно рациональной и потому научно узаконенной. Всемирная революция 1968 г. вернула либерализм на место, которое он занимал в период 1815-1848 гг., всего лишь одной из соперничающих идеологий среди других. И консерватизм, и радикализм/социализм в этом смысле освободились из силового поля либерализма, которое удерживало их с 1848 по 1968.

Процесс разжалования либерализма с его поста геокультурной нормы во всего лишь одного из соперников на глобальном рынке идей был завершён в течение двух десятилетий, последовавших за 1968 г. Материальный блеск периода 1945-1968 гг. исчез во время начавшейся Б-фазы (спада) длинного кондратьевского цикла. Это не значит, что все пострадали в равной мере. Страны третьего мира пострадали в первую очередь и хуже всех. Подъем цен на нефть странами ОПЕК был первым способом попытаться ограничить ущерб. Значительная часть мирового прибавочного продукта была

перекачана через нефтепроизводящие государства в банки стран ОЭСР. Непосредственную выгоду получили три группы: нефтепроизводящие государства, которые получали ренту; государства (в третьем мире и в коммунистическом мире) которые получали займы от банков стран ОЭСР, чтобы восстановить свой платежный баланс; государства ОЭСР, которые тем самым могли поддержать свой экспорт. Эта первая попытка потерпела крах в 1980 г. в связи с так называемым кризисом задолженности. Вторым способом попытаться ограничить ущерб стало военное кейнсианство Рейгана, которое питало спекулятивный бум 1980-х в США. Оно потерпело крах в конце 1980-х гг., утянув за собой СССР. Третья попытка была предпринята Японией вместе с восточноазиатскими «драконами» и рядом сопредельных государств, она состояла в попытке получить выгоду от неизбежного в условиях Б-периода кондратьевского цикла территориального перемещения производства. Сейчас, в начале 1990-х гг., мы являемся свидетелями пределов, которые имеют эти усилия.

Нетто-результатом 25 лет экономической борьбы стало всемирное разочарование в обещаниях, связанных с концепцией развития, краеугольного камня в предложениях глобального либерализма. Несомненно, Восточная и Юго-Восточная Азия пока еще не разделяет этого чувства разочарования, но это не более чем временной лаг. Однако повсюду последствия велики, особенно негативны они для «старых левых» — во-первых, для национально-освободительных движений, затем для коммунистических партий (коллапс коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 г.) и, наконец, для социал-демократических партий. Эти провалы праздновались либералами как их великая победа. На самом деле это был праздник на собственных похоронах. Потому что либералы оказались отброшены в ситуацию до 1848 г., отмеченную нарастающим давлением в пользу демократии — большей, чем ограниченный пакет из парламентских институтов, многопартийной системы и элементарных гражданских прав; на сей раз давлением в пользу более реальных вещей, подлинно эгалитарного разделения власти. А это последнее требование исторически было кошмаром либерализма, именно для борьбы с ним либерализм предложил свой пакет ограниченных ком-

промиссов, сочетающийся с успокоительным оптимизмом в отношении будущего. В той мере, в какой сегодня более не существует широко распространенной веры в рациональный реформизм посредством действий государства, либерализм потерял свою главную политико-культурную защиту от опасных классов.

Крах легитимности

Таким образом мы, подошли к нашей эпохе, которую я мыслю как предстоящий нам «темный период», который, можно сказать, символически начался в 1989 г. (продолжении 1968-го)⁹ и продлится по меньшей мере от 25 до 50 лет.

До сих пор я обращал главное внимание на идеологический щит, который был создан господствующими силами для защиты от притязаний, выдвигавшихся «опасными классами», начиная с 1789 г. Я доказал, что таким щитом была либеральная идеология, и что она действовала как непосредственно, так и, даже более коварно, посредством подчищенного социалистического/прогрессистского варианта, который продал суть антисистемных требований за их суррогат ограниченной ценности. И, наконец, я доказал, что этот идеологический щит был в основном разбит всемирной революцией 1968 г., заключительным актом которой стал крах коммунизмов в 1989 г.

Почему же этот щит не сработал после полутора столетий такого эффективного функционирования? Ответ на этот вопрос лежит не в каком-то внезапном прозрении угнетенных, вдруг увидевших ложность идеологических заявлений. Очевидность лицемерия либерализма понималась изначально и часто решительно разоблачалась в XIX и XX вв. И тем не менее движения социалистической традиции вовсе не вели себя в соответствии с собственной риторической критикой либерализма. В большинстве случаев совсем наоборот!

Причину найти нетрудно. Социальной базой этих движений — движений, которые всегда очень громко претендовали на выступление от имени человеческих масс — на самом деле была узкая группа трудящегося населения, наименее обеспеченный сегмент «модернистского» сектора мировой экономики в том виде, как она сформировалась между 1750 и 1950 гг. Он включал в себя квалифицированные

полуквалифицированные городские трудящиеся классы, различные отряды интеллигенции, а также наиболее образованные и квалифицированные группы в тех сельских зонах, где наиболее заметно было функционирование капиталистического мира-экономики. Все вместе они достигали немалой численности, но далеко не оставляли большинства мирового населения.

«Старые левые» были движением, опирающимся на меньшинство, сильное меньшинство, угнетенное меньшинство, но тем не менее численное меньшинство мирового населения. И эта демографическая реальность ограничивала возможности его реального политического выбора. В таких условиях оно делало лишь то, что могло. Оно выбрало роль шпоры, которой подгоняли выполнение либеральной программы рационального реформизма, и в этой роли весьма преуспело. Блага, которых оно добилось для своих основных участников, были реальными, хотя лишь частичными. Но, как заявляли революционеры 1968 г., большое количество людей осталось за пределами этого уравнения. «Старые левые» говорили универсалистским языком, но практиковали партикуляристскую политику.

Причина, по которой эти идеологические шоры были сброшены в 1968-1989 гг., была в том, что изменилась лежащая в их основе реальность. Капиталистический мир-экономика столь настойчиво следовал своей логике бесконечного накопления капитала, что стал приближаться к своему теоретическому идеалу, превращению всего и вся в товар. Мы можем наблюдать, как это отражается во множестве социальных реалий: расширение механизированного производства; снятие пространственных ограничений на обмен товарами и информацией; дерурализация мира; приближение экосистемы к истощению; высокий уровень охвата процессов труда денежными отношениями; консьюмеризм/потребительство (то есть громадные масштабы превращения в товар самого процесса потребления)¹⁰.

Все эти процессы хорошо известны и на самом деле являются предметом постоянного обсуждения в мировых средствах коммуникации. Но рассмотрим, что они означают с точки зрения бесконечного накопления капитала. Прежде всего и главным образом они означают грандиозные ограничения возможной нормы накопления

капитала. Есть три центральных фактора. Первый давно признавался аналитиками, но полной реализации достиг лишь сейчас. Урбанизация мира и рост как образования, так и плотности коммуникаций породили такой уровень всемирной осведомленности о политике, который одновременно делает проще политическую мобилизацию и затрудняет сокрытие уровня социально-экономического неравенства и роли властей в его поддержании. Такая политическая сознательность подкрепляется делегитимизацией любых иррациональных источников авторитета. Короче говоря, больше людей, чем когда бы то ни было, требуют большего равенства вознаграждений и отказываются терпеть основное условие капиталистического накопления — низкую оплату труда. Это проявляется как в значительном общемировом возрастании уровня «исторической» зарплаты, так и в высоком и все нарастающем уровне требований к правительствам перераспределить основные социальные расходы (в особенности на здравоохранение и образование) и обеспечить устойчивые доходы.

Второй фактор — резко возросшие затраты правительств на субсидирование прибылей путем строительства инфраструктуры и разрешения предприятиям экстернализовать свои издержки. Это то, что журналисты описывают как экологический кризис, кризис растущих расходов на здравоохранение, кризис высоких расходов на большую науку и т. д. Государства не могут в одно и то же время продолжать расширение субсидий частным предприятиям и расширять обязательства перед гражданами по поддержанию благосостояния. Нужно в очень значительной степени поступиться либо тем, либо другим. При более сознательных и осведомленных гражданах эта классовая по сути борьба обещает быть грандиозной.

Третий тип конфликтов является результатом того, что политическая сознательность и осведомленность стали ныне всемирными. Распределение неравенства как на глобальном, так и на национально-государственных уровнях зависит от расовой/этнической/религиозной принадлежности. Поэтому комбинированным результатом политической осведомленности и бюджетного кризиса государств станет массовая борьба, которая примет форму гражданской войны, и глобальной, и в отдельных государствах.

Первой жертвой многочисленных напряжений падет легитимность государственных структур и тем самым их способность поддерживать порядок. По мере того как они будут терять эту способность, появятся издержки как в экономическом смысле, так и в терминах безопасности, что в свою очередь будет питать еще большее обострение напряжений, за чем последует дальнейшее ослабление легитимности государственных структур. Это не будущее — это уже настоящее. Мы видим его в гигантски возросшем чувстве незащищенности — озабоченность преступностью, озабоченность немотивированным насилием, озабоченность невозможностью добиться справедливости в судебной системе, озабоченность грубостью и жестокостью полиции — все это многократно умножилось в последние 10-15 лет. Я не доказываю, что это новые явления, или даже что они стали намного интенсивнее, чем раньше. Но они воспринимаются как новые или как ухудшившиеся, и уж во всяком случае как гораздо шире распространившиеся, большинством людей. А главным результатом такого восприятия становится делегитимизация государственных структур.

Такая разновидность нарастающего, самоподдерживающегося беспорядка не может продолжаться вечно. Но она может длиться 25-50 лет. А это форма хаоса в системе, вызванная истощением механизмов безопасности системы, или изменением их места в связи с тем, что противоречия системы пришли к пункту, где ни один из механизмов, предназначенных восстанавливать нормальное функционирование системы, не может далее работать эффективно.

Новые фронты борьбы

Но из хаоса произойдет новый порядок, и это подводит нас к последней проблеме: какие выборы стоят перед нами — сейчас и в ближайшем будущем. То, что это время хаоса, вовсе не означает, что в следующие 25-50 лет мы не увидим в действии основных процессов капиталистической мирозкономики. Люди и фирмы по-прежнему будут стремиться к накоплению капитала всеми известными способами. Капиталисты будут добиваться поддержки от государственных структур, как они делали это в прошлом. Государства будут конкурировать с другими государствами за то, чтобы стать главны-

ми местами накопления капитала. Капиталистическая мирозэкономика, вероятно, вступит в новый период экспансии, в результате которого всемирные экономические процессы приобретут еще более товарную форму и еще сильнее станет эффективная поляризация вознаграждений.

Следующие 25-50 лет будут отличаться не столько функционированием мирового рынка, сколько деятельностью мировых политических и культурных структур. Главное, что государства будут устойчиво терять свою легитимность, и потому для них окажется трудно обеспечивать минимальную безопасность как внутри, так и в межгосударственных отношениях. На геокультурной сцене не будет господствующего общепринятого дискурса, и даже формы культурной дискуссии сами будут предметом дискуссии. Будет мало согласия в том, какое поведение считать рациональным или приемлемым. Тот факт, что будет всеобщее замешательство, не означает, что не будет целенаправленного поведения. На самом деле будет много групп, стремящихся достичь ясных, ограниченных целей, но многие из них будут в прямом остром конфликте друг с другом. И могут быть немногочисленные группы, обладающие долгосрочными концепциями того, как "выстроить альтернативный социальный порядок, даже если их субъективная определенность будет иметь мало соприкосновений с объективной вероятностью, что эти концепции действительно будут обладать эвристической полезностью как руководство к действию. Короче, все будут действовать вслепую, даже когда и не думают, что дело обстоит именно так.

И тем не менее мы обречены на то, чтобы действовать. Поэтому первое, что нам нужно иметь — это ясное понимание, чего не хватало нашей современной мирозсистеме, что настроило такую большую часть мирового населения против нее или, по крайней мере, создало двойственное отношение к ее социальным достоинствам. Мне кажется совершенно ясным, что главные жалобы были связаны с громадным неравенством в системе, что означает отсутствие демократии. Это, несомненно, справедливо по отношению практически ко всем известным прежним историческим системам. Что отличалось при капитализме, так это сам его успех как создателя материальной продукции, что, казалось, устраняет все оправдания неравенства, выражаются

ли они материально, политически или социально. Неравенство кажется еще хуже, потому что оно отделяет не очень узкую группу от всех остальных, а не меньше, чем одну пятую или одну седьмую мирового населения, от всех остальных. Именно эти два факта — рост общего материального богатства и то, что не просто горстка людей, но и намного меньше, чем их большинство, может жить хорошо — так обострило чувства тех, кто остался за боргом.

Мы ничего не сможем внести в желаемое разрешение этого конечного хаоса нашей миросистемы, пока не сделаем очень ясным, что только относительно эгалитарная, полностью демократическая историческая система является желательной. Конкретно мы должны активно и немедленно начать движение на нескольких фронтах. Один — это активное разрушение того европоцентристского высокомерия, которое пронизывало геокультуру в течение по меньшей мере вот уже двух веков. Европейцы внесли великий культурный вклад в наше общее человеческое предприятие. Но просто неправда, что за десять тысяч лет они стали гораздо более великими, чем другие центры цивилизации, и нет никаких оснований полагать, что в грядущее тысячелетие станет меньше мест проявления человеческой мудрости. Активная замена современных европоцентристских пристрастий на более трезвое и сбалансированное чувство истории и его культурную оценку потребует острой и постоянной политической и культурной борьбы. Она взывает не к новому фанатизму, но к тяжелой интеллектуальной работе, коллективной и индивидуальной.

Мы, кроме того, должны взять понятие прав человека и основательно поработать с ним, чтобы сделать его равно применимым к нам и к ним, к гражданам и к чужакам. Право общностей на защиту своего культурного наследия не означает права на защиту своих привилегий. Одним из основных полей битвы станут права мигрантов. Если и вправду, как я предвижу для следующих 25-50 лет, очень большое меньшинство жителей Северной Америки, Европы и даже Японии будет состоять из недавних мигрантов или детей таких мигрантов (независимо от того, была ли миграция летальной), тогда нам всем нужна будет борьба за обеспечение таким мигрантам подлинно равного доступа к экономическим, со-

циальным и — обязательно! — политическим правам в той зоне, куда они мигрировали.

Я знаю, что здесь будет грандиозное политическое сопротивление на основе защиты культурной чистоты и накопленного права собственности. В заявлениях Севера уже доказывается, что Север не может взять на себя экономическое бремя всего мира. А почему, собственно, нет? Богатство Севера в очень большой части — результат перекачивания прибавочного продукта с Юга. Именно этот факт в течение нескольких сот лет вел нас к кризису системы. Это вопрос не исправляющей несправедливости благотворительности, а рациональной перестройки.

Эти битвы будут политическими битвами, но не обязательно битвами на уровне государства. На самом деле именно из-за процесса делегитимизации государств многие из этих битв (пожалуй, большая часть) будут вестись на более локальных уровнях между группами, в которые мы по-новому самоорганизуемся. А поскольку эти битвы будут локальными и сложными, происходящими между множеством групп, существенное значение будет принадлежать сложной и гибкой стратегии союзов, но эта стратегия будет работать, только если мы будем все время помнить о наших эгалитаристских целях.

Наконец, борьба будет интеллектуальной, за переосмысление наших научных канонических, в поисках более холистских и изощренных методологий, в попытках избавиться от благочестивых и ложных заклинаний о свободной от оценок научной мысли. Рациональность — сама по себе ценностно нагруженное понятие, если вообще имеет какой-то смысл, и ничто не является или не может быть рациональным вне самого широкого, максимально охватывающего контекста человеческой социальной организации.

Вы можете подумать, что предложенная мной в общих чертах программа продуманного социального и политического действия в следующие 25-50 лет чересчур туманна. Но она настолько конкретна, насколько это возможно, находясь в водовороте. Первое, определить, к какому берегу вы хотите приплыть. И второе, удостовериться, что ваши первые усилия продвигают вас в этом направлении. Если вы хотите большей точности, чем эта, вы ее не найдете, и уточнете, пока будете искать.

МИР, СТАБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ, 1990-2025/2050

- ¹ Эта лекция была прочитана по случаю 25-й годовщины основания Университета Сейко в Киото, 7 декабря 1993 г.
- ² См.: John W. Meyer et al. *The World Educational Revolution, 1950-1970*. In: J. W. Meyer and M. T. Hannan, eds. *National Development 1950-1970* (Chicago 1979).
- ³ Замечательный и очень детальный отчет об интеллектуальных спорах во Франции вокруг двухсотлетия см.: Steven Kaplan. *Adieu 89* (Paris, 1993).
- ⁴ Анализ этого процесса см. в моей работе: *The French Revolution as a World-Historical Event*. In: *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms* (Cambridge 1991).
- ⁵ Процесс, в ходе которого либерализм завоевал центральное место и превратил своих соперников, консерватизм и социализм, из оппонентов в подлинные свои придатки, обсужден в моей работе: *Trois ideologies ou une seule? La problematique de la modernite, Geneses 9* (October 1992).
- ⁶ Природа обещаний либерализма на всемирном уровне и двусмысленность ответа, данного ленинизмом глобальному либерализму, исследованы в моем очерке «Концепция национального развития, 1917-1989: элегия и реквием» в настоящем сборнике.
- ⁷ См. обзор данных в: John T. Passe-Smith. *The Persistence of the Gap: Taking Stock of Economic Growth in the Post-World War II Era*. In: M. A. Selligson and J. T. Passe-Smith, eds. *Development and Underdevelopment: The Political Economy of Inequality* (Boulder, CO 1995).
- ⁸ F. Janeson. *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham, NC 1991), p. 268.
- ⁹ См.: G. Arrighi, T. K. Hopkins and I. Wallerstein, 1989, *The Continuation of 1968*, *Review*, vol. 15 (spring 1992).
- ¹⁰ Эти пункты подробно развернуты в очерке «Мир, стабильность и легитимность, 1990-2025/2050» в настоящем сборнике.

Периоду от 1990 до 2025/2050 гг., вероятнее всего, не будет хватать мира, не будет хватать стабильности, не будет хватать легитимности. Отчасти так будет из-за упадка США как державы-гегемона миросистемы. Но в еще большей мере это будет так из-за кризиса миросистемы как таковой.

Гегемония означает по определению, что существует одна держава, обладающая столь весомыми геополитическими преимуществами, что может навязывать устойчивую систему социального распределения власти всем остальным. Это предполагает период «мира», то есть отсутствие вооруженной борьбы — не любой, а вооруженной борьбы между великими державами. Такой период гегемонии требует «легитимации», и одновременно порождает ее, под легитимацией понимается ощущение большинством основных политических акторов (включая аморфные группы, такие как «население» различных государств), что существующий общественный порядок заслуживает одобрения, или же что мир («история») устойчиво и быстро движется в одобряемом ими направлении.

Такие периоды реальной гегемонии — когда способность державы-гегемона навязывать свою волю и свой «порядок» другим основным державам не сталкивается с серьезными вызовами — в истории современной миросистемы были относительно коротки. На мой взгляд, таких периодов было только три: гегемония Соединенных Провинций в середине XVII в., Соединенного Королевства в середине XIX в. и Соединенных Штатов Америки в середине XX в. Их гегемония, определяемая указанным образом, в каждом случае длилась 25-50 лет¹.

А когда такие периоды заканчиваются, то есть когда прежняя держава-гегемон вновь становится просто одной из великих держав среди прочих (даже если в течение какого-то времени она продолжает оставаться сильнейшей в военном отношении), тогда, очевидно, обеспечивается меньшая стабильность и, соответственно, меньший уровень легитимации. Это предполагает и менее устойчивое

состояние мира. В этом смысле нынешний период, следующий за гегемонией США, не отличается по сути от тех, которые последовали за окончанием британской гегемонии в середине XIX в. или голландской в середине XVII в.

Но если бы это было все, что можно сказать о периоде 1990-2025, или 1990-2050, или 1990-?, тогда вряд ли бы имело смысл обсуждать что-либо кроме технических вопросов управления шатким мировым порядком (что сейчас и вправду обсуждают слишком много политиков, дипломатов, ученых и журналистов).

Однако в динамике грядущего полувека (или около того) великого мирового беспорядка, куда мы вступили, проблем гораздо больше. Геополитика межгосударственной системы основывается не только, и даже не в первую очередь, на военном *rapport de forces** между той привилегированной подгруппой суверенных государств, которую мы называем великими державами — государствами, которые достаточно значительны по размерам и достаточно богаты, чтобы иметь доход, необходимый для развития серьезной военной мощи.

Прежде всего, лишь некоторые государства достаточно богаты, чтобы иметь соответствующую налоговую базу, соответствующее богатство. Это является скорее источником, чем следствием их военной силы, хотя, разумеется, оба процесса находятся в отношении взаимного циклического усиления. А богатство таких государств связано как с их размером, так и с осевым разделением труда в капиталистической мирэкономике.

Капиталистическая мирэкономка — это система, предполагающая иерархическое неравенство в распределении, основанное на концентрации определенных видов производства (относительно монополизированного и потому высокоприбыльного) в определенных ограниченных зонах, которые на этой основе и в связи с этим становятся местами наиболее крупномасштабного накопления капитала. Такая концентрация позволяет усилить государственные структуры, стремящиеся в свою очередь обеспечить сохранение относительных монополий. Но поскольку монопольное положение

изначально непрочное, на протяжении всей истории современной миросистемы происходило постоянное, прерывистое, ограниченное, но тем не менее значительное перемещение этих центров концентрации.

Механизмами изменений являются циклические ритмы, наиболее важными из которых являются два. Кондратьевские циклы продолжаются около 50-60 лет. Их А-периоды, в сущности, являются тем временем, когда могут быть защищены особенно значительные экономические монополии; их Б-периоды — это периоды географического перемещения тех видов производств, монополия на которые исчерпала себя, равно как и борьбы за контроль над перспективными новыми монополиями. Более длительные циклы гегемонии включают в себя борьбу между двумя основными государствами за то, чтобы стать наследником предыдущей державы-гегемона, став основным местом накопления капитала. Это длительный процесс, который обязательно предполагает наличие военной силы, чтобы победить в «тридцатилетней войне». Когда новая гегемония установлена, ее сохранение требует больших затрат, которые на самом деле неизбежно ведут к относительному упадку победившей державы и к новой борьбе за то, кто станет ее наследником.

Этот способ медленных, но непременных перестроек и перемещений центра капиталистического мира-экономики был очень эффективен. Подъем и упадок великих держав был процессом более или менее того же рода, что подъем и упадок империй. Монополии удерживаются достаточно долго, но они в конце концов подрываются теми же самыми мерами, которые предпринимаются, чтобы сохранить их. Последовательные банкротства были механизмом чистки, избавляющим систему от тех, чей динамизм исчерпан, и вливающим свежую кровь. В ходе всего процесса основные структуры системы оставались теми же самыми. Каждая из монополий власти удерживалась какое-то время, но рано или поздно она сама себя подрывала.

Любые системы (физические, биологические и социальные) зависят от таких циклических ритмов как средства восстанавливать минимальное равновесие. Капиталистическая мирэкономка показала себя устойчивой разновидностью исторической системы и

* Соотношение сил (*фр.*)

цветет довольно пышно вот уже около 500 лет, что для исторической системы является большим сроком. Но у систем, помимо циклических ритмов, есть еще и вековые тенденции, и последние обостряют противоречия (которые содержатся во всех системах). Наконец приходит момент, когда противоречия становятся настолько острыми, что ведут ко все большим и большим флуктуациям, что на языке новой науки означает наступление хаоса (резкое сокращение того, что может быть объяснено детерминистскими уравнениями), что в свою очередь ведет к бифуркациям, наступление которых несомненно, но направление непредсказуемо, и из которых происходит новый системный порядок.

Вопрос состоит в том, вступила или вступает историческая система, в которой мы живем, капиталистический мир-экономика, в такое время «хаоса». Я предполагаю взвесить аргументы, касающиеся этого вопроса, предложить некоторые догадки о формах, которые может принять такой «хаос», и обсудить, какие направления действия открыты для нас.

Временные рамки и великие державы

Я предлагаю не обсуждать подробно элементы, которые, как я полагаю, являются «нормальным» отражением Б-фазы кондратьевского цикла или Б-фазы гегемонии; я просто очень кратко суммирую выводы². Я, однако, должен пояснить, что хотя цикл гегемонии значительно продолжительнее, чем кондратьевский цикл, точка перегиба цикла гегемонии совпадает с аналогичным пунктом (хотя и не с каждым из них) кондратьевского цикла. В данном случае эта точка приходилась примерно на 1967-1973 гг.

Явления, симптоматичные для нормальной Б-фазы кондратьевского цикла, это: спад или замедление роста производства, возможно, сокращение мирового производства на душу населения; рост удельного веса безработных в активном населении; относительный сдвиг сфер извлечения прибыли от производственной деятельности к финансовым манипуляциям; рост государственной задолженности; перемещение «устаревших» отраслей в зоны с более низким уровнем оплаты труда; рост военных расходов, оправдываемых не столько военными соображениями, сколько необходимостью антицикличес-

кой политики создания спроса; падение реальной заработной платы в формальной экономике; расширение неформальной экономики; спад в производстве дешевого продовольствия; рост «нелегальной» межзональной миграции.

Явления, симптоматичные для начала упадка гегемонии, это: растущая экономическая мощь основных «союзных» держав; валютная нестабильность; упадок авторитета на мировых финансовых рынках при одновременном подъеме новых центров принятия решений; бюджетно-финансовые кризисы в государстве-гегемоне; снижение организующей (и стабилизирующей) роли политической поляризации и напряженности (в нашем случае — конец «холодной войны»); снижение готовности народа платить жизнями за поддержание роли гегемона.

Все это, как я уже сказал, кажется мне «нормальным» и исторически предвидимым. В рамках «нормального» циклического процесса сейчас должен произойти подъем структур, идущих на смену старым. Лет через 5-10 мы войдем в новую А-фазу кондратьевского цикла, основанную на новых монополизированных основных продуктах, производство которых концентрируется в новых местах. Япония — наиболее очевидное такое место, Западная Европа — второе, США — третье (и могут оказаться «третьим бедным»).

Мы должны теперь рассмотреть также начинающееся новое соперничество за гегемонию. По мере того, как медленно, но заметно разрушаются позиции США, должны начать разминку два следующих претендента. В текущей ситуации ими могут быть лишь Япония и Европейское Сообщество. Следуя образцу двух прежних случаев наследования — Великобритания против Франции в борьбе за наследие Голландии и США против Германии за наследие Великобритании — мы теоретически должны ожидать, не прямо сейчас, но через 50-75 лет, что морская и воздушная держава, Япония, превратит прежнего гегемона, США, в своего младшего партнера, и начнет соперничать с державой, базирующейся на суше, с ЕС. Их борьба должна достичь кульминации в «тридцатилетней (мировой) войне» и предполагаемой победе Японии.

Я должен немедленно сказать, что не ожидаю именно такого развития событий, по крайней мере совсем такого. Я полагаю, что

оба процесса реорганизации — общемировой системы производства и системы всемирного распределения государственной власти — уже начались, причем в направлении к «традиционной» (или «нормальной», или предшествующей) модели. Но я ожидаю, что процесс прервется или отклонится, так как появились новые процессы или векторы развития.

Я думаю, для четкого анализа мы нуждаемся в трех отдельных временных рамках: ближайшие несколько лет; следующие 25-30 лет; период, который последует затем.

Ситуация, в которой мы находимся сегодня (скажем, с 1991 г. до 1995/7/9 г.) — вполне «нормальная». Она еще не достигла стадии, которую я определил как «хаотическую»; это скорее заключительная острая субфаза (или кульминационный момент) текущей кондратьевской Б-фазы — сопоставимой с 1932-1939, или 1893-1897, или 1842-1849, или 1786-1792, или... Общемировой уровень безработицы высок, норма прибыли низка. Существует значительная финансовая нестабильность, отражающая острую и оправданную нервность на финансовых рынках по поводу краткосрочных флуктуации. Растущее социальное недовольство отражает политическую неспособность правительств предложить убедительные краткосрочные решения и таким образом восстановить чувство безопасности. Поиск козлов отпущения внутри государств и игра «разори соседа» в отношениях между государствами становятся более политически привлекательными в ситуации, когда обычные средства регулирования, похоже, уже не дают большего, чем кратковременное облегчение боли.

В ходе этого процесса многие индивидуальные предприятия свернут свою деятельность либо реструктурируются или станут банкротами, во многих случаях без шансов возобновить деятельность. Определенные группы работников и предпринимателей поэтому будут нести постоянные потери. Хотя пострадают все государства, уровень ущерба будет очень сильно варьировать. При завершении процесса некоторые государства вырастут, а другие потеряют в относительной экономической силе.

В такие моменты великие державы часто оказываются парализованы с военной точки зрения из-за сочетания внутренней полити-

ческой нестабильности, финансовых трудностей (и в силу этого нежелания нести военные расходы) и концентрации непосредственных экономических дилемм, что ведет к популярности изоляционизма. Ответ мира на военные действия, сопутствующие распаду Югославии, является типичным примером такого паралича. И это, я настаиваю, «нормально» — то есть является элементом ожидаемого способа действий капиталистической мироэкономики.

В нормальных условиях мы должны затем вступить в период восстановления. Вслед за разгулом расточительства (потребление предметов роскоши и экологическая беззаботность) и неэффективности (будь то отношения «ты — мне, я — тебе», или раздувание штатов, или бюрократическая окостенелость) должны прийти новые динамичные устремления, скромность и умеренность новых ведущих монополизированных производств и вновь созданных секторов потребления с целью увеличить общий эффективный спрос — короче говоря, возобновленная экспансия мироэкономики на пути к новой эре «процветания».

Тремя узловыми точками, как уже предполагалось и широко признано, будут США, Западная Европа и Япония. Первые десять лет или около того новой А-фазы кондратьевского цикла будут, несомненно, отмечены острой конкуренцией между тремя центрами за то, чтобы добиться преимуществ для своих особых вариантов производства. Как показывал в своих трудах Артур Брайан, победа того или иного варианта не зависит или мало зависит от технической эффективности, но зависит полностью от власти³. Власть может быть дополнена убеждением, с учетом, что в этой ситуации убеждение в свою очередь является в значительной мере функцией от власти.

Власть, о которой мы говорим, — это прежде всего экономическая власть, но подкрепленная властью государства. Разумеется, здесь мы имеем дело с самоподдерживающимся циклом. Потому что небольшая власть влечет за собой небольшое убеждение, которое порождает несколько больше власти и так далее. Только одна страна может выдвинуться на лидирующую позицию и держаться на ней. В некотором отношении порог уже перейден. Продукция «Бета» проиграла, и существует монополия «VHS». Я заключаю пари: в Япо-

нии будет больше VNS'OV, чем в ЕС, а предприниматели США вступят в сделку с японскими предпринимателями, чтобы урвать свой кусок пирога.

Совершенно очевидно, что получают предприниматели США от таких договоренностей, если полностью посвятят себя их организации между, скажем, 2000 и 2012 г., — они не дадут оставить себя в стороне. Столь же очевидно, что получит Япония, это прежде всего три вещи: (1) если США являются партнером, они перестают быть конкурентом; (2) США все еще будут сильнейшей военной державой, и Япония по многим причинам (недавняя история и ее влияние на внутреннюю политику и региональную дипломатию плюс экономические преимущества низких военных расходов) предпочтет еще какое-то время полагаться на военный щит США; (3) США все еще обладают лучшей в мироэкономике структурой НИОКР, хотя и это преимущество в конце концов исчезнет, и японские предприниматели будут сокращать издержки, пользуясь преимуществами этой структуры.

Увидев перед собой этот великий экономический союз, члены ЕС отложат все свои второстепенные раздоры, если еще не сделали этого задолго до того момента. ЕС к тому моменту, очень вероятно, включит в свой состав страны ЕАСТ, но *не* страны Восточно-Центральной Европы (разве что в виде, может быть, ограниченной зоны свободной торговли, сходной с прогнозируемым отношением Мексики к США в НАФТА).

Европа (то есть ЕС) станет второй экономической глыбой и серьезным соперником кондоминиума Япония-США. Остальной мир будет строить свои отношения к этим двум зонам биполярного мира многообразными способами. С точки зрения экономических центров власти будут существовать три решающих соображения по поводу того, насколько важны эти другие страны: степень, в которой их промышленность важна или оптимальна для функционирования основных цепочек потребления; степень, в которой конкретная страна существенна или важна для поддержания адекватного эффективного спроса для наиболее прибыльных секторов производства; степень, в которой конкретные страны будут служить стратегическим нуждам (геовоенное расположение и/или мощь, важнейшие виды сырья и т. д.).

Две страны, еще не включенные значительным или достаточным образом в две создающиеся системы, но включение которых будет существенно по всем трем указанным выше причинам, — это Китай для кондоминиума Япония-США и Россия для ЕС. Чтобы эти страны могли быть успешно интегрированы, они должны сохранить (в случае России — сначала достичь) определенный уровень внутренней стабильности и легитимности. Смогут ли они сделать это, и помогут ли им, может быть, в этом заинтересованные стороны, все еще открытый вопрос, но я верю, что шансы умеренно благоприятны.

Вновь мир и процветание?

Предположим, эта картина — возникновение биполярного мира с Китаем как частью полюса Япония-США и Россией как частью европейского полюса — правильна. Предположим также, что примерно в 2000-2025 г. произойдет новое, и даже очень значительное, расширение мироэкономики на основе новых монополизированных ведущих производств. Чего мы можем ожидать в этом случае? Будет ли это в конце концов повторение периода 1945-1967/73, *«trente glorieuses»** всемирного процветания, относительного мира и, прежде всего, большого оптимизма относительно будущего? Я так не думаю.

Будет несколько очевидных различий. Первое и наиболее очевидное для меня — это будет скорее биполярная, чем однополярная мир-система. Определение мир-системы между 1945 и 1990 г. как однополярной — не широко разделяемый взгляд. Он направлен против самоописания состояния мира как «холодной войны» между двумя сверхдержавами. Но поскольку эта «холодная война» была основана на договоренности между двумя антагонистами, что геополитическое равновесие будет в существенных чертах заморожено, и поскольку (несмотря на все публичные заявления о конфликте) это геополитическое замораживание никогда всерьез не нарушалось ни одним из двух антагонистов, я предпочитаю думать об этом явлении как о хорошо срежиссированном (и потому чрезвычайно ограниченном) кон-

* Славное тридцатилетие (*фр.*)

фликте. На самом деле именно находящиеся в США лица, принимающие решения, «стояли на подаче», а их советские партнеры вновь и вновь вынуждены были ощущать вес этой реальности.

Напротив, я не ожидаю, что в 2000–2025 гг. будет возможно говорить, что либо Япония–США, либо ЕС будут «на подаче». Их реальная экономическая и геополитическая мощь будут слишком уравновешены. Даже в таком элементарном и неважном вопросе, как голоса в международных организациях, не будет автоматического или хотя бы легко достижимого большинства. На самом деле в этом соревновании может быть очень немного идеологических элементов. Основой может быть почти исключительно материальный эгоистический интерес. Это вовсе не обязательно сделает конфликт менее острым; на самом деле будет труднее направить его в чисто символическом направлении. Если конфликт станет менее политическим по форме, он может стать более мафиозным в своих проявлениях.

Второе основное отличие является производным от факта, что мировые инвестиции в период 2000–2025 гг. могут быть сконцентрированы в Китае и России в масштабах, сопоставимых с концентрацией капиталовложений в Западной Европе и Японии в 1945–1967/73 гг. Но это значит, что объем того, что останется на долю остального мира, будет в 2000–2025 гг. иным, чем в 1945–1967/73 гг. В 1945–1967/73 гг. фактически единственным «старым» регионом, куда продолжались инвестиции, были США. В 2000–2030 гг. продолжающиеся инвестиции должны будут покрыть США, Западную Европу и Японию (и на самом деле немногие другие районы, такие как Корея и Канада). Вопрос, таким образом, стоит так: после того, как осуществлены капиталовложения в «старых» районах плюс в «новых», сколько останется (хотя бы в малых дозах) для остального мира, и, несомненно, ответ будет: гораздо меньше, чем в период 1945–1967/73 гг.

Это, в свою очередь, будет означать совершенно иную ситуацию для стран «Юга» (как его ни определяй). В то время как в 1945–1967/73 гг. Юг выигрывал от экспансии мира-экономики, по крайней мере от крох со стола, в 2000–2030 гг. он рискует не получить даже крох. На самом деле существующий отток капиталов (характерный для кондратьевской Б-фазы) в *большой* части Юга в пред-

стоящий А-период скорее продолжится, чем сменится на противоположный процесс. Между тем экономические потребности Юга не уменьшатся, а увеличатся, хотя бы по одному тому, что осведомленность о процветании стран, составляющих сердцевину системы, и размерах разрыва Север–Юг сейчас намного больше, чем 50 лет тому назад.

Третье отличие будет связано с демографической ситуацией. Население мира в предстоящее время продолжит развиваться по той же базовой модели, по которой оно развивалось последние примерно 200 лет. С одной стороны, в общемировом масштабе население растёт. Этот рост питается прежде всего тем, что у более бедных пяти шестых населения мира уровень смертности снижался (по технологическим причинам), в то время как уровень рождаемости не снижался или не снижался в том же темпе (из-за недостаточности социально-экономических стимулов). С другой стороны, удельный вес населения богатых регионов в мировом населении снижался, несмотря на факт, что снижение уровня смертности было даже большим, чем в менее богатых регионах, из-за того, что еще сильнее снижался уровень рождаемости (прежде всего как способ оптимизировать социально-экономическое положение семей, принадлежащих к среднему классу).

Это сочетание создало демографический разрыв, параллельный (и даже превосходящий) экономический разрыв между Севером и Югом. Этот разрыв, несомненно, уже существовал в 1945–1967/73 гг. Но тогда он еще не был столь велик, потому что на Севере еще сохранялись культурные барьеры снижению уровня рождаемости. Сейчас эти барьеры в основном снесены, причем именно в период 1945–1967/73 гг. Мировая демографическая статистика 2000–2025 гг. отразит этот гораздо более острый диспаритет в социальной практике.

Ответ, который мы можем ожидать, будет состоять в массивном давлении миграции с Юга на Север. Напор очевидно будет, и не только со стороны тех, кто готов занять низкооплачиваемые рабочие места в городах, но *a fortiori** со стороны растущего коли-

* Тем более (*лат.*)

чества образованных людей с Юга. Сила притяжения также возрастает, именно из-за биполярного раскола в зонах сердцевины и являющегося его следствием жесткого давления, заставляющего работодателей сокращать издержки на труд, нанимая мигрантов (не только в качестве низкоквалифицированных работников, но не в меньшей степени и в качестве специалистов среднего звена).

Конечно, будет, как уже есть сейчас, острая социальная реакция на Севере — призывы к более репрессивному законодательству с целью ограничить въезд и социально-экономические права тех, кто все же приехал. Результатом может стать наихудший из возможных фактический компромисс: невозможность эффективно предотвратить въезд мигрантов при способности обеспечить им второсортный политический статус. Следствием этого станет, что к 2025 г. или около того в Северной Америке, Западной Европе и (даже) Японии население, социально определяемое как происходящее с «Юга», может составить 25-50%, и намного больше в определенных регионах и крупных городских центрах. Но поскольку многие (пожалуй, большинство) из этих людей не будут иметь права голоса (и в лучшем случае ограниченный доступ к благам социального обеспечения), будет существовать высокая корреляция между занятостью на наименее оплачиваемых городских рабочих местах (а урбанизация к тому времени достигнет новых высот) и лишением политических (и социальных) прав. Это будет ситуация типа той, что существовала в Великобритании и Франции в первой половине XIX в., что и вело к хорошо обоснованным страхам, что так называемые опасные классы опрокинут здание. В то время индустриально развитые страны изобрели либеральное государство как средство преодолеть именно эту угрозу, обеспечив всеобщее избирательное право и государство всеобщего благосостояния, чтобы умиротворить плебс. В 2030 г. Западная Европа-Северная Америка-Япония могут обнаружить, что оказались в том же положении, что Великобритания и Франция в 1830 г. «Второй раз в виде фарса?»

Четвертое отличие будет связано с положением средних слоев в зонах сердцевины. Они очень сильно выиграли в период 1945-1967/73 гг. Их численность, и абсолютная, и относительная, выросла драматически. Столь же драматически вырос их уровень жизни. И

удельный вес должностей и позиций, относимых к «среднему слою», также резко возрос. Они стали главной опорой стабильности политической системы, и это в самом деле была очень значительная опора. Более того, квалифицированные рабочие — экономический слой под средним классом — стал мечтать только о том, чтобы стать частью этих средних слоев — через возрастание заработной платы, подкрепленное силой профсоюзов, получение образования детьми, поддерживаемое правительством улучшение условий жизни.

Конечно, за это пришлось расплачиваться значительным ростом издержек производства, долгосрочной инфляцией и существенным ограничением в накоплении капитала. Современная кондратьевская Б-фаза постоянно порождает острое беспокойство по поводу «конкурентоспособности» и налогового бремени государства. Это беспокойство не уменьшится, а даже возрастет в А-фазе, когда будут существовать два остро конкурирующих полюса роста. Отсюда можно ожидать настойчивых усилий по абсолютному и относительно сокращению численности средних слоев, включенных в процессы производства (включая сферу услуг). Продолжатся и существующие сейчас попытки сократить государственные расходы, попытки, которые в конечном счете больше всего будут угрожать этим средним слоям.

Политические последствия этого урезания средних слоев будут очень серьезными. Образованные, привыкшие к комфорту, средние слои, сталкиваясь с угрозой стать *declassé**, не будут пассивно принимать этот регресс в своем статусе и доходах. Мы уже видели, как они показали зубы во время всемирной революции 1968 г. Чтобы утихомирить их тогда, были сделаны экономические уступки в период 1975-1985 гг., за что эти страны расплачиваются сейчас, и эти уступки будет трудно возобновить, либо, возобновленные, они повлияют на экономическую борьбу между ЕС и Японией-США. В любом случае капиталистическая мироэкономика столкнется с непосредственной дилеммой либо ограничить накопление капитала, либо страдать от политико-экономического бунта бывших средних слоев. Это будет непростой выбор.

* Деклассированными (*фр.*)

Пятое отличие будет в роли экологических ограничений. Капиталистические предприниматели с самого возникновения этой исторической системы выживали за счет экстернализации издержек. Одной из главных экстернализуемых издержек была издержка, связанная с возобновлением экологической базы все расширяющегося глобального производства. Поскольку предприниматели не возобновляли экологическую базу и не существовало (мирового) правительства, готового установить налогообложение, достаточное для решения этой задачи, экологическая база мира-экономики постоянно сокращалась. Самое последнее и крупнейшее расширение мира-экономики, 1945-67/73 гг., использовало последнее оставшееся пространство, что и породило «зеленые» движения и всепланетную озабоченность проблемами окружающей среды.

Расширение 2000-2025 гг., таким образом, будет лишено необходимой экологической базы. Возможен один из трех исходов. Расширение будет прервано, что будет сопровождаться политическим коллапсом миросистемы. Экологическая база будет истощена в большей мере, чем физически может выдержать земля, что приведет к катастрофам типа глобального потепления. Или же социальные издержки очистки, ограничений пользования и регенерации будут приняты всерьез.

Если мы предположим, что в качестве пути коллективно будет принят третий, функционально наименее непосредственно угрожающий, это немедленно создаст напряжения в функционировании миросистемы. Либо очистка будет предпринята за счет Юга, тем самым еще сильнее обостряя диспаритет Север-Юг, создавая тем самым четко сфокусированный источник напряжения, или же издержки будут в непропорциональном объеме взяты на себя Севером, что с необходимостью повлечет за собой сокращение уровня процветания Севера. Далее, какой бы путь ни был принят, серьезные действия по защите окружающей среды неизбежно сократят глобальную прибыль (несмотря на факт, что очистка окружающей среды сама станет источником капиталистического накопления). Принимая во внимание это второе соображение и учитывая контекст острой конкуренции между Японией-США и ЕС, мы можем ожидать значительного объема мошенничества и потому неэффек-

тивности процесса регенерации, и в этом случае мы возвращаемся к первому либо ко второму исходу.

Шестое отличие — достигнут своего предела две асимптоты долгосрочных тенденций миросистемы: географическое расширение и дерурализация. Капиталистический мир-экономика теоретически уже завершил экспансию, охватив весь земной шар, к 1900 г. Однако на самом деле это относилось прежде всего к межгосударственной системе. Это стало верным и по отношению к производительным цепочкам лишь в период 1945-67/73 гг. Сейчас это верно для обоих процессов. Капиталистическая мировая экономика проходила также через процесс дерурализации (иногда называемый, менее точно, пролетаризацией) в течение 400 лет, а последние 200 лет — со все большей скоростью. 1945-67/73 гг. были временем удивительного скачка в этом процессе — Западная Европа, Северная Америка и Япония стали полностью дерурализованными, а Юг частично, но весьма существенно. Вероятно, этот процесс будет завершен в период 2000-2025 гг.

Возможность капиталистического мира-экономики распространяться в новые географические зоны исторически была решающим элементом в поддержании нормы прибыли и тем самым накопления капитала. Это было существенным противовесом ползучему росту издержек на труд в результате роста силы трудящихся классов как в политике, так и на производстве. Невозможность рекрутировать новые трудящиеся слои, которые еще не обрели политической силы и силы на производстве, чтобы увеличить долю прибавочного продукта, на которую они могут претендовать, приведет к таким же ограничениям на процесс накопления капитала, как экологическое истощение. Поскольку географические пределы достигнуты и население дерурализовано, трудности, связанные с политическим процессом сокращения издержек, становятся столь велики, что экономия становится реально невозможной. Реальные издержки производства должны возрасти в глобальном масштабе, и потому прибыль должна упасть.

В этом седьмое отличие между прошлым кондратьевским А-периодом и предстоящим, когда придется иметь дело с социальной структурой и политическим климатом стран Юга. С 1945 г. удель-

ный вес средних слоев на Юге существенно вырос — не слишком сложная задача, поскольку до того он был необычайно мал. Даже если он вырос с 5 до 10%, это означает удвоение удельного веса и, с учетом роста населения, абсолютный рост в 4–6 раз. А поскольку мы говорим о странах, где живет 50–75% мирового населения, то мы имеем дело с очень большой группой. Стоимость поддержания их на уровне потребления, который они считают минимально приемлемым, будет впечатляюще высокой.

Кроме того, эти средние слои, или местные кадры, в целом в период 1945–67/73 гг. были полностью заняты «деколонизацией». Это очевидно так для тех, кто жил в тех районах Юга, которые в 1945 еще были колониями (почти вся Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн и отчасти другие регионы). Это было почти столь же верно для тех, кто жил в «полуколониях» (Китай, частично Ближний Восток, Латинская Америка, Восточная Европа), где происходили различные «революционные» действия, сравнимые по своей тональности с деколонизацией. Здесь нет необходимости оценивать качество или экзистенциальное значение всех этих движений. Достаточно отметить две их характеристики. Они поглощали энергию большого количества людей, и особенно средних слоев. И они были проникнуты политическим оптимизмом, который принял особую форму, наилучшим образом выраженную выразительным высказыванием Кваме Нкрумы: «Наипаче ищите царствия политического, а все остальное приложится». На практике это означало, что средние слои (и потенциальные средние слои) Юга были готовы терпеть свой слабый экономический статус, так как испытывали уверенность, что если в первый тридцатилетний или около того период они (средние слои Юга) сумеют добиться политической власти, то в следующие 30 лет они или их дети найдут и экономическое вознаграждение.

В период 2000–2025 гг. не только не будет «деколонизации», чтобы занять эти кадры и поддерживать их оптимизм, но и их экономическое положение почти наверняка ухудшится по ряду причин, описанных выше (концентрация капиталовложений в Китае/России, увеличение числа специалистов на Юге, всемирные усилия по урезанию расходов на средние слои). Некоторые из них смогут бежать,

то есть эмигрировать, на Север. Это лишь сделает долю тех, кто остается, еще горше.

Восьмое и, в конечном счете, самое важное отличие между прошлой и будущей кондратьевскими А-фазами является чисто политическим: подъем демократизации и упадок либерализма. Потому что необходимо помнить, что демократия и либерализм — не близнецы, но в большинстве случаев оппоненты. Либерализм изобрели, чтобы противостоять демократии. Проблема, породившая либерализм, состояла в том, как сдерживать опасные классы, сначала в сердцевине системы, а затем в миросистеме в целом. Либеральное решение состояло в том, чтобы обеспечить ограниченный доступ к политической власти и ограниченное участие в получении прибавочного продукта, и то и другое на уровне, не угрожающем процессу бесконечного накопления капитала и системе государств, подкрепляющей его.

Основной темой либерального государства на национальном уровне и либеральной межгосударственной системы во всемирном масштабе был рациональный реформизм, прежде всего через государство. Формула либерального государства, как оно развилось в государствах сердцевины в XIX в. — всеобщее избирательное право и государство всеобщего благосостояния, — работала совершенно замечательно. Когда аналогичная формула была применена в XX в. к межгосударственной системе в форме самоопределения наций и экономического развития слаборазвитых наций, она споткнулась о невозможность создать государство всеобщего благосостояния на всемирном уровне (к чему призывала, например, Комиссия Брандта). Потому что это не могло быть сделано без покушения на основной процесс накопления капитала. Причина была довольно проста. Успех формулы в приложении к государствам сердцевины зависел от скрытой переменной: экономической эксплуатации Юга, сочетающейся с направленным против Юга расизмом. На всемирном уровне этой переменной не существовало и логически не могло существовать⁴.

Последствия для политического климата очевидны. 1945–1967/73 гг. были апогеем глобального либерального реформизма: деколонизация, экономическое развитие и, прежде всего, оптимизм относительно будущего преобладали повсюду — на Западе, Востоке и

Юге. Однако в последовавшей кондратьевской Б-фазе, при заверившейся деколонизации, от ожидавшегося экономического развития осталось в большинстве районов одно воспоминание, а оптимизм рассеялся. Более того, по всем уже обсужденным нами причинам мы не ожидаем, что в предстоящем А-периоде экономическое развитие не вернется на Юг, и тем самым, полагаем, фатально поддается основа для оптимизма.

В то же самое время постоянно росло давление в пользу демократизации. Демократия в основе своей антивластна и антиавторитарна. Это требование равного слова в политическом процессе на всех уровнях и равного участия в системе социально-экономического вознаграждения. Величайшим ограничением этого стремления был либерализм, обещавший неизбежное поступательное улучшение посредством рациональной реформы. В ответ на демократическое требование равенства сейчас либерализм предлагал отложенную надежду. Это было мотивом не только просвещенной (и более могущественной) половины мирового истеблишмента, но и традиционных антисистемных движений («старых левых»). Опорой либерализма была предлагаемая им надежда. В той степени, в какой мечта увяла («как изюм на солнце»), либерализм как идеология потерпел крах, и опасные классы вновь стали опасными.

Начало «хаоса»

Это, кажется, будет главным направлением следующего А-периода, примерно в 2000-2025 гг. Хотя он может оказаться периодом замечательной экспансии в одних отношениях, в других он будет очень мрачным. Вот почему я ожидаю мало мира, мало стабильности и мало легитимности. Результатом станет начало «хаоса», который является просто расширением нормальных флуктуаций системы с кумулятивным эффектом.

Я предположу ряд вещей, которые наверняка случатся, и ни одна из них не является новым феноменом. Что может отличать их от прошлого, так это неспособность ограничить их удар и таким образом вернуть систему к какому-то равновесию. Вопрос в степени, в которой эта нехватка способности ограничивать удары станет преобладающим явлением.

1) Способность государств вероятно, уменьшится. Уровень внутреннего порядка всегда подвержен флуктуациям, и Б-периоды печально известны как момент трудностей, но в системе в целом на протяжении 400-500 лет внутренний порядок постоянно возрастал. Мы можем назвать это феноменом роста «государственности».

Конечно, за последние 100 лет все имперские структуры *внутри* капиталистического мира-экономики (Великобритания, Австро-Венгрия, совсем недавно СССР/Россия) распались. Но предмет, на который следует обратить внимание, — это скорее историческое строительство государств, которые делали своими гражданами всех тех, кто проживал в их границах. Таковы были метрополии Великобритании и Франции, Соединенные Штаты и Финляндия, Бразилия и Индия. И такими же были Ливан и Сомали, Югославия и Чехословакия. Развал или крах последних совершенно отличается от распада «империй».

Можно пренебречь распадом государственности в периферийной зоне как чем-то ожидаемым или геополитически незначительным. Но это идет вразрез с долгосрочной тенденцией, а падение порядка в слишком многих государствах создает серьезные напряжения в функционировании межгосударственной системы. Однако наиболее угрожающей является перспектива ослабления государственности в зонах сердцевины. И прекращение либерального институционального компромисса, что, как мы доказали, и происходит, дает основания предположить, что такое ослабление имеет место. Государства захлестывают требования безопасности и благосостояния, которые они политически не в силах удовлетворить. Результатом становится постоянная приватизация безопасности и благосостояния, что движет нас в направлении, отличном от того, которым мы двигались 500 лет.

1) Межгосударственная система в течение нескольких сот лет, от Вестфальского мира до Концерта наций и далее до ООН и семьи Объединенных Наций, также становилась все более структурированной и регулируемой. Существовало молчаливое допущение, что мы не спеша продвигаемся к функциональному мировому правительству. В духе этой эйфории Буш провозгласил его неизбежность

как «нового мирового порядка», однако встретил циничный прием. Напротив, угроза «государственности» и исчезновение реформистского оптимизма, потрясли межгосударственную систему, основы которой всегда были относительно слабы.

Распространение ядерного оружия сейчас столь же неизбежно, и будет столь же быстрым, как растущая миграция Юг-Север. Само по себе это не катастрофа. Средние державы являются, пожалуй, не менее «заслуживающими доверия», чем большие. На самом деле они могут быть более благоразумны, так как могут гораздо больше бояться возмездия. И все же по мере того, как государственность приходит в упадок, а технология прогрессирует, ползучую эскалацию тактического ядерного оружия может оказаться трудно сдерживать.

По мере того как идеология перестает быть объяснением межгосударственных конфликтов, «нейтральность» слабой и построенной на конфедеративных началах Организации Объединенных Наций все более ставится под подозрение. Способность ООН к осуществлению «миротворческих» операций, ограниченная так, как сейчас, в существующей атмосфере может скорее уменьшиться, чем возрасти. Призыв к «гуманитарному вмешательству» может начать рассматриваться просто как свойственный XXI в. вариант западного империализма XIX в., который также прикрывался цивилизаторскими оправданиями. Может быть, будут уходы, и многочисленные уходы, из номинально универсальных структур (в духе Северной Кореи)? Может быть, мы увидим создание соперничающих организаций? Такое не исключено.

2) Если государства (и межгосударственная система) начинают рассматриваться как теряющие эффективность, куда же люди обратятся за защитой? Ответ уже ясен — к «группам». Эти группы могут быть обозначены множеством этикеток — этнические/религиозные/лингвистические группы, тендерные группы или группы сексуальных предпочтений, «меньшинства» самого разного характера. В этом также нет ничего нового. Новое — в степени, в которой такие группы рассматриваются как *альтернатива* «гражданству» и участию в «государстве», которое по определению является домом для многих групп (пусть и относимых к неравным категориям).

Это вопрос доверия. Кому мы будем доверять в мире без порядка, в мире высокой экономической неопределенности, и неравенства, в мире, где совсем не гарантировано будущее? Вчера большинство отвечало, что государству. Вот это мы и называем легитимностью, если не применительно к существующим сейчас государствам, то по крайней мере к тем государствам, которые, как мы можем ожидать, будут созданы (или реформированы) в близком будущем! У государств — образ экспансии и развития; у групп — образ защитный, связанный со страхом.

В то же самое время, и здесь-то вся сложность, — эти самые «группы» являются также продуктом демократизации, чувства, что государства потерпели неудачу, так как либеральные реформы были миражем, поскольку «универсализм» государств на практике означал забвение или подавление более слабых. Таким образом «группы» — продукт не только обострившихся страха и разочарования, но и подъема эгалитаристского сознания, и потому они являются важным сборным пунктом. Трудно вообразить, чтобы их политическая роль вскоре уменьшилась. Но принимая во внимание их внутренне противоречивую структуру (эгалитарную, но обращенную внутрь), расширение такой роли может оказаться вполне «хаотическим» по своим последствиям.

3) Как же мы поставим заслон распространению войн Юг-Юг, конфликтов «меньшинство» против «меньшинства» на Севере, что является одним из производных от описанной выше «групповщины»? И кто достаточно силен морально или в военном отношении, чтобы ставить такие заслоны? Кто готов вкладывать свои ресурсы в это, особенно с учетом интенсифицирующегося и едва балансируемого соперничества Север-Север (Япония-США против ЕС)? Там и сям какие-то усилия будут предприниматься. Но большей частью мир будет просто взирать на происходящее, как было во время ирано-иракской войны и как происходит в бывшей Югославии или на Кавказе, а на самом деле даже в гетто американских городов. Это станет еще более верным, когда возрастет число развивающихся одновременно конфликтов Юг-Юг.

Что еще серьезнее — кто ограничит малые войны Север-Юг, не просто начатые, а вполне обдуманно начатые не Севером, а Югом

как часть долгосрочной стратегии военной конфронтации? Война в Заливе была началом, а не концом этого процесса. Говорят, что войну выиграла США. Но какой ценой? Ценой обнаружения своей финансовой зависимости от других для оплаты даже малых войн? Ценой постановки перед собой очень ограниченных задач, куда меньших, чем безоговорочная капитуляция противника? Ценой обсуждения Пентагоном будущей всемирной военной стратегии «победить, сдержать, победить»?

Президент Буш и американские военные сделали ставку на то, что смогут добиться своей ограниченной победы без больших потерь в людях (или в деньгах). Ставка себя оправдала, но кажется, Пентагон поступит мудро, если не будет пытаться судьбу еще раз. Сейчас трудно представить, как США, или даже объединенные военные силы Севера смогли бы справиться с несколькими «кризисами» типа войны в Заливе одновременно. А принимая во внимание ту модель мира-экономики и эволюции мировой социальной структуры, которую я теоретически допускаю для периода 2000–2025 гг., кто будет настолько смел, чтобы доказывать что такие одновременные «кризисы Персидского залива» не случатся?

4) Есть еще один, последний фактор «хаоса», который мы не должны недооценивать, — новая «черная смерть». Этиология пандемии СПИД остается предметом серьезных разногласий. Но это не имеет значения, поскольку процесс уже запущен. СПИД означает появление нового смертельного туберкулеза, распространение которого теперь будет автономным. Что дальше? Это распространение болезни не только полностью изменяет долгосрочные механизмы функционирования капиталистического мира-экономики (параллельно с переворачиванием модели роста государственности и усиления межгосударственной системы), но и вносит свой вклад в дальнейший подрыв государственности, как усиливая нагрузку на государственную машину, так и стимулируя атмосферу всеобщей нетерпимости, а этот подрыв, в свою очередь, способствует распространению новых болезней.

Ключевая вещь, которую необходимо понять, та, что невозможно предсказать, на какую из переменных в большей мере повлияет распространение пандемических заболеваний: они будут сокращать

число едоков, но и число производителей продовольствия. Они будут сокращать численность потенциальных мигрантов, но и будут приводить к дефициту рабочей силы и к потребности в миграции. В любом случае — что будет более значимым? Мы не узнаем, пока все это не произойдет. Это просто еще один пример недетерминированности исхода бифуркации.

Иерархия и привилегии против демократии и равенства

Такова картина второго временного периода, вхождение в период хаоса. Но есть и третий период, исход, создаваемый новый порядок. Здесь можно быть максимально кратким, потому что здесь больше всего неопределенности. Ситуация хаоса — это может показаться парадоксом — наиболее чувствительна к сознательному человеческому вмешательству. Именно во время периодов хаоса, в противовес периодам относительного порядка (относительно детерминированного порядка) человеческое вмешательство производит существенные изменения.

Есть ли потенциальные силы вмешательства в пользу конструктивного, системного видения? Я вижу их две. Есть визионеры воссозданной иерархии и привилегий, хранители вечно горящего аристократии. Сильные личности, но не имеющие никакой коллективной структуры — «исполнительный комитет правящего класса» никогда не собирался на заседания, — они действуют (если и не сообща, то в тандеме) во время системных кризисов, потому что считают, что все «вышло из-под контроля». В этом пункте они исходят из принципа Лампедузы: «Нужно все изменить, чтобы все осталось неизменным». Что они изобретут и предложат миру, трудно знать, но я убежден в их уме и проницательности. Может быть предложена какая-то новая историческая система, и они могут оказаться способны толкнуть мир в этом направлении.

Против них — визионеры демократии/равенства (пара, по моему убеждению, нерасторжимая). Они появились в период 1789–1989 гг. в форме антисистемных движений (трех разновидностей «старых левых»), и история их организаций была историей гигантских тактических успехов и столь же гигантских стратегических про-

валов. В долгосрочной перспективе эти движения служили в большей мере поддержанию системы, чем ее подрыву.

Знаковый вопрос — появится ли теперь новая семья антисистемных движений, с новой стратегией, достаточно сильной и достаточно гибкой, чтобы оказать основное влияние в период 2000-2025 г., такое, чтобы исход был не по Лампедузе. Может быть, им и вовсе не удастся появиться или выжить, или быть достаточно гибкими, чтобы победить.

После бифуркации, после, скажем, 2050 или 2075 г., мы можем быть уверены в очень не многом. Мы больше не будем жить в капиталистическом мире-экономике. Вместо нее мы будем жить в каком-то новом строе или новых строях, в какой-то новой исторической системе или системах. И тогда мы, вероятно, познаем вновь относительные мир, стабильность и легитимность, которые мы уже знали, или же худшие? Это и неизвестно нам, и зависит от нас.

- ¹ См. очерк «Три случая гегемонии в истории капиталистического мира-экономики» в настоящем сборнике.
- ² Многие из вопросов, кратко изложенных здесь, были более подробно разработаны в многих статьях и очерках, написанных за последние 15 лет, значительная часть из них вошла в мою книгу *Geopolitics and Geoculture: Essays in a Changing World-System* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).
- ³ См. *inter alia* [между прочим (*nam.*)]: W. Brian Arthur. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events, *Economic Journal*, XLIX, no. 394 (March 1989), p. 116-131; и W. Brian Arthur, Yu. M. Ermoliev & M. Kaniovski. Path-Dependent Processes and the Emergence of Macro-Structure, *European Journal of Operations Research*, XXX, 1987, p. 292-303.
- ⁴ Более подробное изложение истории этих усилий и их неудачи содержится в двух моих недавних очерках: «Концепция национального развития, 1917-1989: Элегия и реквием» и «Крах либерализма» — оба в настоящем сборнике.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ, ИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ*

Коммунистическая интерлюдия? Между чем и чем? И, прежде всего, когда? Я буду считать такой интерлюдией период между ноябрем 1917 г. (так называемая Великая Октябрьская революция) и 1991 г., годом роспуска Коммунистической партии Советского Союза (в августе) и распада самого СССР (в декабре). Это период, когда в России и ее империи, в Центральной и Восточной Европе существовали государства, управляемые коммунистическими или марксистско-ленинскими партиями. Если быть точным, сегодня все еще остается несколько государств в Азии, которые считают, что управляются марксистско-ленинскими партиями, — а именно Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам и Лаос. И существует Куба. Но эпоха, в которую существовал «блок социалистических государств», в любом значимом смысле завершена. Также, на мой взгляд, закончилась эпоха, когда марксизм-ленинизм был идеологией, пользующейся значительной поддержкой.

Итак, мы говорим об интерлюдии в самом простом смысле этого слова, то есть был момент времени, предшествовавший эпохе, когда существовал сплоченный блок государств, заявляющих, что они руководствуются марксистско-ленинской идеологией, а сегодня мы живем в период, следующий за этой эпохой. Конечно, ее тень ощущалась и до 1917 г. Маркс и Энгельс еще в 1848 г. утверждали в «Манифесте», что «призрак бродит по Европе, призрак коммуниз-

* Доклад на региональном семинаре Международной социологической ассоциации (МСА) «Построение открытого общества и перспективы социологии в Восточной и Центральной Европе» (Краков, Польша, сентябрь 15-17, 1996).

ма». И в многообразных проявлениях этот призрак все еще бродит по Европе. Только ли по Европе? Давайте обсудим это.

Чем был этот призрак до 1917 г.? Каков он был между 1917 и 1991 гг.? Что он представляет собой сегодня? Я думаю, не так трудно прийти к соглашению по вопросу о том, что это был за призрак до 1917 г. Это было ощущение того, что «народ» — понимаемый главным образом как массы необразованных, неразвитых, простых людей — беспорядочно поднимется, разрушит и конфискует собственность и каким-то образом перераспределит ее, при этом приведя к власти тех, кто станет управлять без уважения к таланту или инициативе. И в процессе этого они разрушат то, что представлялось ценным в национальных традициях, включая, конечно же, и религиозные традиции.

Это не был совсем необоснованный страх. В киноверсии «Доктора Живаго» Пастернака есть сцена, где доктора Живаго, возвращающегося вскоре после революции с фронта в свой роскошный особняк в Москве, встречает не только его семья, но и очень большое количество людей, заселивших дом. Для его собственной семьи в обширном доме осталась одна-единственная комната. Живаго, представляющего собой законченный типаж идеалистически настроенного русского интеллигента, кто-то довольно агрессивно спрашивает, что тот думает о новой реальности. И он отвечает: «Это лучший порядок, товарищи. Более справедливый»¹. В конце своей богатой событиями жизни Живаго продолжает верить, что это действительно лучше, даже если читатель остается с более двойственными чувствами.

Мы неплохо знаем политическую и социальную историю Европы XIX в. Давайте подытожим ее. После Французской революции в Европе ширилось и росло принятие двух концепций, которые показались бы странными большинству людей до революции. Первая концепция заключалась в том, что политические перемены представляют собой абсолютно нормальное и ожидаемое явление. Вторая — в том, что носителем суверенитета нации являются не правители, не законодатели, а нечто, называемое «народом». Это были не просто новые идеи, это были радикальные идеи, беспокоящие большинство лиц, обладающих собственностью и властью.

Эта новая система ценностей, которая распространялась через границы отдельных государств (я называю это возникающей геокulturой миросистемы), сопровождалась важными изменениями в демографической и социальной структуре большинства европейских государств. Темпы урбанизации возрастали, и возрастал удельный вес наемного труда. Эта внезапная географическая концентрация в европейских городах значительного количества работников наемного труда, чьи жизненные условия обычно были ужасными, создавала новые политические силы, состоящие из лиц, в значительной мере исключенных из пользования выгодами экономического роста. Они страдали в экономическом отношении, были оттеснены на обочину жизни в социальном отношении, не имели голоса в политической жизни ни на общенациональном, ни на местном уровне. Когда Маркс и Энгельс говорили: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих цепей», — именно к этим социальным группам они обращали свои слова.

Между 1848 и 1917 в Европе случились два события, повлиявших на эту ситуацию. Во-первых, политические лидеры различных государств начали осуществлять программу реформы, *рациональной* реформы, отвечающей чаяниям этих групп, смягчающих их несчастья и приглушающих чувство отчужденности, испытываемое ими. Такие программы вводились в действие в большинстве европейских государств, хотя разными темпами и в разное время. (Я включаю в свое определение Европы государства, основанные белыми переселенцами: США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.)

Программы реформы имели три основных компонента. Первый — всеобщее избирательное право. Оно вводилось осторожно, но последовательно, оно распространялось на всё новые группы, в конце концов все взрослые мужчины (а затем и женщины) получили право голоса. Вторая реформа заключалась в улучшении условий труда посредством трудового законодательства, а также в создании системы перераспределения благ, того, что позже мы будем называть «государством всеобщего благосостояния». Третья реформа, если здесь применимо слово «реформа» — формирование национального самосознания, главным образом посредством обязатель-

ного начального образования и всеобщей воинской обязанности (для мужчин).

Три этих элемента вместе — участие в политике посредством голосования, вмешательство государства с целью сгладить поляризацию, явившуюся следствием неуправляемых рыночных отношений, и надклассовая национальная лояльность — составляют основу и на самом деле важнейшие отличительные черты либерального государства, которое к 1914 г. стало общеевропейской нормой и отчасти практикой. Существовавшие до 1848 г. различия между так называемыми либеральными и консервативными политическими силами после этого года существенно уменьшились, поскольку те и другие стремились действовать вместе во имя реформаторских программ, хотя, конечно же, продолжали спорить о темпах реформ и о той степени, в которой было полезно сохранять почитание традиционных символов и авторитетов.

Этот же период ознаменовался появлением в Европе того, что иногда называют социальным движением, состоящим, с одной стороны, из профсоюзов, а с другой — из социалистических или рабочих партий. Большинство (хотя и не все) этих политических партий считали себя «марксистскими», хотя что они действительно имели в виду, было и до сих пор остается предметом споров. Самой сильной и «образцовой» партией для самой себя и для большинства других была германская социал-демократия.

Германская социал-демократическая партия, как и большинство других, очутилась лицом к лицу с основной практической проблемой: должна ли она участвовать в парламентских выборах (с вытекающим отсюда вопросом, должны ли ее члены участвовать в правительстве)? В конце концов подавляющее большинство партий и партийных активистов ответило на эти вопросы положительно. Их доводы были довольно просты: таким образом они могли немедленно принести пользу своим избирателям. Со временем, вместе с расширением всеобщего избирательного права и при достаточной политической культуре, большинство своими голосами приведет их к полной власти, а придя к власти, они смогут законодательным путем покончить с капитализмом и установить социализм. Существовали предпосылки, подкрепляющие эти рассуждения. Одной из них

был свойственный Просвещению взгляд на рациональность человека: все люди будут действовать, исходя из своих рациональных интересов, в том случае, если у них будет такая возможность и достаточно образования, чтобы правильно понять эти интересы. Другой предпосылкой служила уверенность в том, что прогресс неизбежен, и поэтому история на стороне тех, кто привержен делу социализма.

Подобная система аргументации, практикуемая социалистическими партиями Европы в период до 1914 г., на практике привела к трансформации этих партий из революционной силы, если они когда-то ею были, во что-то вроде более радикальной версии центристского либерализма. Хотя многие партии продолжали говорить на языке «революции», они больше не считали, что революция обязательно подразумевает вооруженное восстание и вообще применение силы. Революция стала чем-то вроде ожидания некоего драматического политического события, скажем, победы на выборах с получением 60% голосов. Поскольку в тот период социалистические партии в целом имели довольно слабые избирательные результаты, проектируемая избирательная победа психологически несла в себе привкус революции.

Обратимся к Ленину или, скорее, к большевистской фракции российской социал-демократической партии. Большевистский анализ состоял из двух важнейших частей. Во-первых, они говорили, что теория и практика европейских социал-демократических партий вовсе не были революционными и представляли собой, в лучшем случае, вариант либерализма. Во-вторых, говорили они, каковы бы ни были оправдания для подобного «ревизионизма» где бы то ни было, он не имеет ничего общего с российской реальностью, поскольку Россия не является либеральным государством, и в ней для социалистов не существует возможности перехода к социализму путем победы на выборах. Нужно отметить, что обе эти оценки в ретроспективе кажутся абсолютно верными.

Большевики сделали из этого анализа решающий вывод: Россия никогда не станет социалистической (и подразумевалось, что никакая другая страна тоже) без восстания как процесса, включающего в себя установление контроля над госаппаратом. Поэтому российс-

кий «пролетариат» (патентованный субъект истории), который на самом деле все еще оставался малочисленным, должен был это осуществить, организовавшись в жестко структурированную кадровую партию, которая должна была планировать и организовывать «революцию». «Малочисленность» городского индустриального пролетариата была более важна, чем допускали Ленин и его коллеги, для непроговариваемой, неявной части их теоретических построений. Поэтому то, что мы получили в итоге, оказалось теорией о том, как быть социалистической партией в стране, которая не была ни богатой, ни высокоразвитой и поэтому не принадлежала к сердцевине капиталистической мирозкономики.

Вожди Октябрьской революции считали, что они возглавили первую пролетарскую революцию в современной истории. Более верно будет сказать, что они возглавили одно из первых и, возможно, наиболее драматическое из национально-освободительных восстаний, происходивших на периферии и полупериферии миросистемы. Две черты отличали это специфическое национально-освободительное восстание от других. Одна — та, что его возглавляла кадровая партия, которая руководствовалась универсалистской идеологией и поэтому взялась создавать политические структуры общемирового значения под своим прямым контролем. Вторая — та, что революция произошла в особой стране: хотя она и не в сердцевине капиталистической миросистемы, но в то же время была самой сильной в индустриальном и военном отношении частью периферии. Вся история коммунистической интерлюдии 1917-1991 гг. определялась этими двумя фактами.

Партии, которая объявила себя авангардной, а затем достигла государственной власти, не остается ничего другого, как быть диктаторской партией. Если кто-то объявляет себя авангардом, то он должен быть прав по определению. А если история на стороне социализма, то авангардная партия, естественно, вершит судьбы мира, навязывая свою волю всем остальным, включая сюда и тех лиц, чьим авангардом она считается, — в нашем случае промышленный пролетариат. В самом деле, с ее стороны было бы упущением действовать по-другому. Если к тому же в целом мире только одна из подобных партий обладает государственной властью, как это в сущности и было

между 1917 и 1945, и если она организовала международную кадровую структуру подобных партий, то кажется естественным и оправданным, что эта партия, обладающая государственной властью, становится ведущей партией. В любом случае, у этой партии были материальная база и политические средства, чтобы отстаивать такую роль вопреки возникающей оппозиции. Поэтому не кажется нарушением истины заявить, что однопартийный режим в СССР и его фактический контроль над Коминтерном стали почти неизбежным следствием теории авангардной партии. А за этим, если и не совершенно неизбежно, то по крайней мере с большой вероятностью, следовало то, что действительно случилось: чистки, ГУЛАГ и «железный занавес».

Вне всякого сомнения, явная и непрекращающаяся враждебность остального мира к коммунистическому режиму в России сыграла большую роль в развитии событий. Но, конечно, наивно было бы объяснять данное развитие событий этой враждебностью, поскольку ленинская теория предсказывает враждебность и, следовательно, враждебность представляет собой часть постоянной внешней реальности, с которой режим заранее предполагал иметь дело.

Враждебность следовало ожидать. Следовало ожидать и то, как режим структурируется внутри. Возможно, в меньшей степени следовало ожидать геополитической стратегии советского режима. Было четыре последовательных геополитических решения, принятых большевиками, каждое из которых знаменовало собой поворотный пункт, и мне не кажется, что взятый советским режимом курс был единственно неизбежным.

Первое решение — воссоздание Российской империи. В 1917 г. имперские силы России были ослаблены в военном отношении, а широкие слои российского населения требовали «хлеба и мира». Такова была социальная ситуация, в которой царя вынудили отречься, и в которой вскоре большевики смогли штурмовать Зимний дворец и взять государственную власть.

В начале большевики казались равнодушными к судьбам Российской империи как таковой. В конце концов, они были социалистами-интернационалистами, убежденными в том, что национализм, империализм и царизм — зло. Они «отпустили на волю» Финляндию и Польшу. Можно цинично утверждать, что они только выбро-

сили балласт с борта в трудный момент. Я скорее думаю, что это было что-то вроде моментальной, почти инстинктивной реакции, соответствующей их идеологическим предпочтениям.

То, что случилось потом, было уже результатом рационального осмысления. Большевики оказались в тяжелых военных условиях гражданской войны. Они испугались, что «отпускание на волю» окраин будет означать создание активных враждебных режимов на границах. Они хотели победить в гражданской войне и решили, что для этого потребуется отвоевать империю. Выяснилось, что в отношении Финляндии и Польши решили уже слишком поздно, но в отношении Украины и Кавказа еще нет. Таким образом получилось, что из трех великих многонациональных империй, существовавших на территории Европы к началу Первой мировой войны, — Австро-Венгерской, Османской и Российской — выжила, по крайней мере до 1991, только Российская империя. Так и получилось, что первый марксистско-ленинский режим стал российским имперским режимом, наследником царской империи.

Вторым поворотным пунктом был Съезд трудящихся Востока, состоявшийся в Баку в 1921 г. Столкнувшись с тем фактом, что долгожданная германская революция никак не наступает, большевики повернулись внутрь страны и на Восток. Они развернулись внутрь страны, поскольку провозгласили новую доктрину — о построении социализма в одной стране. Они развернулись на Восток, поскольку съезд в Баку сместил миросистемные акценты большевиков с пролетарской революции в высокоиндустриальных странах на антиимпериалистическую борьбу в колониальных и полуколониальных странах мира. Оба поворотных пункта казались здравыми прагматическими сдвигами. Оба имели громадные последствия для восприятия ленинизма в качестве мировой революционной идеологии.

Обратиться внутрь означало сконцентрироваться на укреплении Российского государства и империи как государственной структуры и форсировать экономическую программу, рассчитанную на то, чтобы посредством индустриализации догнать страны, принадлежащие к сердцевине мироэкономики. Обратиться на Восток означало признание (еще не открыто, а косвенно) практической невозможности рабочих восстаний в зоне сердцевины. Это также означало присое-

диниться (под более ярким флагом антиимпериализма) к борьбе за самоопределение наций, провозглашенной Вильсоном. Эти сдвиги в целях сделали советский режим гораздо менее неприятным и неприемлемым для политических лидеров западных государств, в сравнении с его прежней ипостасью, и создали основу для возможного геополитического соглашения.

Все это закономерно привело к другой поворотной точке, которая определилась в следующем, 1922 г. в Рапалло, когда Германия и Советская Россия вновь вышли на мировую политическую сцену в качестве главных действующих лиц, согласившись возобновить дипломатические и экономические отношения и отказаться от всех военных претензий друг к другу. Таким образом они эффективно преодолели различные виды остракизма со стороны Франции, Великобритании и США, от которого обе страдали. С этого момента СССР стремился к полной интеграции в межгосударственную систему. В 1933 г. он вступил в Лигу наций (и сделал бы это раньше, если бы ему позволили), заключил союз с Западом во Второй мировой войне, стал соучредителем ООН, а в период после 1945 г. беспрестанно искал признания у всех (и в первую очередь у США) в качестве одной из двух мировых «великих держав». Подобные усилия, как неоднократно указывал Шарль де Голль, с трудом поддаются объяснению в терминах идеологии марксизма-ленинизма, но были вполне объяснимы как политика великой военной державы, действующей в рамках существующей миросистемы.

Поэтому неудивительным представляется и четвертый поворотный пункт — идеологически значимый, хотя к нему часто относятся без внимания — роспуск Коминтерна в 1943 г. Распустить Коминтерн означало прежде всего формально признать то, что давно уже стало реальностью — отказ от первоначального большевистского проекта пролетарских революций в наиболее «передовых» странах. Это представляется очевидным. Менее очевидно то, что это означало также и отмену целей, утвержденных в Баку, по крайней мере в их первоначальной постановке.

Баку превознесло заслуги антиимпериалистического национально-освободительного движения на «Востоке». Но к 1943 г. высшее руководство СССР больше не было реально заинтересовано в рево-

люции где бы то ни было, если та не проходила под его полным контролем. Советское руководство не было глупым и понимало, что движения, пришедшие к власти путем долгой национальной борьбы, вряд ли уступят свою неприкосновенность кому-то в Москве. Кто же тогда? Был только один возможный ответ — движения, пришедшие к власти с помощью и под присмотром российской Красной армии. Так родилась советская политика в отношении единственного региона, где это действительно было возможно, во всяком случае в то время, — Центральной и Восточной Европе. В период 1944-1947 гг. СССР решил привести к власти подчиненные коммунистам режимы во всех регионах, где Красная Армия оказалась к концу Второй мировой войны, главным образом в Европе к востоку от Эльбы. Я говорю «главным образом», потому что сразу же обнаруживаются три исключения: Греция, Югославия и Албания. Но мы знаем, что случилось там. В 1945 г. ни в одной из этих трех стран не было Красной Армии. В Греции Сталин драматичным образом бросил на произвол судьбы греческую компартию. Югославия же и Албания, в которых существовали марксистско-ленинские режимы, пришедшие к власти посредством восстаний, совершенных собственными силами, открыто порвали с СССР. Что касается Азии, сталинское затягивание решений там было очевидно для всего мира, и не в последнюю очередь для китайской коммунистической партии, которая также резко порвала с СССР, как только смогла. Встреча Мао с Никсоном — прямое последствие четвертого поворотного момента в политике СССР.

После этих четырех поворотов не так много осталось от старого «призрака коммунизма». То, что осталось, было уже совершенно иным. СССР стал фактически второй по значимости военной державой в мире. Он стал достаточно силен, чтобы иметь дело с США, которые были самой сильной державой. США признали за Россией зону исключительного влияния от Эльбы до Ялу, но не дальше. Дело в том, что контроль СССР над этой зоной и его право свободно управлять там признавалось США, следящими только за тем, чтобы СССР оставался внутри этой зоны. Такое положение дел получило благословение в Ялте и в сущности соблюдалось западными державами и Советским Союзом вплоть до 1991 г. В этих вопросах Сове-

ты выступили как прямой наследник царизма, но сыграли свою геополитическую роль лучше.

Экономически СССР пошел по классическому пути догоняющего развития через индустриализацию. Он справлялся с этим довольно хорошо, принимая во внимание все помехи и стоимость разрушений во время Второй мировой войны. Если посмотреть на достижения СССР в 1945-1970 гг., они на общемировом фоне весьма впечатляют. Эти достижения СССР использовал, чтобы убедить страны-сателлиты идти тем же путем, причем для некоторых из них в этом не было большого смысла, тем не менее сначала они делали это довольно успешно. Но экономика была примитивной, и не потому, что не оставляла достаточно места для частных предприятий, а потому, что стремление «догнать» считалось реалистичной политикой, а индустриализация — способом обеспечить экономическое будущее. В любом случае, как мы знаем, в 1970-е гг. дела СССР, так же как и стран Восточной и Центральной Европы, в экономическом отношении пошли плохо, а в 1980-х гг. в конце концов наступил коллапс. Конечно, это был трудный период для многих стран мира, и многое из происходящего в СССР и его сателлитах было частным случаем более общих проблем. Дело, однако, в том, что с точки зрения людей, проживающих в этих странах, экономические неудачи были своего рода последней каплей, особенно на фоне официальной пропаганды, согласно которой основным доказательством достоинств марксизма-ленинизма является его способность немедленно улучшить экономическую ситуацию.

Это была последняя капля, потому что внутривнутриполитическая ситуация во всех этих странах была такова, что не нравилась практически никому. Не существовало демократического участия в политике. Хотя худшие времена политического террора закончились к середине 1950-х гг., произвольное заключение в тюрьму и контроль со стороны секретной полиции все еще оставались обычной, повседневной реальностью. Не были разрешены никакие формы выражения национальных интересов. В меньшей степени, возможно, это относилось к России, поскольку фактически русские были на вершине этого политического мира, даже если им не было позволено объявлять об этом вслух. Но для всех остальных господство русских было нестерпимо.

Наконец, однопартийная система означала наличие во всех этих странах очень привилегированной страты, номенклатуры, чье существование делало достойным осмеяния идеологические претензии большевиков выступать в роли поборников равноправия.

В этих странах всегда было очень много людей, которые никогда не разделяли первоначальные цели большевиков. Однако привело всю систему в конце концов к коллапсу другое. Огромное число людей, первоначально разделявших провозглашенные цели, стали столь же, а возможно, даже в большей степени, чем остальные, враждебны режиму. «Призрак коммунизма», который бродил по миру в 1917-1991 гг., стал чудовищной карикатурой призрака, бродившего по Европе с 1848 по 1917 г. Старый призрак излучал оптимизм, справедливость, нравственность — это и были его сильные стороны. Второму призраку были присущи стагнация, предательство и уродливые формы угнетения. Виден ли на горизонте третий призрак?

Первый призрак являлся не столько России или Восточной и Центральной Европе, сколько всей Европе (и миру). Второй призрак существовал для всего мира. Третий призрак, конечно же, будет снова общемировым. Но можем ли мы назвать его призраком коммунизма? В терминах 1917-1991 гг., конечно же, нет. Можем только в том смысле, в каком этот термин употреблялся в 1848-1917 гг. Тем не менее призрак пугает, он прямо связан с текущими проблемами современного мира, сочетающего огромные материальные и технические достижения с чрезвычайной поляризацией населения мира.

В странах бывшего коммунистического мира многие считают, что речь идет о возвращении «назад, к нормальной жизни». Но это не более реальная возможность, чем та, что существовала в США в 1920 г., когда президент Уоррен Хардинг пустил в оборот этот лозунг. США никогда не смогли вернуться к миру до 1914 г., и России с ее бывшими сателлитами не удастся вернуться к периоду до 1945 г. или до 1917 г. ни в частности, ни по духу. Мир решительно продвинулся вперед, и в то время как большинство людей в прежнем коммунистическом мире испытывали облегчение от того, что коммунистическая интерлюдия осталась позади, это совсем не означает, что они или все мы движемся в направлении более безопасного, внушающего больше надежд или более пригодного для жизни мира.

Хотя бы по одному тому, что мир следующих 50 лет обещает быть гораздо более насыщенным насилием, чем мир времен «холодной войны», из которого мы вышли. «Холодная война» была в высшей степени срежиссирована, в большой мере сдерживалась заботой США и СССР о том, чтобы между ними не вспыхнула ядерная война. Почти так же важно, что обе страны могли реально гарантировать, что такая война не разразится. Однако в этом отношении ситуация радикально изменилась. Российская военная мощь, хотя еще достаточно большая, существенно ослабла. Но то же самое, хотя и в меньшей степени, относится и к США. В частности, США больше не обладают тремя элементами, которые обеспечивали его военную мощь прежде: деньгами, готовностью народа США выносить потери от проведения военных акций, политическим контролем над Западной Европой и Японией.

Результаты уже ясны. Чрезвычайно трудно сдерживать эскалацию локального насилия (Босния, Руанда и Бурунди и т. д.). В ближайшие 25 лет станет действительно невозможно сдерживать распространение оружия, и мы должны ожидать существенного роста количества государств, имеющих в своем распоряжении ядерное, так же как и биологическое и химическое, оружие. Далее, принимая во внимание, с одной стороны, относительное ослабление США и усиливающееся разделение наиболее сильных государств на три группы, а с другой стороны, продолжающуюся экономическую поляризацию миросистемы по оси Север-Юг, мы, с очень высокой степенью вероятности, должны ожидать более серьезных военных провокаций со стороны Юга в отношении Севера (типа того, что делает Саддам Хусейн). Подобные провокации будет все труднее сдерживать политическими средствами, а если несколько из них случатся одновременно, сомнительно, что Северу удастся сдержать волну. Военная машина США уже продвинулась до такого уровня, чтобы быть готовой справиться одновременно с двумя такими ситуациями. Но если их будет три?

Второй новый элемент нестабильности — миграция с Юга на Север (включающие миграцию из Восточной Европы в Западную). Я бы сказал, что это новое явление, хотя, конечно же, подобная миграция была характерна для капиталистического мира-экономики на

протяжении его пятисотлетнего существования. Однако изменились три вещи. Первое — технология транспорта, значительно облегчившая процесс. Второе — расширение общемировой экономической и демографической поляризации, что делает глобальное давление намного более интенсивным. Третье — распространение демократической идеологии, которая подрывает политические возможности богатых государств сопротивляться наплыву иммигрантов.

Что произойдет? Это кажется ясным в краткосрочной перспективе. В богатых государствах мы увидим рост правых движений, сосредоточивающих свою риторику на вопросе сдерживания мигрантов за рубежами страны. Мы увидим возведение все новых и новых юридических и физических препятствий миграции. Тем не менее мы будем свидетелями роста миграции, легальной и нелегальной — отчасти из-за слишком высокой цены возведения антииммиграционных барьеров, отчасти из-за широко распространенного сговора работодателей, мечтающих использовать труд таких иммигрантов.

Среднесрочные последствия также ясны. Появится статистически значимая социальная группа из семей иммигрантов (часто включающая и семьи иммигрантов второго поколения), которая будет плохо оплачиваемой, социально неинтегрированной и почти наверняка не имеющей политических прав. Эти люди будут составлять главным образом низший слой рабочего класса каждой страны. Если дело обстоит так, то мы вернемся к положению, сходному с ситуацией в Западной Европе до 1848 г.: налицо низший класс, сконцентрированный в индустриальных районах, не имеющий прав, крайне недовольный своим положением и на сей раз обладающий очевидными этническими характеристиками. Именно подобная ситуация породила первый призрак коммунизма, о котором говорили Маркс и Энгельс.

Существуют, однако, и отличия от 1848 г. В XIX в. миросистема поднималась на волне огромного исторического оптимизма, который исчерпал себя только около 20 лет назад. Мы жили в эпоху, когда каждый был уверен в том, что история на стороне прогресса. Подобная вера имела огромные политические последствия: это был невероятно стабилизирующий фактор. Он порождал терпение, так как убеждал каждого в том, что положение вещей однажды, вскоре

или по крайней мере при жизни детей, улучшится. Вот что делало либеральное государство внушающей доверие и приемлемой политической структурой. Сегодня мир утратил эту веру, а утратив ее, лишился главного стабилизирующего фактора.

Именно эта утрата веры в неизбежную реформу объясняет великий поворот к антигосударственным настроениям, который мы видим сегодня повсюду. Никто никогда не любил особенно государство, но огромное большинство позволяло ему наращивать свою силу, поскольку видело в нем проводника реформ. Но если оно не может осуществлять эту функцию, зачем терпеть государство? Но если у нас нет сильного государства, кто обеспечит повседневную безопасность? Ответ в том, что в этом случае мы должны обеспечивать ее сами для себя. И это переносит мир в целом назад, к периоду становления современной миросистемы. Именно чтобы избавиться от необходимости заботиться о нашей собственной местной безопасности, мы занимались строительством современной системы государств.

И последнее, не такое уж маленькое, изменение. Оно называется демократизацией/Все говорят о ней, и я думаю, что она действительно происходит. Но демократизация не уменьшит, а усилит великий беспорядок. Причина в том, что для большинства людей демократизация означает в первую очередь возможность предъявить три требования, воспринимаемые как неотъемлемые права: разумный доход (рабочее место и позднее пенсия), доступ к образованию для детей и адекватное современным требованиям медицинское обслуживание. По мере развития демократизации люди настаивают не только на выполнении этих трех требований, но и на постоянном росте минимально приемлемого уровня каждого из них. Но обладание этими правами на том уровне, которого люди каждый день требуют, невероятно дорого даже для богатых стран, не говоря уже о России, Китае, Индии. Единственный способ, чтобы *каждый* действительно имел больше, — радикально изменить способ распределения мировых ресурсов по сравнению с тем, что мы имеем сегодня.

Итак, как мы назовем этот третий призрак? Призрак распада государственных структур, которым люди больше не доверяют? Призрак демократизации и требований радикально иной системы распределения? Следующие 25-50 лет будут периодом длительных

политических споров о том, как справиться с этим новым призраком. Не ясен и не поддается предвидению исход этого грандиозного политического спора. Он разрешится в ходе общемировой политической борьбы. Что является ясным, так это тот факт, что ответственность ученых, занимающихся социальными науками, состоит в том, чтобы помочь внести ясность в исторический выбор, перед которым мы стоим.

¹ В романе Пастернака Живаго встречается только семья, которая объясняет, что они отдали два или три этажа «жилплощади» (новый термин) различным советским организациям. Но и в этой версии Живаго также высказывается в том смысле, что это более справедливо, что богатые имели прежде слишком много.

ОТМИРАНИЕ ГОСУДАРСТВА

Когда государство наконец-то становится действительным представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. С того времени, когда не будет ни одного общественного класса, который надо было бы держать в подавлении, с того времени, когда исчезнут вместе с классовым господством, вместе с борьбой за отдельное существование, порождаемой теперешней анархией в производстве, те столкновения и эксцессы, которые проистекают из этой борьбы, — с этого времени нечего будет подавлять, не будет и надобности в особой силе для подавления, в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества, — взятие во владение средств производства от имени общества — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства... Государство не «отменяется», оно *отмирает*¹.

Это известное высказывание Энгельса суммирует отношение к государству социалистов XIX в. Не имеет значения, кто контролирует государство, в любом случае оно — враг трудящихся классов. Оно существует чтобы подавлять их; и оно их подавляет. Социализм должен быть его антитезисом: таким образом, социализм предполагает отсутствие государства.

Тем не менее, с распространением в Европе всеобщего избирательного права и созданием социалистических партий, рабочее движение должно было решить, каково его отношение к участию в парламентском политическом процессе существующих государств. Ревизионизм, в сущности, был проявлением веры, что рабочие могут привести себя к власти путем голосования и тем самым приручить государство. Но даже для ревизионистов существующее государство оставалось врагом — не только в теории, но фактически и на практике.

Ситуация радикально изменилась с русской революцией. Накануне революции Ленин разоблачал в «Государстве и революции» тех, кто «обкарнывает» рассуждение Энгельса, «замечательно богатое мыслями», заявляя, что термин «отмирание государства» означает

нечто *отличное от* «учения об "отмене" государства» на том основанный, что последнее является «анархистским»². Ленин настаивал, что «отмирание» на самом деле означает именно «отмену». Он, однако, сказал, что при правильной интерпретации «отмена» должна рассматриваться, как процесс, состоящий из двух стадий: «Смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, то есть уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем отмирания»³. Таким образом, большевистская партия, придя к власти в Советском Союзе, оценила это как установление «диктатуры пролетариата», которая существовала, чтобы разгромить буржуазию внутри и вне границ СССР, как первую стадию в процессе создания коммунистического общества. Следующая стадия должна была предположительно привести к отмиранию пролетарского государства.

Прошло немного времени, прежде чем критики начали отмечать, что государственный аппарат в СССР, вместо того чтобы отмирать, казалось, на деле становится сильнее, чем он был в имперской России. Для многих из критиков, советское государство управлялось «бюрократическим» слоем, который являлся новым и, для некоторых, худшим правящим классом, чем предшествующий⁴. В свете советского опыта концепция «отмирания государства» ушла в подполье, перестала даже упоминаться, за исключением разве что жестких критиков, которые ссылались на нее, чтобы осмеять марксизм в целом. Это понятие часто подавалось как хороший пример неисполнившегося предсказания.

Я хотел бы предложить, чтобы сегодня мы иначе посмотрели на эту концепцию в свете опыта XX в. Первое и наиболее важное обстоятельство — тот противоречивый факт, что капиталистическая мировая экономика, система, в которой мы живем, стала сильнее как система и одновременно слабее в результате того же самого процесса.

Эти соперничающие между собой процессы усиления и ослабления системы в целом были осуществлены совместно основными силами, заинтересованными в поддержании системы (частнокапиталистические предприятия и предприниматели), и основными силами, заинтересованными в преобразовании системы (антисистемные движения). Обе совокупности сил особыми путями подрывали

и усиливали государственные структуры и межгосударственную систему. Чтобы должным образом оценить особую диалектику XX в., мы должны рассмотреть тенденции, присущие современной микро-системе с момента ее возникновения, тенденции, которые нашли свою кульминацию в сегодняшних острых противоречиях.

Если мы используем слово «государство» нестрого, просто имея в виду централизованную власть с какой-то минимальной бюрократией, тогда, разумеется, государства существуют уже в течение тысячелетий. Однако в течение уже длительного времени существует школа мысли, настаивающая: нечто, подразумеваемое нами обычно под «государством» в современном мире, на самом деле не существовало до XVI в. Одновременно с этими спорами о моменте возникновения «государства» шла и вторая дискуссия, часто, что забавно, отделяемая от первой, о моменте появления современной «системы государств». Чаще всего начало последней датируется 1648 г., Вестфальским миром⁵, однако некоторые настаивают, что решающей датой был 1494 г., начало француско-испанской борьбы за Италию⁶. Это может показаться несколько схоластическим спором, особенно если держать в уме напоминание Мартина Уайта, что третьей принятой датой (в дополнение к 1494 и 1648 гг.) «начала новой истории международных отношений» является 1492 г.⁷ Предположение Уайта, которое я разделяю, состоит в том, что создание этой «системы государств» фактически связано с процессом, предопределившим так называемую экспансию Европы.

Вопрос на самом деле очень прост. Отличие современного государства от любых более ранних «государств» определяется тем, что оно участвует в межгосударственной системе; а современная межгосударственная система отличается тем, что это первая межгосударственная система, которая со временем не преобразовалась в мир-империю⁸. Наша межгосударственная система эволюционировала как надстройка капиталистического мира-экономики, и именно этот факт объясняет специфику как современного государства, так и современной межгосударственной системы, и объясняет тот факт, что ни Карл V, ни кто-то из его духовных наследников не смогли создать вселенскую империю⁹. Границы межгосударственной системы и мира-экономики, таким образом, более или менее совпадают, даже

если и те и другие размыты¹⁰. С течением времени, так или иначе, государства стали сильнее, но, несмотря на идеологию юридически равного суверенитета, действие механизма баланса сил обеспечило поддержание иерархии неравных держав, связанных в межгосударственную систему". Государства, в которых осуществлялись ключевые виды экономической деятельности, усилились. Это было результатом целенаправленных усилий групп, стремившихся использовать государственную машину, чтобы подкрепить квазимонополистические привилегии для своих предприятий (или предотвратить, чтобы такие привилегии создавались в ущерб им для других). Государства, где осуществлялись периферийные виды деятельности, сначала стали либо сильнее, либо слабее по сравнению с начальным моментом их включения в межгосударственную систему. Впоследствии под давлением более мощных (сердцевинных) государств и сотрудничающих с ними местных групп они стабилизировались на уровне «государственной мощи» слишком слабом, чтобы предотвратить движение экономических потоков в мире-экономике, но достаточно сильном, что помогать их движению. Наконец, в полупериферийных государствах определенные группы часто стремились усилить государственную машину с целью изменить у себя структуру производства и тем самым изменить свое место в мировом разделении труда. Эти попытки различных полупериферийных государств и встречное давление держав центра были постоянным источником военной напряженности в межгосударственной системе. Результатом со временем стало то, что может быть названо подвижным равновесием: все государства стали «сильнее», но неравенство сил осталось как минимум прежним, а более вероятно, что увеличилось.

Отношение крупных предпринимателей к государственной власти было изначально неоднозначным. Они хотели, чтобы государства помогали им как в достижении непосредственных экономических целей, так и в их долгосрочных целях поддержания политической стабильности системы. Долгосрочные цели, разумеется, часто входили в конфликт с краткосрочными. В таких случаях поведение различных фирм было разным. Они часто боролись с собственными государственными машинами, вплоть до поставок оружия враждебным государствам во время войны, но обычно демонстрировали

вид шумпетерианской мудрости, понимая (на практике, но не всегда в явно выраженной форме) необходимость краткосрочных экономических уступок ради сохранения долговременных политических надстроек системы.

Возникновение в XIX в. антисистемных движений создало столь же неоднозначную силу. Социальные движения оказались в ловушке аналогичной дилеммы краткосрочных/долгосрочных задач. Однако она проявлялась в зеркальной форме по сравнению с крупными предприятиями. В то время как последние часто хотели иметь дело с более слабым государством в краткосрочном плане, но понимали долгосрочную потребность в более сильном государстве (и/или межгосударственной системе) для сохранения мировой капиталистической системы, социальные движения хотели разрушить государства в долгосрочной перспективе, но видели необходимость в более сильном государстве в краткосрочном плане, чтобы защитить движение и сделать реально возможным разрушение мировой капиталистической системы.

В XIX в. эта дилемма социальных движений приняла форму дискуссии, участвовать или нет в парламентской системе. После 1917 г. встал вопрос о том, что делать с самой государственной властью. И здесь мы подходим к имеющему решающее значение аспекту деятельности государства (отдельного) в капиталистической мировой экономике, организованной политически как межгосударственная система. Государство (отдельное) реально не является «тотальным» институтом. Ни одно из государств (даже держава-гегемон) не может действовать полностью так, как ему хочется. Потому что ни одна из групп, обладающих властью в данном государстве, не свободна трансформировать процессы внутри государственных границ в соответствии со своими представлениями. Каждая из государственных машин *ограничена* функционированием мировой экономики (и межгосударственной системы), необходимостью соблюдать определенные ограничения или же, в противном случае, быть готовым к определенным санкциям со стороны других государств (с целью изменить политический курс, границы или режим).

Мы обнаружили, что советский опыт — антисистемное движение, приходящее к власти и заметно усиливающее государственную

машину — не искажение, а результат действия глубоких структурных сил, влияющих на сами социальные движения. На самом деле и сам Ленин (но не большинство ленинистов) видел это. Доказательством является его сказанная мимоходом фраза, которую я уже цитировал: «Уничтожение пролетарского государства, *то есть уничтожение всякого государства* (курсив мой. — И. В.). невозможно иначе, как путем отмирания».

Никогда, однако, вопрос не ставился не в форме «может ли отмереть, или отомрет ли государство?», а в форме «может ли отмереть, или отомрет ли, система государств, или все государства?». Это вопрос, который мы игнорировали, а на самом деле должны были бы задать. Это центральный момент в том, как мы представляем себе переход мира от капитализма к социализму. Позвольте мне определить проблемы этого перехода в виде трех последовательных вопросов: «Почему в настоящее время в миросистеме существует кризис?» «Какую форму приобретает в период кризиса давление противоречий на систему?» «Каковы вероятные исходы кризиса?»

Разрешите мне начать с предложения, что именно я понимаю под кризисом. Кризис — это не просто экономический спад или фаза острой политической борьбы, даже всемирного масштаба. С момента рождения капиталистической мировой экономики около 500 лет тому назад, таких явлений было много. Я доказал, что капиталистическая, мировая экономика возникла в Европе как результат «кризиса феодализма», который я датирую приблизительно 1300-1450 гг. Этот кризис можно отличить от экономической стагнации (но не кризиса) XVII в.¹² Сейчас, с моей точки зрения, протекает сходный «кризис капитализма», в условиях которого мы прожили значительную часть XX в. и, вероятно, будем жить как минимум в следующем. Под кризисом я понимаю поворотный пункт от одной *longue duree** к другой, которая наступает, когда механизмы адаптации внутри системы начинают давать сбои, потому что сбой дает сама система. В таких обстоятельствах происходит нечто большее, чем передвижка привилегий. Либо вся система должна быть фундаментально перестроена, либо она разрушается как социальная система. Кризис означает, что

* Длительная временная протяженность (*фр.*)

поддержание деятельности системы как таковой на самом деле не является жизнеспособным историческим выбором.

Причина, по которой существующая капиталистическая миросистема вошла в кризис, состоит в том, что механизмы, которые применялись, чтобы выводить мировую экономику из периодов стагнации и вновь способствовать расширению системы, столь необходимому для накопления капитала, включали в себя движение по асимптотическому приближению к пределам. Поскольку я много об этом говорил¹³, позвольте мне очень кратко резюмировать мои взгляды. Периодические стагнации мировой экономики, проявляющиеся в недостаточности эффективного мирового спроса, регулярно разрешались в ходе трех процессов: технологического развития, пролетаризации, включении новых зон в мировую экономику. Они обеспечивают относительно новые источники высокоприбыльной продукции (благодаря созданию новых ведущих отраслей), новые резервуары платежеспособного спроса (благодаря росту денежных доходов работников, получающих большую часть совокупного дохода в виде заработной платы) и новые резервуары низкооплачиваемого труда (через привлечение новых домохозяйств, частично жизни включенных в наемный труд). Из трех механизмов лишь технологические изменения могут продолжаться в течение неограниченного будущего. Два других механизма подходят к своим пределам; таковы структурные основы «кризиса». Это основное экономическое ограничение процесса накопления имеет свою параллель в растущей силе антисистемных движений, как социальных, так и национально-освободительных, которые в XX в. *коллективно* стали значительно сильнее, хотя многие конкретные движения потерпели поражения, и несмотря на факт, что практически каждое отдельное движение на самом деле было в той или иной степени кооптировано¹⁴. Позвольте мне теперь обратиться к вопросу, как проявляется давление противоречий в рамках названного системного кризиса.

Коллективная сила антисистемных движений начала существенно ограничивать всемирную свободу действий сильных частных предприятий сердцевинной зоны, которые мы стали называть (отчасти неверно) многонациональными корпорациями (МНК). Расчеты, лежащие в основе политических стратегий, направленных на

оптимизацию капиталистического накопления, изменились. Долгосрочные экономические издержки вмешательства государств центра в более слабых государствах в пользу МНК существенно возросли, причем в относительно большей мере, чем издержки кооптационных стратегий, хотя последние также увеличились. Произшедшие изменения делают сейчас последнюю стратегию более привлекательной для предприятий. Издержки кооптационных стратегий, однако, резко возросли бы и сделали ее «неэкономичной», как только интервенционистская стратегия стала бы оцениваться как вызывающая доверие альтернатива. Это привело к зигзагообразности реальной внешней политики государств центра в той мере, в какой она отвечала давлению МНК. Зигзагообразность сама по себе вела к неопределенности, что стимулировало развитие механизмов проверки и контроля, и тем самым повышало издержки как интервенционистских, так и кооптационных стратегий.

Растущие издержки кооптации неизбежно толкали предприятия к поиску «слабых мест» в политических позициях, занимаемых различными слоями мировых трудящихся классов в ходе прежних антисистемных битв. Такие «слабые места» не ограничиваются периферийными зонами, но во все большей степени встречаются и в сердцевине системы, особенно в периоды стагнации. Таким образом в местах, где прежние антисистемные движения были полностью приручены, существует риск возобновления активных политических конфликтов. Государства центра вынуждены будут признать этот потенциал и не будут столь же внимательны податливы к нуждам деловых кругов, как раньше. Это приведет к ситуации, когда МНК будут разрываться между экономическими преимуществами привязки к одной государственной машине как покровительствующей силе и экономическими преимуществами маневрирования между разными государствами сердцевины. Как Форд оценивает будущее Крайслера и свое собственное, одна тактика состоит в том, чтобы пытаться платить рабочим меньше и в Бразилии, и в США; другая состоит в том, чтобы постепенно переводить базу своих операций в Европу (где по крайней мере военные расходы меньше); третья — выработать соглашения о производственном сотрудничестве с СССР. Важно отметить, что каждый из вариантов имеет свои преимуще-

ства в краткосрочной перспективе, но каждый из них ограничивает накопление в долгосрочном плане.

В то же время антисистемные движения захвачены сравнимыми дилеммами. Существующий способ функционирования мировой экономики и слабости любой отдельной государственной структуры по отношению к совокупности всех действующих сил означает, что при попытке выйти из мировой экономики краткосрочные издержки, влияющие на благосостояние народа и на развитие производительных сил, намного выше, чем политически способен выдержать любой режим. Следовательно, при достижении антисистемными движениями государственной власти они испытывают грандиозное социальное давление изнутри в пользу принятия на государственном уровне «догоняющей» стратегии. Стремление данного государства достичь экономического уровня благосостояния более развитых в данный момент государств с неизбежностью предполагает накопление капитала путем экспроприации прибавочной стоимости, пролетаризации труда и дальнейшего отоваривания всех аспектов производства и обмена, которые еще не стали товарными. Догоняющее развитие, короче говоря, означает триумф закона стоимости во всех уголках, до сих пор сопротивлявшихся его господству.

С другой стороны, это фактически рассматривается многими сторонниками антисистемных движений как отказ от их целей, если не открытое предательство. Накопленное разочарование влияет на глобальную способность антисистемных движений действовать успешно. И все же, в той степени, в какой эти движения выживают, пусть и в компромиссной форме, они обеспечивают социальное пространство, а часто и ресурсы, для других движений в других местах и таким образом все равно вносят свой вклад в рост коллективной силы антисистемных движений.

Чего можно ожидать дальше? Растущая концентрация капитала и ограничения глобальной нормы прибыли будут толкать повсюду ко все большему возрастанию роли государства в предпринимательстве. В этом смысле лозунг правых о «ползучем социализме» несомненно отвечает действительности, если понимать под этим тенденцию к «национализации» предприятий в той или иной форме. Мы можем также ожидать, что повсюду за пределами сердцевины сис-

темы идеология «догоняющего развития» будет распространяться и, вероятно, станет преобладающей. В некотором смысле лозунг «конвергенции» сущностно верен, если помнить, что происходящее — фактически завершение логики мирового капиталистического развития. Пожалуй, лет через 50, *и впервые в истории*, мировая экономика будет функционировать *полностью* в соответствии с законами стоимости, как они изложены в I томе «Капитала».

Но полная победа капиталистических ценностей является на самом деле *главным признаком* кризиса капитализма как системы. Капитализм исторически никогда не действовал в соответствии со своей идеологией, потому что не мог этого делать. Среди прочего потому, что если бы *каждый* был наемным работником, то немногие просто не смогли бы извлекать прибавочную стоимость из многих. Именно универсализация закона стоимости сделает в конечном счете невозможным сохранение «мистического туманного покрывала» товаров¹⁵, что завершит процесс «разрушения защитного слоя»¹⁶. Это произойдет потому, что противоречивые процессы текущей фазы капиталистической мировой экономики столь основательно демистифицируют технику господства, что сделают последнее политически несостоятельным.

Итак, я излагаю то, что в некоторых отношениях кажется странным сценарием: усилия предпринимателей ведут в направлении растущей национализации предприятий, в то время как усилия революционеров обеспечивают средства, пользуясь которыми закон стоимости станет в конце концов всепроникающим. Это, разумеется, еще не вся история, потому что можно предположить, что предприниматели по-прежнему руководствуются стремлением к прибыли, в то время как антисистемные движения руководствуются стремлением заменить систему, основанную на законе прибыли, эгалитарной структурой, основанной на производстве продуктов ради их пользы. Таким образом обе группы постоянно пытаются вырваться из ограничений, в которых они действуют.

Так как возможности для извлечения прибавочной стоимости непосредственно в сфере производства сжимаются, крупные предприниматели могут все более и более концентрироваться на международной системе распределения, посреднических функциях в ми-

ровой экономике, связях между все более контролируемыми государством производственными системами. Это «глобализует» их базу способами и в степени, до сих пор не известными, и может разорвать их крепкие связи с конкретными государственными машинами стран центра. Может оказаться, что их выживание станет зависеть именно от того факта, что их политические альянсы распространяются через всю межгосударственную систему — бесплотные «цюрхские гномы» представляют слишком существенные услуги, чтобы можно было позволить оставить их в руках предприятий, руководимых конкретным государством.

Одновременно и антисистемные движения, так как все большая их часть приходит к власти, могут претерпеть метаморфозу. Они могут вернуться к своему изначальному взгляду, что государства — их враги, и потому они (движения) могут двинуться к созданию структур, которые являются не национальными и не интернациональными, а транснациональными. Хотя этого можно достичь лишь когда будет достигнута вершина и лишь когда достаточное количество движений в их современных разновидностях придет к государственной власти, мы увидим созревание таких тенденций.

Эти процессы будут подкреплены тем, что было названо «цивилизационным поиском»¹⁷. Одним из наиболее глубоких выражений антисистемных чувств было отрицание завесы универсализма, под прикрытием которой осуществлялись извлечение прибавочной стоимости и политическое господство, воплощенное в межгосударственной системе. Таким образом, мы имеем сегодня многочисленные формы поиска «эндогенного интеллектуального творчества». Все эти формы в каком-то смысле «националистичны», но они вовсе не обязательно и не навсегда являются «государственническими». Даже беглый взгляд на Иран после свержения шаха делает это совершенно ясным.

Основные линии напряжения во всемирной классовой борьбе, таким образом, начинают выражаться в противоречиях между логикой, ориентированной на государство, и глобальной логикой. Мировая политика может прийти к состоянию, когда будет разыгрываться тремя основными группами акторов: значительные общественные силы, стоящие у власти в государствах центра, вместе с

менее значительными, но существенными силами, стоящими у власти в государствах периферии и полупериферии; узкая, но несмотря на это очень могущественная группа «частных глобализованных» предпринимателей; новые «глобализованные» антисистемные движения, которые будут представлять и фактически включать в себя большинство мирового населения. Если последние две группы окажутся более сильными, чем первая, а я думаю, что в конце концов так и окажется, мы увидим завершение перехода от капитализма к социализму с «отмиранием» государств и межгосударственной системы. Формы социалистического мирового порядка — как будет политически координироваться экономика и какие культурные формы выражения она найдет — совершенно не ясны, и мне кажется, что совершенно бесполезно пытаться их предсказывать.

Однако я могу наметить и альтернативный сценарий. Я уже сказал раньше, что под кризисом понимаю ситуацию, в которой вся система либо должна быть основательно перестроена, либо приходит к краху. Крах, конечно, является реальной альтернативой «отмиранию государств». «Основанная на государстве логика» в этот переходный период может оказаться достаточно сильна, чтобы затормозить прогресс «глобальной логики» — и у предпринимательских слоев, и в антисистемных движениях. В этом случае «время бедствий» и нарастающего разрушения может вылиться в острую борьбу за ресурсы, которые будут очень ограничены (или которые сделают очень ограниченными).

Обратите внимание, что именно я предлагал в новом взгляде на эту пренебрегаемую ныне концепцию. Социалистическая революция, которую мы переживаем, — это не Армагеддон. На самом деле она может быть единственной альтернативой Армагеддону. Ядерная война между великими державами, ведущая к грандиозным разрушениям и потерям населения и производительных сил, вполне возможна. Но столь же возможно, что государство, то есть государства, могут отмереть в ходе создания социалистического мирового порядка.

¹ Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 224-225.

² Ленин В. И. Государство и революция // *Полн. собр. соч.*, т. 33, с. 17.

³ Там же, с. 22.

⁴ Эта критика фактически была предвосхищена Бакуниным, который писал в 1869 г.: «Государство всегда было собственностью каких-то привилегированных классов, будь то жрецы, знать или буржуазия, и, в конечном счете, все другие классы были использованы бюрократическим классом.... Для его благосостояния абсолютно необходимо, чтобы существовал некий привилегированный класс, заинтересованный в его существовании. И именно в этом состоит единственный интерес этого привилегированного класса, который мы называем патриотизмом». Цит. по: A. Fried & R. Sanders, eds. *Socialist Thought: A documentary History* (Anchor Books: Garden City, New York. 1964), p. 343-344.

⁵ «Вестфальский мир стал правовой базой системы государств. Последующие мировые договоры, вплоть до по крайней мере Тешинского 1779 г., открыто подтверждали Вестфальский договор и были дополнениями к нему... В ретроспективе считали, что Вестфальский договор отметил переход от религиозной к светской политике, от "Христианства" к "Европе", исключение из международной политики святого престола, реальную кончину Священной Римской империи с фактическим признанием суверенитета ее членов, формальный допуск Соединенных Провинций и Швейцарской Конференции в семью независимых наций и начало системы баланса держав. Prestиж Вестфальского договора был подкреплен Гроцием, репутация которого как отца международного права была обязана работе, появление которой было вызвано той же самой всеобщей войной, которую завершил Вестфальский мир. Кажется, кстати, что это именно Гроций ввел слово "система" в словарь международной политики, хотя еще и не в смысле всего дипломатического сообщества». См.: M. Wight. *Systems of States* (Leicester University Press: Leicester. 1977), p. 113; см. также: M. Keens-Soper. The practice of a states system, *The Reason of State* (M. Donelan, ed.), (George Allen & Unwin: London, 1978), p. 28.

⁶ «Рождение новой системы государств было результатом сложного процесса эрозии средневековой структуры, существующей на протяжении веков. Тем не менее новая структура вошла в жизнь во вполне определенный момент, с началом борьбы между великими державами за Италию в 1494 г. В значительной мере так же вода собирается в бассейн, пока, в определенный момент, он не наполняется и переливается во второй бассейн, окружающий первый: тогда процесс начинается вновь». См.: L. Dehio. *The precarious Balance* (Vintage Books: New York, 1962),

ГОСУДАРСТВА В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ВОДОВОРОТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКИ

р. 23. Мартин Уайт посвятил целую главу, обдумывая достоинства альтернативных дат, и делает заключение в пользу 1494 г.: «В Вестфалии система государств не появилась, она стала взрослой» (M. Wight. *Op. cit.*, p. 152).

⁷ M. Wight. *Op. cit.*, p. 114.

⁸ I. Wallerstein. *The Capitalist World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press. 1979), гл. 1 (см. в настоящем сборнике очерк «Рождение и будущая кончина капиталистической миросистемы») и 9; M. Wight, *Op. cit.*, p. 43-45.

⁹ I. Wallerstein. *The Modern World System, I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (Academic Press, London. 1974), гл. 4.

¹⁰ *Ibid.*; M. Keens-Soper. *Op. cit.*, p. 30-31.

¹¹ Y. Durand. *Les competences de l'etat a l'epoque moderne*. Доклад, представленный на XIV Международном конгрессе исторических наук, Сан-Франциско, 22-29 августа 1975.

¹² I. Wallerstein. *The Modern World System, I*, ra. 1; Idem. Underdevelopment and Phase B: Effects of the seventeenth century stagnation on core and periphery of the European world economy, *The World System of Capitalism: Past and Present*. Goldfrank, W. L., ed., (London: Sage, 1979), p. 73-83; 1979c, p. 126-144); Idem. Y a-t-il une crise du XVII siecle? *Annals E. S. C* XXIV, (1), janv.-fevr. 1979.

¹³ I. Wallerstein. An historical perspective on the emergence of the new international order: economic, political, cultural aspects. *The Capitalist World Economy*, *op. cit.* passim, особенно p. 278-280.

¹⁴ I. Wallerstein. The future of the world economy, *Processes of the World System*. (T. K. Hopkins and I. Wallerstein, eds.), (London: Sage, 1980).

¹⁵ Маркс К. Товарный фетишизм и его тайна. *Капитал*. Т. I, гл. I, разд. 4. // Маркс К., Энгельс Ф. *Соч.*, изд. 2-е, т. 23.

¹⁶ Шумпетер И. *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика, 1995. Ч.П, гл. XII-

¹⁷ A. Abdel-Malek. *East Wind. Review* I, (1), 1977, p. 64.

Слова могут быть врагами понимания и анализа. Мы пытаемся в своей терминологии ухватить подвижную реальность. При этом мы склонны забывать, что реальность изменяется в тот самый момент, когда мы пытаемся ее ухватить, и в силу самого этого факта. И мы еще более склонны забывать, что и другие своими способами замораживают реальность, хотя подчас используют для этого те же слова. И все же мы не можем говорить не используя слов; на самом деле мы и думать без них не можем.

Где же, в таком случае, мы найдем *via media**, работающий компромисс, операциональное выражение диалектической методологии? Мне кажется, найти их наиболее вероятно, осознав временные долгосрочные крупномасштабные целостности, в рамках которых обретают свой смысл понятия. Эти целостности должны отвечать требованиям относительной пространственно-временной автономии и внутреннего единства. Они должны быть достаточно продолжительными и достаточно большими, чтобы мы могли избежать Сциллы понятийного номинализма, но при этом достаточно короткими и небольшими, чтобы мы могли избежать Харибды а-исторической, универсализирующей абстракции. Я бы назвал такие целостности «историческими системами» — термином, в котором ухвачены два их существенных качества. Это интегрированная, то есть состоящая из взаимосотносящихся частей, целостность, и таким образом в определенном смысле системная и обладающая постигаемым способом функционирования целостность. Это система, имеющая историю, то есть она зародилась, исторически развивалась, пришла к своему концу (разрушению, распаду, преобразованию, *Aufhebung***).

* Средний путь (*лат.*)

** Снятие (*нем.*)

Я сопоставляю это понятие «исторической системы» с и противопоставляю его более привычному термину «общество» (или «общественная формация», что я считаю более или менее синонимичным). Конечно, можно использовать термин «общество» в том же самом смысле, что я использую понятие «историческая система», и тогда проблема состоит лишь в выборе формального символа. Но на самом деле стандартное использование слова «общество» предполагает применение его без разбора к современным государствам (и квазигосударствам), к древним империям, к предположительно независимым «племенам» и ко всем иным *политическим* (или культурным-но-стремящимся-стать-политическими) структурам. А это валит в кучу все предположения, которые еще требуется доказывать — что именно политическое измерение объединяет и определяет общественную деятельность.

Если бы границы, проведенные по любым возможным основаниям — интегрированные производственные процессы, способы обмена, политическая юрисдикция, культурное единство, экология, — были бы на самом деле всегда (или хотя бы обычно) синонимичны (или хотя бы перекрывались в большой степени), проблема была бы невелика. Но, как показывают эмпирические факты, если мы возьмем последние 10 тысяч лет человеческой истории, это совсем не так. Поэтому мы должны выбирать между альтернативными критериями определения нашей зоны социального действия, нашей единицы анализа. Можно брать это в философских терминах как априорное суждение, но если даже так, мои собственные склонности являются материалистическими. Но к этому можно подойти и эвристически: какой из критериев будет в наибольшей степени влиять на социальное действие, в том смысле, что изменение его параметров наиболее непосредственно и основательно повлияет на функционирование других частей целостности.

Я уверен, можно доказать, что именно интегрированные производственные процессы удовлетворяют этому эвристическому критерию, и я буду использовать его, чтобы обрисовать границы, очерчивающие конкретную «историческую систему». Под этим словом я подразумеваю эмпирическую совокупность таких производственных процессов, интегрированных в соответствии с определенной

системой правил, и человеческие агенты которых взаимодействуют некоторым «органическим» образом, так что изменения в функциях любой из групп или изменения границ исторической системы должны следовать некоторым правилам, чтобы не поставить под угрозу выживание всей общности. Предположение, что историческая система является органической, не подразумевает, что это машина, действующая без перебоев и трения. Совсем наоборот: исторические системы исполнены противоречий и содержат в себе зародыши процессов, которые в конце концов разрушат систему. Но это как раз очень созвучно «органической» метафоре.

Это было затяннувшееся предисловие к последовательному анализу роли государств в современном мире. Я думаю, что значительная часть наших коллективных дискуссий была заложницей слова «государство», которое мы применяли транс-исторически, без учета исторической специфики, подразумевая любую политическую структуру, обладающую некоторой системой власти (лидирующая личность, или группа, или группы со слоем кадров среднего звена, заставляющих выполнять волю этой господствующей единицы). Мы не просто исходим из предположения, что явление, называемое нами «государством» в XX в., принадлежит к вселенной того же дискурса, что и явление, называемое нами государством в, скажем, XV в., но и, что еще более фантастично, мы часто предпринимаем попытки провести линии исторической преемственности между двумя такими «государствами» — носящими одно и то же имя либо находящимися в одном и том же географическом положении (по широте и долготе) — преемственности, обосновываемой тем, что ученые доказывают родство языков, на которых там говорили, или космологических представлений, которые там были приняты, или генетического фонда.

Капиталистический мир-экономика представляет собой одну из тех исторических систем, о которых я говорил. Он родился, с моей точки зрения, в Европе XVI столетия. Капиталистический мир-экономика — это система, основанная на стремлении накапливать капитална политическом влиянии на уровень цен (на капитал, потребительские товары и на труд) и на устойчивой поляризации с течением времени классов и регионов (центр-периферия). В последующие столетия эта система развивалась и охватила всю Землю.

Ныне она достигла такого положения, что в результате противоречий своего развития вступила в длительный кризис¹.

Развитие капиталистического мира-экономики включало в себя создание всех основных институтов современного мира: классов, этнических/национальных групп, домохозяйств — и «государств». Все эти структуры рождены капитализмом, а не предшествуют ему; все они — следствие, а не причина. Более того, все эти институты фактически создавали друг друга. Классы, этнические/национальные группы и домохозяйства определяются государством, через государство, в отношении к государству и, в свою очередь, создают государство, оформляют государство, преобразуют государство. Это структурированный Мальстрим непрерывного движения, параметры которого измеряются через повторяющиеся регулярности, в то время как конкретные сочетания событий всегда уникальны.

Каков смысл высказывания, что государство появилось? В рамках капиталистической мироэкономики государство — это институт, существование которого определяется его отношениями с другими «государствами». Его границы более или менее четко очерчены. Уровень его юридического суверенитета ранжируется от полного до нулевого. Его реальная власть контролировать потоки капитала, товаров и трудовых ресурсов через свои границы является большей или меньшей. Реальная способность центральных властей принуждать к выполнению своих решений группы, действующие в границах государства, может быть большей или меньшей.

Различные группы внутри, вне или поверх границ данного государства постоянно стремятся увеличить, сохранить или уменьшить «власть» государства во всех аспектах, упомянутых выше. Такие группы стремятся изменить соотношение сил, исходя из понимания, что эти изменения должны улучшать возможности определенной группы получать прямую или косвенную выгоду от действий на мировом рынке. Государство — наиболее подходящий институциональный посредник при установлении рыночных ограничений (квазимонополий в широком смысле этого слова) в пользу определенных групп.

Историческое развитие капиталистической мироэкономики таково, что «государства» начинались с относительно аморфных общностей и все в большей мере формировались как государства, дей-

ствующие в межгосударственной системе. Их границы и формальные права становились все более четко определенными (что нашло свою кульминацию в современной структуре международного права и в Организации Объединенных Наций). Становились все более определенными также модальности и ограничения давления групповых интересов в государственных структурах (в смысле как правовых ограничений на осуществление давления, так и рациональной организации групп для преодоления этих ограничений). Тем не менее, несмотря на процесс «шлифования» этой институциональной системы, можно, пожалуй, смело сказать, что континуум сравнительной мощи более сильных и более слабых государств оставался на протяжении примерно 400 лет относительно неизменным. Это не значит, что «сильными» и «слабыми» оставались одни и те же государства. Скорее можно говорить, что в каждый момент времени существовала иерархия мощи таких государств. При этом не было момента, когда существовало бы государство, гегемония которого не оспаривалась бы (хотя относительная гегемония в определенные периоды существовала).

Такой взгляд на государство, его генезис и форму функционирования встречал многочисленные возражения. Представляется, что чаще всего встречаются и заслуживают обсуждения четыре из них.

Во-первых, высказывается довод, что слишком инструментален взгляд на государство, рассматриваемое как всего лишь орудие, сознательно используемое активными группами и не имеющее собственной жизни, внутреннего единства, не обладающее самостоятельной социальной опорой.

Мне кажется, что этот контраргумент основан на путанице в подходе к общественным институтам в целом. Однажды созданные, общественные институты (государство в том числе) обретают собственную жизнь в том смысле, что многие социальные группы используют их, поддерживают их, эксплуатируют их по разным (и часто противоречащим друг другу) мотивам. Более того, институты, достаточно крупные и структурированные для того, чтобы иметь постоянный штат, тем самым порождают группы людей — бюрократии этих институтов — которые получают прямую социально-экономическую выгоду от сохранения и процветания институтов как

таковых, совершенно независимо от идеологических посылок при создании институтов и от интересов основных социальных сил, их поддерживающих.

Проблема, однако, не в том, кто имеет право голоса в постоянно идущем процессе принятия решений в государственной машине, а в том, чей голос имеет решающее или критическое значение и в чем состоят ключевые вопросы, за решение которых идет борьба в политике государства. Мы полагаем, что это следующие вопросы: (а) установление правил, регулирующих общественные отношения производства и существенно влияющие на распределение прибавочной стоимости, и (б) установление правил, регулирующих движение факторов производства — капитала, товаров и труда — внутри границ и через границы и тем самым оказывающих решающее влияние на рыночную структуру цен. Когда кто-то изменяет распределение прибавочной стоимости и рыночную структуру цен, он изменяет и относительную конкурентоспособность конкретных производителей и тем самым уровень их прибыльности.

Именно государства устанавливают такие правила, и именно государства в первую очередь вмешиваются в процессы, происходящие в других (более слабых) государствах, когда те пытаются установить более благоприятные для себя правила.

Второе возражение относительно нашего аналитического подхода состоит в том, что он игнорирует реальность традиций и преемственности, воплощенных в действенном групповом сознании. Такое сознание действительно существует, и оно очень сильно, но есть ли в нем преемственность? Думаю, что нет. Я уверен, что даже беглое рассмотрение эмпирических фактов подтвердит это. История различных форм национализма, который является одной из выдающихся проявлений такого сознания, показывает, что всюду, где возникают националистические движения, именно они формируют сознание, возрождают (а отчасти и изобретают) языки, придумывают имена и нарочивводят в практику обычаи, которые должны отличать их группу от других. Все это делается именем исконности (здесь всегда так было!), часто, если не всегда, незаинтересованный наблюдатель вряд ли признает подобного рода интерпретации очевидных исторических фактов беспристрастными. Это верно по отношению не только к так

называемым «новым» нациям XX в.², но в не меньшей мере и к «старым» нациям³.

Очевидно, что делаемые в дальнейшем идеологические заявления об имени нации и о том, к чему оно обязывает, каковы связанные с ним «традиции» — непоследовательны и изменчивы. Каждая следующая версия привязана к политике своего времени. Сам факт столь широкого разброса этих версий свидетельствует, что заявления о непрерывной преемственности трудно воспринять иначе, чем позицию заинтересованных групп. Это слишком зыбкая основа для политического анализа функционирования государств.

Третье соображение против нашего анализа — говорят, что в нем игнорируется центральная и определяющая роль классовой борьбы. При этом подразумевается, что она протекает внутри некоторой зафиксированной структуры, именуемой обществом или общественной формацией, которая, в свою очередь, определяет структуры государства.

Однако если «классы» — это термин, используемый для групп, которые определяются своим отношением к способу производства, то мы должны рассматривать всю систему процессов производства, взятых в их целостности, как главный элемент конституирования классов. А такого рода процессы, разумеется, далеко выходят за границы отдельных государств, и даже подсистемы процессов производства чаще всего не совпадают с государственными границами. Следовательно, нет априорных оснований полагать, что классы в каком-либо объективном смысле предопределяются государственными границами.

Далее, будет справедливо указать, что классовое сознание исторически имеет тенденцию быть национальным по форме. Это связано с серьезными причинами, которые мы рассмотрим ниже. Но сам по себе этот факт не является доказательством, что верно восприятие классов как феномена, заключенного в государственные границы. Напротив, сам факт национальной формы сознания транснациональных классов становится одним из основных экспликандов современного мира.

Наконец, говорят, что наш анализ игнорирует факт, что самые богатые государства не являются сильнейшими, они скорее относи-

тельно слабы. Но это результат неверного понимания, в чем состоит сила государственной машины. Опять происходит подмена анализируемой действительности идеологией.

Некоторые государственные машины исповедуют линию сильного государства. Они стремятся ограничить оппозицию; они стремятся навязывать свои решения группам внутри страны; они воинственны по отношению к группам извне. Но важны успехи осуществления власти, а не издаваемый при этом шум. Оппозицию приходится подавлять только там, где она существует всерьез. Государства, заключающие в себе относительно более однородные слои (из-за неравномерности размещения классовых сил в мироэкономике), могут консенсусом достигать того же, чего другие хотели бы достичь (но часто не достигают) «железной рукой». Предприниматели, экономически сильные на рынке, не нуждаются в государственной поддержке для создания монопольных привилегий, хотя и могут нуждаться в помощи государства для противодействия созданию другими, в других государствах, монопольных привилегий, наносящих ущерб этим предпринимателям с сильными рыночными позициями.

Государства, доказываем мы, являются, таким образом, институтами, созданными, чтобы отражать потребности классовых сил, полем действия которых является мироэкономика. Они, однако, создаются не в пустоте, но в рамках межгосударственной системы. На самом деле последняя задает те рамки, которыми определяются государства. Именно тот факт, что государства капиталистической мироэкономики существуют в рамках межгосударственной системы, представляет собой *differentia specifica** современного государства, отличающее его от иных бюрократических политий. Эта межгосударственная система представляет собой систему ограничений, которые лимитируют возможности отдельных государственных машин, даже сильнейших среди них, принимать решения. Идеологией этой системы является равенство суверенитетов, но на самом деле государства не являются ни суверенными, ни равными. Государства в первую очередь навязывают друг другу — и не только сильные

слабым, но и сильные сильным — ограничения на образ политических (а тем самым и военных) действий, и еще более впечатляющие ограничения на их возможности оказывать влияние на действие закона стоимости, лежащего в основе капитализма. Мы так привыкли наблюдать, что государства делают то, что представляет собой вызов другим государствам, что не осознаем, как мало на самом деле таких вещей. Мы так привыкли думать о межгосударственной системе как граничащей с анархией, что не в состоянии оценить, насколько она действует в соответствии с правилами. Конечно, «правила» все время нарушаются, но посмотрим на последствия этого — механизмы, вводимые в действие, дабы принудить государства-нарушители к изменению их политики. И вновь мы должны меньше смотреть на находящуюся на виду арену политических действий и больше на менее заметную арену экономических действий. История в миросистеме XX в. государств, где у власти стояли коммунистические партии, — потрясающее свидетельство эффективности такого рода давления.

Производственный процесс в капиталистической мироэкономике построен на центральном отношении или противоречии — капитала и труда. Непрерывное функционирование системы имеет своим результатом растущий круг лиц (или, скорее, домохозяйств), вынужденных участвовать так или иначе в процессе труда в качестве либо производителей, либо получателей прибавочной стоимости.

Государства сыграли важную роль в поляризации населения на тех, кто живет присвоением прибавочной стоимости (на буржуазию), и на тех, из кого прибавочную стоимость выжимают (на пролетариат). Государства влияют на это в силу хотя бы того простого факта, что создали правовые механизмы, не просто позволившие или даже облегчившие присвоение прибавочной стоимости, но и защищающие результаты такого присвоения установлением прав собственности. Они создали институты, обеспечивающие социализацию детей в соответствующие роли.

Как только классы стали объективно существовать во взаимном отношении, они стали стремиться к изменению (или сохранению) неравенства сил в социальном торге *{bargaining}* между собой. Чтобы добиться этого, они вынуждены были создавать соответствующую-

* Видовое отличие *{лат.}*.

щие институты для влияния на принятие государственных решений, которые в основном оказались с течением времени институтами, созданными в границах государства, став, таким образом, дополнением к всемирным детерминантам государственных структур.

Это привело к глубокой двойственности в самовосприятии, а затем и в политическом поведении классов. И буржуазия, и пролетариат являются классами, возникшими в мироэкономике, и, говоря об объективной классовой позиции, мы обязательно имеем в виду классы именно этой мироэкономике. Буржуазия начала приобретать классовое сознание раньше, а пролетариат лишь после нее, при этом оба класса обнаружили как недостатки, так и достоинства в определении себя как всемирных классов.

Буржуазия, преследуя свой классовый интерес — максимизацию прибыли с целью накопления капитала, стремилась вовлечь в свою экономическую деятельность все, что считала подходящим, не ограничивая себя ни географически, ни политически. Так, например, в XVI-XVII вв. часто случалось, что голландские, английские или французские предприниматели «торговали с врагом» в военное время, даже оружием. И нередко, стремясь к оптимизации доходов, предприниматели меняли место жительства и подданство. Буржуазия тогда (и теперь) отражала это самовосприятие в тенденциях развития «всемирного» культурного стиля — в потреблении, в языке и т. д. Однако и тогда, и сейчас верно, что как бы буржуазия ни раздражалась по поводу ограничений, налагаемых по тем или иным причинам в тот или иной момент властями определенного государства, она нуждалась в использовании государственной машины, чтобы усиливать свои позиции на рынке по отношению к своим конкурентам и для защиты себя от трудящихся классов. А это означало, что многие фракции мировой буржуазии были заинтересованы в самоопределении как «национальная» буржуазия.

Тот же самый подход применим и к пролетариату. С одной стороны, по мере того как он обретал классовое сознание, он понимал, что первоочередной организационной задачей было объединение пролетариата в его борьбе. Когда «Коммунистический манифест» провозгласил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — это не было случайностью. Было ясно, что именно факт деятельности бур-

жуазии на арене мироэкономики, где она могла (и делала это в реальности) переносить производство туда, где ей выгоднее, означает, что и пролетарское единство, чтобы быть действительно эффективным, должно осуществляться на всемирном уровне. И мы знаем, что всемирное единство пролетариата на самом деле почти никогда действительным не было (это самым драматическим образом проявилось в крахе II Интернационала, когда тот не удержался на антинационалистических позициях во время Первой мировой войны). Это, однако, объясняется очень просто. Механизмы, которые проще и быстрее всего использовать, чтобы относительно улучшить положение некоторых сегментов трудящихся классов, — это государственная машина, и политические организации пролетариата почти повсеместно приняли формы, базирующиеся на государстве. Более того, эта тенденция усиливалась, а не ослабевала с каждым успехом, которых эти организации добивались в получении полной или частичной государственной власти.

Мы, таким образом, оказались перед интересной аномалией: и буржуазия, и пролетариат выражают свое сознание на уровне, не соответствующем их объективной экономической роли. Их интересы производны от функционирования мироэкономики, а они стремятся обеспечить свои интересы, воздействуя на национально обособленные государственные машины, обладающие на самом деле лишь ограниченной (но тем не менее реальной) властью влиять на функционирование этой мироэкономики.

Именно эта аномалия постоянно подталкивает буржуазию и пролетариат определять свои интересы в терминах статусных групп. Наиболее эффективная в современном мире статусная группа — это нация, поскольку именно нация притягивает на контроль над определенной государственной структурой. В той мере, в которой нация не является государством, мы обнаруживаем потенциал для возникновения и расцвета националистических движений. Конечно, не в этом суть того, чем является нация и что обычно питает националистическое движение. Совсем наоборот. Именно националистическое движение создает общность, именуемую нацией, или пытается ее создать. Во многих обстоятельствах, когда национализм не может служить классовым интересам, солидарность внутри статусной

группы может кристаллизоваться вокруг замещающих полюсов: религии, расы, языка или иных конкретных культурных матриц.

Солидарность внутри статусных групп отодвигает аномалию национальной классовой организации или сознания из поля зрения и тем самым ослабляет напряжения, заложенные в противоречивые структуры. Но, разумеется, они могут также сбить с пути классовую борьбу. В той мере, в какой особое этническое сознание ведет к последствиям, которые ключевые группы находят нетерпимыми, мы видим возобновление открыто классовых организаций или, если они порождают слишком сильную социальную напряженность, появление по-новому определяемых (с иначе очерченными границами) статусных групп. То, что особые сегменты мировой буржуазии или мирового пролетариата могут дрейфовать от, скажем, пантюркизма к панисламизму, к базирующимся на классе или базирующимся на нации движениям в течение считанных десятилетий, отражает не непоследовательность борьбы, но трудности прокладывания курса, который мог бы разрешить противоречие: объективные классы мироэкономики/субъективные классы в рамках государства.

Наконец, атомы классов (и статусных групп), получающие доходы домохозяйства, не только формируются и постоянно переформируются постоянным экономическим давлением непрерывной динамики мироэкономики, но и регулярно и сознательно манипулируются государствами, стремящимися определять (или изменять) свои границы в терминах потребностей рынка труда, равно как и определять потоки и формы доходов, которые могут быть фактически распределены. Домохозяйства, в свою очередь, могут отстаивать свою собственную солидарность и приоритеты и сопротивляться давлению, менее эффективно пассивными средствами, более эффективно, когда появляется возможность для классовой и статусно-групповой солидарности, о чем мы только что упомянули.

Все эти институты вместе — государства, классы, этнические/национальные/статусные группы, домохозяйства — формируют институциональный водоворот, одновременно продукт и содержание моральной жизни капиталистической мироэкономики. Далекие от того, чтобы быть изначальными и предвечными сущностями, они являются зависимыми и взаимоопределяемыми экзистенциями.

Далекие от того, чтобы быть сегрегированными и разделенными, они неразрывно переплетены сложным и противоречивым образом. Далекие от того, чтобы детерминировать друг друга, они в определенном смысле являются аватарами, воплощениями друг друга.

¹ Эти положения были подробно развиты в: I. Wallerstein. *The modern world-system, 2 vols.* (New York and London: Academic Press, 1974-80); и *The capitalist world-economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

² В 1956 г. Томас Ходжскин сообщал в «Письме» Сабури Гиобаку (*Odu*, no. 4 /1957/, p. 42): «Я был потрясен Вашим утверждением, что использование термина "Йоруба" (в отличие от просто народов Ойо) в значительной мере обязано влиянию англиканской миссии в Абеокута и ее работе по выработке литературного языка "йоруба", основанного на речи Ойо. Это кажется мне чрезвычайно интересным примером тех способов, которыми западное влияние стимулировало новый вид национального чувства. Каждый признает, что определение "быть нигерийцем" — новое понятие. Но похоже, что и определение "быть йоруба" не многим старше. Я сделал такой вывод из того, что Вы говорите об отсутствии свидетельств, чтобы подданные королевства Ойо — или более раннего государства, опиравшегося на Ифе? — пользовались бы каким-нибудь общим именем для самоназвания. Хотя, быть может, они все-таки делали это?»

⁵ У Джоджа Бернарда Шоу в «Святой Иоанне» Вельможа восклицает: «Француз! И откуда только вы берете такие выражения! Или уже эти бургундцы, и бретонцы, и гасконцы, и пиккардийцы тоже начинают называть себя французами, как наши земляки начинают звать себя англичанами? Они уже говорят о Франции — или там Англии — как о своей стране. Их страна, скажите пожалуйста! А что же будет с вами или со мной, если утвердится такой образ мыслей?» (пер. О. Холмской).

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА.....	3
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ТЕРМИНОВ.....	11
ВВЕДЕНИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.....	13

I. СОВРЕМЕННАЯ МИРОСИСТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ГЕОКУЛЬТУРА

РОЖДЕНИЕ И БУДУЩАЯ КОНЧИНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОСИСТЕМЫ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.....	19
ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ: ПЕРЕХОД ИЛИ ПЕРЕХОДЫ?.....	63
КЛАССООБРАЗОВАНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКЕ.....	82
ТРИ СЛУЧАЯ ГЕГЕМОНИИ В ИСТОРИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКИ.....	95
ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ В МИРОСИСТЕМЕ.....	109
НАЦИОНАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ: ВОЗМОЖНА ЛИ ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРА?.....	131
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 1917-1989: ЭЛЕГИЯ И РЕКВИЕМ.....	150
КОНЕЦ КАКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ?.....	166
НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА НАРОДОВ В ГЕОКУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЫ.....	188

ГЕОКУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАШЕЙ ГЕОКУЛЬТУРЫ?.....	208
---	-----

II. ДИЛЕММЫ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

1968-й — РЕВОЛЮЦИЯ В МИРОСИСТЕМЕ: ТЕЗИСЫ И ВОПРОСЫ.....	227
МАРКС, МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЕ.....	250
АМЕРИКА И МИР: СЕГОДНЯ, ВЧЕРА И ЗАВТРА.....	267
КРАХ ЛИБЕРАЛИЗМА.....	302
АГОНИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА: ЧТО ОБЕЩАЕТ. ПРОГРЕСС?.....	324
МИР, СТАБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ, 1990-2025/2050.....	347
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ, ИЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ.....	371
ОТМИРАНИЕ ГОСУДАРСТВА.....	387
ГОСУДАРСТВА В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ВОДОВОРОТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИРОЭКОНОМИКИ.....	401